

8

АКТЕРСКАЯ КНИГА

АНДРЕЙ
МЯГКОВ
СИВЬИ
МЕРИН

зобра в

OZON.RU



Annotation

Роман-детектив, написанный знаменитым актером, с кинематографической точностью представляет героев на изломах Эпохи.

«Кинематограф, театральное действие проглядывают сквозь строки романа. Близко к сценарному построению текста, сжато и точно выписаны характеры. Действие развивается поразительно быстро, но без спешки, что дает возможность следить за приключениями героев этого „детектива“.

Кавычки, в которые взято слово, обозначающее жанр... Уместны они? И да, и нет. К месту они потому, что детектив — верно найденная форма повествования. Чтобы держать читателя в напряжении. А не совсем к месту потому, что роман — не об очередной криминальной разборке в стиле „бандитских 90-х“, не о переделе собственности, равной по масштабу России, и даже не о психологическом поединке умного и опытного следователя с умным и опытным преступником. Роман — „о времени и о себе“. О том чудовищном историческом разломе, куда все мы попали и продолжаем попадать. Иными словами, это роман человека, наверняка знающего, что „о времени и о себе“ — тема вечная и проблема тоже вечная. В искусстве, а уж тем более в русской литературе.

Теперь значительная часть этого громадного опыта превратилась в роман. Какими неведомыми путями произошло это? Как мысли и чувства одного художника, преображаясь и многократно изменяясь, оказываются в поле зрения... то есть в поле душевной тревоги другого?

Пути эти бесконечно далеки от нас. И близки нам всегда.

Невероятно близки».

Владимир Вестер

-
- [Андрей Мягков](#)
 - [Роман актера](#)
 - [«Сивый мерин»](#)
-

Андрей Мягков
«Сивый мерин»

Роман актера

Замечательного актера Андрея Васильевича Мягкова большинство зрителей знают по двум фильмам: «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Обе работы отмечены государственными наградами, а случайно оказавшийся в городе на Неве и там нашедший свое счастье доктор Лукашин из «Иронии судьбы» стал персонажем культовым и популярен до сих пор. Между тем кинокартин, где снимался Мягков, — несколько десятков. Больше пятидесяти, по подсчетам самого актера.

Спектаклей, в которых играл он и продолжает играть, еще больше. Сначала благодарные зрители аплодировали ему в «Современнике», потом во МХАТе, куда Мягков перешел в 1977 году. А вот роман пока один. Литературный роман актера. Талантливого человека, прожившего большую жизнь в искусстве, не умеющего играть (а теперь и писать) хотя бы с еле уловимой долей фальши.

Кинематограф, театральное действие проглядывают сквозь строки романа. Близко к сценарному построение текста, сжато и точно выписаны характеры. Действие развивается поразительно быстро, но без спешки, что дает возможность следить за приключениями героев этого «детектива».

Кавычки, в которые взято слово, обозначающее жанр... Уместны они? И да, и нет. К месту они потому, что детектив — верно найденная форма повествования. Чтобы держать читателя в напряжении. А не совсем к месту потому, что роман — не об очередной криминальной разборке в стиле «бандитских 90-х», не о переделе собственности, равной по масштабу России, и даже не о психологическом поединке умного и опытного следователя с умным и опытным преступником. Роман — «о времени и о себе». О том чудовищном историческом разломе, куда все мы попали и продолжаем попадать. Иными словами, это роман человека, наверняка знающего, что «о времени и о себе» — тема вечная и проблема тоже вечная. В искусстве, а уж тем более в русской литературе. Вот с этим знанием, с этим пониманием, с этой тревогой и высочайшей неоднозначностью и написана книга. Неоднозначностью в том смысле, что великий вопрос прошлого, настоящего и, видимо, будущего опять задан, но опять не отвечен.

И еще надо сказать о том, что вроде бы и не относится к «литературному дебюту» знаменитого актера. О том, что первую свою значительную роль в кино Андрей Мягков сыграл в «Братьях

Карамазовых», поставленных выдающимся режиссером Пырьевым по роману Достоевского. Молодой Мягков сыграл в этом фильме Алешу Карамазова, человека юного и, пожалуй, самого сомневающегося, самого несчастного из братьев. И потом Мягков доносил до зрителей глубочайшие нравственные переживания многих и многих героев русской литературы.

Теперь значительная часть этого громадного опыта превратилась в роман. Какими неведомыми путями произошло это? Как мысли и чувства одного художника, преображаясь и многократно изменяясь, оказываются в поле зрения... то есть в поле душевной тревоги другого?

Пути эти бесконечно далеки от нас. И близки нам всегда.

Невероятно близки.

Владимир Вестер

«Сивый мерин»

Май 2006-го был необычно жарким. Синоптики утверждали, что такой весны не было с незапамятных времён. Термометр показывал 25 градусов в тени. Ещё в конце апреля выпал снег. Ночами подмораживало, тротуары, улицы, дворы превращались в сплошной каток, днём всё это не успевало оттаивать и лёд покрывался тонким слоем воды. Уборочный транспорт по обыкновению отдыхал — не ждали стихии, люди скользили, падали, ломали руки-ноги, машины двигались по улицам как в замедленной съёмке, бесконечные столкновения, клаксоны, ругань, пробки... Метеорологи во всём винили плохо управляемый циклон непредсказуемого охвата действия, который-де почему-то движется с севера, хотя по всем правилам метеонауки обязан заходить с юго-запада. По телевидению, прерывая праздничные передачи, с экстренными заявлениями выступал какой-то озабоченный предстоящими выборами демократ и тщательно подбирая слова заботился о дорогих москвичах: учил, как в гололёд вести себя на улицах, как помогать прохожим при первых признаках увечий: никаких, сами понимаете, дач, никаких загородных прогулок, не говоря уже о демонстрациях и прочих несанкционированных волеизъявлениях. Пусть себе коммунисты, коли приспичит. А мы — ни-ни. Только дома.

Это было 30-го.

А наутро глянувший в окна электорат не поверил своим глазам: от снега не осталось даже маленьких лужиц, тротуары исходили паром, как будто их полили кипятком, а на ветках деревьев пробивалась едва заметная зелень.

Весна!

...По утрам телефон звонил гораздо громче обычного. Днём — нормально, даже приятно-мелодично, вечером, если не очень поздно — терпимо. А утром...

Дима вздрогнул, сел на кровати. Часы показывали без четверти семь. Интересно, кто это обнаглел до такой степени? Мало того, что память отказывалась воспроизводить большую часть вчерашнего вечера, голова шумела как взлетающий бомбардировщик, а во рту ощущался привкус французского камамбера, давно израсходовавшего срок годности, так тут еще эти неуклюжие сюрпризы, будь они неладны. Ну что же, надо смело констатировать: утро (если это утро, конечно) явно не задалось. Он сделал над собой усилие, попытался опустить ноги на пол. С первого раза это у

него не получилось по достаточно уважительной, но весьма неожиданной причине: рядом кто-то спал и, видимо, так сладко, что омерзительные трели захлёбывающегося телефона не производили на эту «кто-то» ни малейшего впечатления. Дима вернул тело в исходное положение и закрыл глаза.

Так. Это уже серьёзно.

Значит, вчера... Утром была встреча с «Гоголем», всё, вроде, прошло как обычно... Потом Веткин «салон», пришёл туда один, это, кажется, единственное, что он помнил наверняка... Потом... А вот что потом... Да, такого с ним ещё не бывало...

Он осторожно перелез через улыбающуюся во сне рыжую красавицу («тоже мне — серый волк», — подумал про себя), надел махровый халат, взял трубку, направился в кухню.

— Да?

— Что случилось?

— Кто это?

— Что случилось?!

— С кем? — Он ещё не проснулся, плохо соображал, но голос показался знакомым. — С кем случилось?

— Что с портфелем?

— С портфе... А-а-а, с портфелем. Доброе утро, Владимир, я вас не сразу узнал. С портфелем всё в порядке, как обычно. А в чём дело?

В трубке долго молчали, так что вопрос пришлось повторить.

— Что-нибудь не так?

— Сейчас шесть сорок пять. Ровно в десять за тем же столиком. Это не просьба. Вы меня поняли?

Диму неприятно резанул приказной тон собеседника, обычно подчёркнуто вежливый. Он хотел уточнить — за каким это «тем же столиком», но вовремя спохватился: по телефону подобные вопросы были явно неуместны.

Понял, конечно. В «Славянском», в десять. А что, собственно... Договорить он не успел — короткие гудки отбоя обозначили окончание связи.

Этого ещё не доставало!

Похмелье исчезло, как и не было, сознание включилось в работу со скоростью цепной реакции. Так. Спокойно... Конечно, произошло что-то экстраординарное, иначе Сомов ни за что не назначил бы встречу.

Что?

Судя по тону и брошенной трубке — недовольны именно им,

Дмитрием Кораблёвым и не скрывают этого, а наоборот, как бы даже демонстрируют. Значит — «прокол».

Где? Когда? В чём?

Три вопроса, на которые предстоит ответить незамедлительно, какого бы напряжения памяти это ни стоило.

Вчера на встречу с «Гоголем» — так Дима про себя называл партнёра — он опоздал минут на пять, не больше: подвела пробка на Садовом. Ну так что? Живые люди — всякое случается. Бывало, и «Гоголь» опаздывал, прибегал с высунутым языком — нормально. Какой тут криминал? Обмен портфелями прошёл до банальности гладко, без сучка, без задоринки. Около часа после этого, как и все предыдущие разы — так было оговорено с Сомовым с самого начала и Диме ни разу не приходило в голову менять условия «игры» — около часа после встречи он мотался по городу: менял направления, останавливался, заезжал в незнакомые дворы — никакой слежки за ним не было. Это 100 %.

Дальше, правда, удачно начавшийся день пошёл по нисходящей: этот дурацкий «салон» у Ветки, калейдоскоп незнакомых лиц, гам, выпендрёж, текила с солью (ты что, выпил текилу БЕЗ СОЛИ?! Ненормальный. Заешь хотя бы лимоном!). Потом, кажется, если не приснилось, танцы, разгорячённые, на всё готовые женские тела...

Затем провал — как добирался до дома, как парковался, кто эта рыжая дива под боком...

Дима подошёл к окну — машина стояла у тротуара, на своём обычном месте. Слава Богу, кажется, тут повезло.

Да, конечно, нельзя сказать, что остаток вчерашнего дня был проведён безукоризненно. Ну так что? Кому и когда он давал обещания быть паймальчиком? Ещё не хватало! Тем более что всё это случилось после передачи портфеля и не имеет к Сомову ни малейшего отношения.

Резкий телефонный звонок прервал его размышления. Вмиг полегчало: ну то-то же. Одумался? С извинениями невтерпёж? Теперь главное разговаривать неторопливо, сонно и обиженно.

Он не сразу поднял трубку.

— Да? Слушаю. — На том конце молчали, он выдержал паузу и протяжно зевнул. — Кто это?

— Дима?

Голос прозвучал еле слышно из далёкого неземного мира, но он тотчас узнал его.

— Да, я. Привет, солнышко.

— Ты меня узнал?

— Немножко. — В висках застучало, затылок налился свинцом.

— Я тебя разбудила?

— Ничуть. Я давно не сплю — помылся, побрился, жду твоего звонка.

Скоро год. Почему не звонила?

— Ты один?

Дима ногой прикрыл дверь в спальню, взял секундную паузу.

— Говори погромче, плохо слышно.

— Я говорю, ты один?

— Нет, красавица спит под боком. А что?

— Я серьёзно, Дима.

— Ну конечно один. Тебя же нет рядом.

— Дима, я сейчас приеду, можно?

Это прозвучало настолько неожиданно, что он не сумел скрыть изумления.

— Прямо сейчас? Конечно... Ты что — из автомата, что ли?

— Нет, из дома, почему?

— Из дома? По мобильнику?

— Нет, при чём тут это?

— Голос куда-то пропадает, то есть, то нет.

— Я перезвоню.

— Давай.

Он ринулся в спальню, склонился над незнакомкой.

— Солнышко, прости, позвонили со студии, срочный вызов, во как бывает, нежданно-негаданно, собирались провести время, да? И на тебе, мы люди подневольные, рабочий день не нормирован — себе не принадлежим.

Дима бесцеремонно стащил с девушки одеяло, пригладил её длинные спутавшиеся волосы, коротко приник к пухлым губам. Зазвонил телефон.

— Тебе десять минут хватит? Полотенце и халат в ванной.

Он опять оказался на кухне.

— Да? Слушаю. Вроде лучше, хотя всё равно какие-то помехи. Хочешь — я перезвоню? Тогда давай ещё раз.

Закрывая дверь, он невольно замер, наблюдая, как его ночная гостья с откровенным наслаждением разминает затёкшее за ночь тело.

— Да? Теперь нормально. Жень, ты на чём поедешь? На метро? А то смотри, если срочно — возьми мотор, я оплачу.

В спальне рыжеволосая красавица, не утрудив себя воспользоваться любезно предоставленным халатом, прибирала постель. Зрелище было не для слабонервных. Дима на время даже потерял дар речи, открыв от

восхищения рот.

— Дима, ты слышишь меня? Дима!

— А? Да-да, солнышко, сейчас выключу телевизор, — он прикрыл ногой дверь, — с ума сошли, с утра пораньше такие картинки, разве так поступают?

— Я буду примерно через час... Мне нужно заехать... Тут... — Она замолчала.

— Я слушаю, слушаю.

— Я говорю — буду через час.

— Не расслышал — куда заехать, ты сказала?

— Это неважно, Дима. Приеду — расскажу.

— Отлично. Через час. Я пока в магазин сбегая, а то у меня шаром покати.

— Успеешь?

— Не могу не успеть.

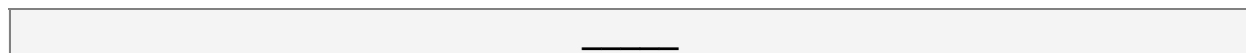
Он повесил трубку, прижался затылком к холодному кафелю стены. Пальцы предательски дрожали, под ложечкой ныло. Этого ещё не хватало. С чего бы? Год прошёл, долгих двенадцать месяцев... Сказка есть такая — 12 месяцев, кто написал-то? Толстой, что ли? Это сейчас самое важное! За год — ни одного звонка. Ни од-но-го! И вдруг... Стоп! — Его сильно качнуло, он ухватился за стол, сел на табуретку. Первое мая!! День в день! В прошлом году именно в этот день она... И с тех пор они не виделись.

ГОД!

Кто же, наконец, написал эти проклятые 12 месяцев?!

Он открыл дверь спальни — на кровати девушка, стоя на коленях, складывала простыню, что-то мурлыкала себе под нос. И изгиб шеи, и преувеличенно раздвинутые стройные ноги, и полуоткрытый рот — всё было рассчитано до тонкостей. Он сбросил халат, охватил её плечи, грубо, со знанием дела помял налитую как боксёрская груша грудь, покрутил соски... Она замерла на мгновение, застыла, дёрнулась всем телом, вырываясь, выталкивая, прогоняя и вдруг изогнувшись, с хрипом, не таясь, метнулась навстречу так внезапно обрушившейся на неё неистовой волне прибоа.

Ветер сорвал с крыши ржавое железо и оно понеслось с диким свистом, кроша и подчиняя всё вокруг своей бешеной гонке. Вздымало. Падало. Врезалось в мякоть живого, упиваясь актом разрушения.



Женя и Дима разошлись год назад. Не развелись, а именно разошлись. Она уехала к отцу — тот жил на Котельнической набережной в огромной трёхкомнатной квартире — а он остался в кооперативной двушке. По документам эта квартира принадлежала Дмитрию Николаевичу Кораблёву и его жене, Молиной Евгении Михайловне. Так было до мая 2006 года, так, собственно, осталось и до сих пор, потому что ни в какие ЗАГСы они не ходили, никакие формальности не исполняли. Просто в тот день, придя домой и не застав жену, он позвонил тестю и неожиданно услышал её голос. Вот тебе раз!

— Ты почему не дома? Полвторого. Что-нибудь случилось?

— Ничего. На кухонном столе записка.

— Какая записка?

— Обыкновенная. Тебе. Прочти. Пока, Дима, я уже спала. — Она повесила трубку.

Он метнулся на кухню. Что за чёрт, этого ещё не хватало. Года полтора назад действительно был момент, когда чуть не дошло до развода. Верка Нестерова забеременела, решила сохранять, заупрямилась — не разводись, не женись, ничего такого мне не надо, мне нужен твой ребёнок и баста. Что он только не делал, как ни крутился, как ни умолял — упёрлась. Рассказал Женьке. Та два дня порыдала — пошла разговаривать с Веркой. Ни в какую! Нет, ребёнок не его, не волнуйся, буду рожать. Дима решил: всё, уйдёт или, вернее, его прогонит. Но Женя повела себя странно: жалела его, ласкала, не отпускала ни на шаг, по ночам шептала нежности — ни дать, ни взять медовый месяц. С Нестеровой всё закончилось выкидышем, он успокоился, даже обрадовался. Потом, правда, по ночам ему часто являлось то же, что и Борису Годунову.

С тех пор он вёл себя очень осторожно, никакой любви не допускал и близко, чуть, не дай бог, намёки, глазки, вздохи — стоп, его след простывал, как и не было. Женю он любил, ценил, дорожил ею и причинять подобные неприятности больше не собирался. Но и загонять себя в клетку примитивной верности тоже не мог, хоть вылезай из кожи вон. С удовольствием заводил мимолётные романы, отказа (насколько позволяла память) никогда не испытывал, нахально смазливый, с глазами наивного проходимца, трахал кого хотел, любил эту работу и, по свидетельствам многочисленных очевидиц, понимал в ней толк.

Такое положение дел устраивало их обоих. Они никогда об этом не говорили. Женя наслаждалась редкими моментами, когда могла утоплять любимого в себе, умирая от счастья, щедро заполняя спальню возгласами благодарного восторга (сама она никогда ничего не испытывала), Дима,

повинуясь инстинкту супружеского долга, щедро дарил ей эти миги, предпочитая звуковые имитации холоду несовместимости. Жена его устраивала как никто другой, он обожал появляться с ней в «свете», любил замечать, как на неё пялились, пытались завоевать, соблазнить, увести — куда там. Женя не видела вокруг никого и ничего. Он заменял ей друзей, подруг, воздух, свет... Знала ли она о его, мягко говоря, «отвлечениях»? Вероятнее всего, хотя история это умалчивает. Кругом стаи доброжелателей, преследующих свои небескорыстные цели. Не всё, конечно (это был бы перебор), но в основном докладывали... На столе действительно лежал лист бумаги, исписанный её крупным корявым почерком.

«Дима, я долго — дальше шли две тщательно зачёркнутые строчки — вся наша жизнь, пять лет, мучительные... Ладно, не буду искать слова. Я пыталась выжить, перепробовала всё (ВСЁ, понимаешь?): случайные связи, свальные компании, женское общество — нет, ничего! Видимо, в роду моём кто-то сильно грешил, а для кары Бог выбрал меня. Слышать враньё и врать самой нет больше сил. Люблю тебя так, что уйду спокойно. Побудем ещё немного врозь и хватит. Не возвращай меня, пока я не ушла совсем. Женя».

Дима прочитал записку несколько раз (сколько? два? три? десять?), открыл холодильник, достал из морозилки бутылку водки. Пока отвинчивал пробку (резьба была сорвана, пришлось пользоваться ножом), наполнял фужер — бутылка побелела, покрылась слоем инея (Женька любила такую, говорила «Как масло оливковое» — «Масло жёлтое» — «А её рафинировали» — «Кого — её?» — «Водку». — И хохотала), пока пил мелкими глотками — зубы стыли, горло перехватывало — пока наполнял и цедил второй фужер, зажигал и гасил в пепельнице сигарету, доставал из холодильника вторую бутылку — початую (с кем пил? С Женькой? Точно, вчера, нет, позавчера, в воскресенье, она: «Давай не будем». «Почему?», она: «Ляжем пораньше». «Не, не засну, устал очень», она: «Твоё здоровье, мой ангел». «Твоё здоровье»), пока наливал и пил эту початую — она уже не белела и пальцы не стыли, и горло отпустило — комок провалился и жёг теперь где-то глубоко внутри, — пока он выполнял все эти манипуляции, память чётко удерживала перед глазами только одну-единственную строчку: «Я перепробовала всё. ВСЁ, понимаешь?» Потом и она исчезла, эта фраза, а Женя сказала: «Не возвращай меня». И добавила: «Женя».

Дима отшвырнул табуретку — та раздражала его своей четырёхугольной правильностью.

Всё! Значит он остался один. Она перепробовала всё — и что? Ни-че-

го! Уходит спокойно, и эта табуретка (ЕЁ ТАБУРЕТКА!) такое же враньё, как и пять лет назад. Кстати, почему пять? Какие пять? Сегодня — 2006-й? 2006-й. Ну? 2001-й, 2002-й, 3-й, 4-й, 5-й, он для убедительности загибал пальцы, — и 6-й. Шесть! Шесть лет вранья, а не пять. Ше-е-сть. Он торжествовал. Шесть! А не пять! В этом всё дело.! И ключи от машины тут не при чём, они всегда там, где нужно, ключи, вот они — единственные мне не изменяют — он поцеловал брелок в виде маленькой подковки — дверь не закрывается — хрен с ней, он ненадолго, кто это, господи, простите ради бога, здравствуйте, Андриан Николаевич. Что? В каком виде? Нормальном виде. Я с собакой погулять. Где собака? Не завёл ещё. Да бросьте вы в самом деле. Что значит «не пуцую»? Не страшнее, чем на войне, шесть и пять — это ведь не одно и то же, не правда ли?..

Дальше был провал.

Всякий раз, когда возвращался в тот май 2005-го, память скупым пунктиром выдавала одно и то же: чёрные дыры луж, залепленное грязью лобовое стекло, лифт, почему-то совершенно чёрный, без света, холодный стакан в руке. «Что это?». «Как что, пиво». «Почему такое тёмное?». «Оно светлое, Митя, идём спать» — Веркино лицо — прищуренные глаза, плотно сжатые губы, как похожа на Женю, вылитая, нет, Женька никогда не зовёт его Митей — пошлость какая, просто очень близко, щека к щеке, и голос: «Ты что, спишь? Митя! ТЫ СПИШЬ?»

...Какое-то время они лежали неподвижно, тяжело дыша.

— Мне пора?

— Пора, девочка, как ни жалко. Тебя как зовут?

— Катя.

— Сейчас будем завтракать, Катенька. Кофе? Чай?

— Кофе.

Женю он не видел с того самого мая. Однажды позвонил её сослуживец, сказал, что она в больнице, самое плохое уже позади, но лежать будет ещё минимум месяц, сознание возвращается медленно. «Как? Что? Когда?». «В конце прошлого месяца, таблетки, много, очень много, спасли чудом, никто не верил. Позвонил просто так, сегодня сказали, что лучше, вот и позвонил. Главное — ей не говорите о звонке». «Спасибо, привет ей большой. Как же так? Несчастье». «Да уж. Из реанимации перевели, Сергей у неё там ночует». «Сергей — кто это?». «Сергей? Муж». «Понятно. Спасибо». Дурацкий разговор, да и давно это было, а помнилось как вчера.

Он помолол кофе, засыпал в джезву вместе с сахарным песком, залил холодной водой, поставил на большой огонь. Теперь главное не прозевать начало кипения — чёрная жидкость прорвётся снизу, зальёт распаренную гущу, потянется вверх, в бега — тут-то и важно не зевнуть: отделить толику в чашечку, опять довести до кипения и как только образуется готовая сбегать белёсая пузырьчатая пена, неуловимым движением опрокинуть содержимое джезвы в заранее подготовленную и подогретую первой порцией посуду. За год холостяцкой жизни он научился многому — стирать например, гладить (что терпеть не мог и делал это в самых крайних случаях), мыть посуду, а уж готовить он всегда любил, с детства. Взять, скажем, омлет — дело, казалось бы, нехитрое, но это смотря что называть омлетом. Он взглянул на часы — блеснуть разве перед Катериной своим фирменным «Кораблёвским»? Но нет, остынь, мальчик, с момента Женькиного звонка прошло уже минут двадцать и, как ни притворяйся, как себя ни обманывай — мол, нервы в порядке, руки не дрожат, голова на месте, девочку вон трахаю, варю кофе по-восточному, — долго так продолжаться не может. Надо побыть одному, прийти в себя, собраться с мыслями. Да и в холодильнике ничего, кроме кусочков льда, а гостей угощать принято, тем более что в этом качестве выступает законная жена.

Они коротко позавтракали — он едва успел разглядеть свою ночную незнакомку (ай да Дима, ай да сукин сын): на вид лет восемнадцать, густые, плохо расчёсанные, ржавые волосы (своей расчёски, видимо, не оказалось, а пользоваться чужой постеснялась — один ноль в её пользу), смешные, широко поставленные зелёные глаза с чёрным ободком ресниц, курносый нос, пухлые, зовущие губы. Оказывается, вчера она тоже была у Ветки на «салоне», пришла не одна, с сокурсником, уехала с ним, Дмитрием Кораблёвым, нет, не рано, часов, наверное, в половине первого, как реагировал кавалер — не знает, не видела ещё. Да и какая разница — она птица вольная.

Потом он сбегал в ванную, окончательно протрезвил себя контрастным душем, с удовольствием отметил, что и в спальне, и на кухне всё тщательно убрано, подметено, чуть ли не вымыто. Достал из шкафа чистую рубашку.

— Ты зачем уборку устроила?

— У тебя же важная встреча.

— С чего ты взяла? Я на студию.

Она взглянула на него обиженно.

— Как хочешь. Я ушла. Пока. — Хлопнула входная дверь.

Ни тебе «до свидания», ни поцелуя со слезами, ни даже жалкого

телефончика. «Пока», видите ли. Ладно, проехал, и, девочка, пусть тебя нянчат другие мальчики. Хороша, ничего не скажешь, но вон навстречу идёт не хуже, было б времечко. Сегоднячко.

Он многозначительно улыбнулся ярко накрашенной девице, та ответила ему тем же.

Женя пришла ровно в девять. Два длинных, один короткий.

Очень давно, в прошлой жизни, случилось так: «Ты ни разу не спросил, почему я звоню три раза?». «Чего спрашивать, хочешь и звонишь, хоть десять». «Нет, почему три?». «А сколько надо?». «Один. Ну — два. А я три». «Ну и дай бог». «Дурачок, неужели не догадаешься?». «Когда догадаюсь — скажу».

Не сказал. Не догадался. А потом забыл.

Свет падал с лестничной площадки, в прихожей он люстру не зажигал. В кино называется «контражур». Тёмное лицо и нимб от прошитых солнцем волос.

— Привет. Пускаешь?

Он отступил в прихожую, потянулся к выключателю.

— Ну вот, только хотела похвалить за чуткость. Утро ведь, мне не восемнадцать.

— При чём здесь это? Я знаю, сколько тебе.

— Это я так, прости. Не зажигай, пожалуйста.

Они прошли в кухню. Женя задёрнула шторы, села спиной к окну.

— Кофе угостишь?

Джезва была ещё тёплая. Блюдца и перевёрнутые вверх дном чашки мокрые. Он помолот зёрна. «Ничего себе: мне не восемнадцать».

— Съешь что-нибудь?

— Омлет.

Он вздрогнул, в упор уставился на жену.

— Что, разучился?

— Не знаю, давно не пробовал. Это долго.

— Ты торопишься?

— Нет.

Он полез в холодильник за яйцами, достал муку, репчатый лук, маслины, помидоры, из морозилки резаные шампиньоны — всё это он только что купил в магазине.

И опять, как час назад, он услышал удары собственного сердца: тук-тук, тук-тук-тук. Они не виделись ровно год. Сегодняшний звонок первый за долгие двенадцать месяцев. И тогда было первое мая. Ровно год, день в день. «Я перепробовала всё, ВСЁ, понимаешь?» В затылок ударило чем-то

тупым, не больно: бум-бум-бум.

Он залил две сковородки оливковым маслом, на одной жарил мелко порезанный лук, на другой растапливал шампиньоны...

...В одиннадцать с минутами (всё-таки память — вещь удивительная) он вышел от Нинки: слёзы, укоры, объятия — всё, пора завязывать. Этот «перекур» возник давно, с самой свадьбы, повторялся не часто, был ему не нужен, но как-то так само получалось, что примерно раз-два в месяц он приезжал в эту богом забытую глухомань, поднимался без лифта на пятый этаж, стучал (потому что ржавый с западающей кнопкой звонок, как правило, не работал) в обитую коричневым дерматином дверь.

Его всегда ждали. Не спрашивали — кто? Не заглядывали в глазок (его и не было), а просто открывалась дверь и он оказывался в сильном, почти мужском охвате тонюсеньких прозрачных рук. «Ты почему никогда не спрашиваешь — кто?». «Я знаю». «А если это не я?». «Больше никому, я тебя чувствую». «По запаху, что ли?». «А ты не смейся: собаки же чувствуют».

Потом всегда бывал ужин, горячий, с разносолами, он жадно ел (приходил по обыкновению голодный), она подкладывала, суетилась, хохотала над его рассказами, подливала сухое красное...

В постели Нина вела себя по-хозяйски, всегда брала инициативу на себя и никогда не была одинаковой. Он потому, наверное, и ездил к ней, что хотел узнать: а ещё-то как? И тот день — первое мая 2006-го — запомнился странностью: она до изнеможения долго не впускала его, готового, выскальзывала, изворачивалась, поднимая к облакам и безжалостно ударяя о землю, и нужны были ещё и ещё, до изнеможения, новые усилия, чтобы напрягать исчезающую твердь и насыщать ноющее, больное, жаждущее взрыва желание.

До дома он добирался долго.

Сначала раздражали не переключённые на мигалки светофоры. Их было до глупости много (ночью это особенно бросалось в глаза) и все сговорились против него. А когда наплевал на осторожность и несколько раз проскочил на красный, выяснилось, что спешит он напрасно, перекрыли тоннель, надо объезжать через кольцевую, а это как минимум минут тридцать, если не больше. Значит, дома в лучшем случае в начале первого. Чёрт! День неудач. Скандала, конечно, не будет, не Женькино хобби, но тоски в глазах и вселенской скорби не избежать.

Всякий раз, возвращаясь домой после подобных свиданий, он не испытывал ничего, кроме искренней ненависти к себе. Чёрт, чёрт, чёрт и

ещё раз чёрт! Зачем ставить себя в унижительное положение? Добро бы эти отвлечения хоть малейшей толикой касались того, что у нормальных людей расположено в левой половине груди, а не ниже пояса, это ещё при большой любви к себе можно было понять. Так нет же! Ничего подобного — так, небольшой адюльтер: было, прошло и слава богу. А дома опять врать, изворачиваться, бить себя в грудь, что-то доказывать. И она знает, что ложь, не хочет слушать, не может: «Не мучай меня, Дима, умоляю, не добивай, только позвонил бы, я волновалась, места себе не находила. Пришёл — и ладно, ложись, утро вечера...». И он знает, что эти клятвы бессмысленны, глупы, отвратительны. И на душе становилось мерзко, ненависть к себе тошнотой подступала к горлу.

Подобные приступы случались с ним часто, но, к счастью, особой продолжительностью не отличались. Утром же, как правило, туман рассеивался, выглядывало солнышко, оттепляло последние льдинки.

Женька тянулась к нему своей всепрощающей улыбкой, всё вчерашнее предавалось забвению, ему давали понять: нет, не такой уж горький он пропойца... Совесть его начинала нестерпимо грызть и боль эта всегда вызывала приступы бурной нежности: хотелось обнять, приласкать, утешить Женьку, укачать её, зацеловать солёные глаза и щёки. И всегда этот немудрёный порыв искреннего оправдания самого себя она принимала за ниспосланное ей свыше незаслуженное счастье, и с граничащей с безумием готовностью жадно отдавалась чувству, неумело пуская его в себя, добросовестно исполняя всё, чему научилась за пять лет супружеской жизни.

И в этот раз, на предельной скорости пронизывая ночной город, въезжая не тормозя в арку дома, запирая «жигулёнка» и поднимаясь через две ступеньки (лифт работал только до полуночи) на одиннадцатый этаж, он мысленно прокручивал в голове знакомые, с небольшими вариантами, расклады: «Привет. Ты спишь?». «Ужин на кухне». «А ты не будешь?». «Я сплю». «Тогда и я не буду». «Почему не позвонил?». «Там не было телефона». «Где — там?». «Не лови меня на слове. Там — на работе. Неужели ты мне не веришь? Я мчался по Москве, как Аэртон Сенна — величайший в мире гонщик. Он, кстати, разбился». «Не надо, Дима, не мучь меня, умоляю, не унижай, я не такая идиотка, как бы тебе хотелось...»

Нет, сегодня он устал (как всегда после поездок к Нинке), сегодня никаких дискуссий. «Привет», и обидевшись на холодный приём — спать на диван в гостиной. Так бывало много раз, такая тактика тоже, не всегда, правда, давала ожидаемые результаты. Надо только проявить выдержку и подольше не прощать незаслуженной обиды, когда наутро предложат

мировую.

Поэтому он очень забеспокоился, когда на его продолжительные звонки никто не открыл дверь.

С омлетом не клеилось: лук подгорел, сметану купить он забыл, молоко оказалось кислым. Пока искал в кухонной стойке банку с надписью «Детская молочная смесь», разводил эту окаменевшую гадость в холодной воде, вбивал туда яйца, миксером пытался вспенить подозрительно пахнущую блёклую жижу, — подгорели и шампиньоны.

— Ты гипнотизируешь меня. Видишь — всё валится из рук?

— Помочь?

— Сиди, надо восстанавливать утраченные навыки.

— Зачем? Я ненадолго.

— На сколько?

Задавать этот вопрос было не нужно, он это поздно понял.

— Не пугайся, Дима. И прояви благородство: прости меня за очередную слабость. Съем омлет и уйду.

Она вдруг резко встала, почти вскочила со стула.

Это произошло шумно и так неожиданно, что кастрюля со взбитыми яйцами, описав в воздухе неправильной формы параболу и выплеснув на неудачливого кулинара часть содержимого, выскользнула у него из рук и покатилась в направлении оконного проёма.

Они помолчали.

— Прости, это я виновата.

Она вышла в прихожую, вернулась с бутылкой шампанского.

— Оставь, я потом вытру. Открой. Давай выпьем. Ты помнишь эту банку?

Он не понял.

— Какую банку?

— Эту. Молочную смесь для детей? Помнишь?

Видимо, ответ на этот вопрос был для неё очень важен, потому как глаза вдруг стали чёрными, а свалившаяся на лоб прядь, плотно сжатые кулаки и ушедшая в плечи голова придали облику угрожающее выражение.

— Помнишь?!

Ещё минуту назад Дима мог поклясться, что — убивай его — он и понятия не имеет о происхождении в доме этой загадочной банки. Детское молоко. Зачем? Детей нет. Сам он отдаёт предпочтение коньяку. Женька любила сухое...

И вдруг...

Ну конечно же, как будто вчера... Ноябрь, день, хмарь, они лежат на раздвинутом диване (вон он стоит в гостиной) — кровати не было, работает телевизор (сейчас другой, «Сони», старый на даче), Женька в своём лучшем наряде — «без ничего», усталая, измученная, счастливая лежит одеялом пуховым поверх него и, шепча нежности под чавканье пролётных автомобилей, раскалёнными углями губ бесстыдно воспаляет его тело. Губы эти, оставляя после себя уродливые ожоги, замирая и продолжая захват, неспешным продвижением предвещают развязку. Они ищут. Находят. Поглощают. Они начинают своё безжалостное разрушение. Он кричит. Он никогда не кричит. А тут кричит. Ему кажется — ещё немного и он взорвётся, перестанет быть, умрёт от желания проиграть этот неравный бой.

Она, задумав его изжить, забыв дышать в агонии предвкушения близкого торжества, удерживает хваткой разъярённого зверя остатки его мутнеющего сознания.

Потом они вечность лежат молча. Она засыпает, не меняя позы, а он держит руки на её голове, боясь шевелением нарушить сошедшее на него волшебство.

Когда она очнулась, он спросил:

— Ты что-нибудь почувствовала?

— Конечно, глупый, мне с тобой всегда хорошо.

Она замерла, долго не двигалась. Он подумал, что она опять заснула. И вдруг: «Я сейчас, не вставай без меня, хорошо? Я мигом».

Дима слышал, как она одевалась, как хлопнула входная дверь. Он тогда подумал (и теперь вспомнил, как будто и не прошло этих пяти лет), что с женой ему несказанно повезло и что надо быть таким как он — последним подонком, чтобы эту женщину заставлять страдать. Всё! Отныне только домой, домой, домой...

— Доколе! — заорал он, заслышав в прихожей женины шаги. — Доколе он своими грязными лапами будет залезать в наш стерильный суп?!

Женя принесла из кухни чашку с какой-то мутной жидкостью.

— Пей.

— Что это? Ты с ума сошла.

— Пей, говорю. Я хочу. Я требую. Узнаешь, наконец, на что мы, несчастные, идём ради вашего удовольствия.

— Что это?!

— Пей!!! — Она забралась с ногами на диван, стараясь влить в него содержимое чашки. — Не понял ещё? — хохотала Женя. — Не бойся, в «Детское питание» сбегала, мальчику сухого молочка купила, развела

водой, немного соли по вкусу, специй никаких и пожалуйста — диетический продукт высшего качества. Пей!

Потом они долго смеялись, на все лады перебирая случившееся. Тогда-то и появилась в их доме банка молочного детского питания. Ту ночь они провели без сна.

...Всё это он вспомнил в какие-то доли секунды.

— Помню, конечно.

— Ты меня любил тогда?

Это был не вопрос. Не утверждение.

Это была мольба, прошептанная без звука.

Они долго молчали.

Дима выбросил в ведро несостоявшийся омлет, вытер пол, тщательно, как перед хирургической операцией, вымыл руки. Достал из морозилки лёд, поставил на стол фужеры.

— Будем из этих?

Женя не двигалась. Казалось, она не дышит.

— Или принести синие? Последний раз мы из них пили водку.

— Ты мне не ответил.

Видимо, надо было на что-то решаться. Или позорно сбегать, не забыв в конце сильно хлопнуть дверью, или вступать в длинную и, конечно же, бессмысленную дискуссию, из которой никто не выйдет победителем, потому что каждый по-своему прав.

Женя не мигая смотрела на мужа. Зрачки расширились настолько, что её васильковые в девичестве глаза стали ещё чернее.

— Ну так как с фужерами?..

— ТЫ НЕ ОТВЕТИЛ МНЕ! — Пальцы её вцепились в край стола, лицо сделалось белым, губы дрожали.

Всё время с момента её прихода он находился в непрерывном движении: что-то доставал, искал, разбивал, вытирал, ронял, поднимал и снова ронял... Теперь он впервые за эти полчаса сел на стул напротив неё, вдавил локти в клеёнку, лицо уткнул в напряженные, судорогой схваченные ладони.

— Женя...

Они никогда не выясняли отношения. Так повелось с первого дня их знакомства: то, как поступал один из них, другим принималось безоговорочно, как само собой разумеющееся, обсуждению (не говоря уж об осуждении) не подлежащее. Раз случилось так, а не иначе, раз произошло то, что произошло — так тому и быть. Это та реальность, та

данность, которая теперь есть, нравится это кому-то или нет. Оставалось только радоваться или огорчаться. О том, чтобы принимать или не принимать новые обстоятельства, речи не шло.

В день свадьбы Дима напился до звонка в «неотложку», а когда бригада подрабатывающих студентов-медиков часа через полтора после вызова ввалилась-таки в прихожую, — встретил начинающих эскулапов ни в одном глазу, заставил всех, включая водителя, выпить за здоровье жены, друзей, родителей, за процветание российской медицины и «за счастье этой изумительной женщины с глазами дрессированной лани. Вас как зовут? Нина? Потрясающе! За Нину! За идеал, к которому можно только стремиться».

Потом он проводил всю подвыпившую медицину до лифта. Спустился во двор к машине. Доехал с ними до «Склифа». Взял Нину за руку и отправился к ней в Тёплый Стан.

Домой он вернулся утром.

Женя встретила его объятиями. «Наконец-то, я волновалась, слава Богу». И всё. Ни — где? ни — с кем? Ах, ох, ух — обморок. Ничего подобного. С тех пор и повелось: поступки друг друга не обсуждаются. Так — значит так. Значит не могло быть иначе и точка. Жить рядом, бок о бок, день за днём и не доверять друг другу — нелепость. Или верю и ни о чём не спрашиваю, или — в разные стороны и как можно скорее, чтобы не было мучительно больно... как утверждал классик. И он никогда не спрашивал её, где была и почему так поздно. Захочет — сама расскажет, нет — значит, нет. Значит не его ума дело. А если, не приведи господи, что-то серьёзное — какие слова, какие клятвы, уверения-заверения. Всё скажут глаза. Глаза всё скажут. Потому что женские глаза — находка для шпиона. Недаром так мало шпионов-женщин. Мата Хари... Кто там ещё... Сонька Золотая Ручка, раз-два и обчёлся. А потому что глаза! Это их, женщин, ахиллесова пята, один из половых признаков, если угодно. Врут они виртуозно, изысканно, до исступления, так, что сами начинают верить собственной лжи, тут Фрейд и Мюнхгаузен в одном флаконе. Но по пустякам. По мелочам. Не по сути. А если что-то серьёзное — увлечение там какое, влюблённость, роман — всё, лапки кверху, не умеют соврать, как ни стараются.

Предопределённость такая свыше.

Объяснение этому феномену Дима открыл для себя давно и цинично назвал «законом относительности». Измена мужчины относительно женской измены — это как щелчок по лбу и удар по тому же лбу топором: в одном случае небольшой синяк, в другом, если повезёт, сотрясение мозга.

Женщина распаивается, позволяет войти, принимает, удерживает, долго хранит в себе... Она хозяйка. Мужчина — всегда гость, вошёл и вышел тем же ходом. Значит, его «перекуры» ОТНОСИТЕЛЬНО её измен...

На этом месте своей нехитрой теории он всегда улыбался — есть такой анекдот: после блестящей лекции по теории Эйнштейна профессор обращается к аудитории: «Всем всё ясно? Вопросов нет?». В конце зала поднимается рука. «Есть вопрос, господин профессор. Скажите, что же всё-таки такое „теория относительности“?» Профессор взбешён. «Идите сюда», — говорит он студенту. Тот поднимается на кафедру. Профессор снимает штаны. «Суйте свой нос ко мне в жопу». Студент суёт. «А теперь слушайте меня внимательно. У меня в жопе нос. И у вас нос в жопе. Но, согласитесь, моё положение ОТНОСИТЕЛЬНО вашего несколько предпочтительнее».

Дима оторвал ладони от лица и взглянул на жену. Она по-прежнему неотрывно смотрела на него. Давно он не видел так близко её глаз — господи, что это? Неужели за один год можно так постареть? Разновеликие от напряжения, чёрные, слезящиеся, ненавидящие и в то же время растерянные и жалкие.

— Женя, — повторил он и сам удивился глухоте своего голоса, — давай всё-таки попытаемся понять, что происходит. Мы никогда не говорили с тобой, то есть никогда не обсуждали наши отношения. Это, по моему, самое прекрасное, что было между нами. Разве нет? Мне казалось, ты всегда всё знаешь, мне никогда не приходилось тебе врать, подожди, не перебивай, дай мне докончить, так вот — мне почти никогда не приходилось тебе врать, потому что всё, что со мной происходило, не имело к нам с тобой никакого отношения. Мне казалось — ты меня понимаешь. Теперь ты спрашиваешь, любил ли я тебя тогда, в тот день, 8 ноября 2001 года, когда у нас в доме появилась банка молочной смеси. Ты спрашиваешь, любил ли я тебя тогда? Что ты хочешь услышать в ответ? «Нет, Женя, тогда я тебя не любил, тогда я удовлетворял свои сексуальные потребности, а ты мне в этом помогала». Это ты хочешь услышать? Или ты хочешь, чтобы я клялся в любви? Да, именно тогда, в тот шестилетней давности вечер, я любил тебя, как никогда и никого в жизни, нет, больше самой жизни, и если бы в те миги нашего... не знаю, как сказать... нашего... мы были одно целое, если бы ты убила меня тогда — а к этому всё шло: я задыхался — если бы убила, я принял бы это, клянусь, со смирением, ибо был уверен, что достиг высшего отпущенного мне наслаждения, высшего единения духа и плоти. Что ты хочешь услышать? Ведь и то и другое будет правдой, вот в чём весь ужас.

И я тоже никогда не спрашивал тебя ни о чём. Никогда! И не потому,

что не интересовался, нет, не потому. Думаешь, у меня не убавилось волос на голове, когда появился Сергей? Думаешь, что я пропал из дома от любви к перемене мест? Мне наплевать, что у вас там было, а чего не было. Душевный исход, сердечное отлучение — прости за высокие слова, — но именно это я испытал, когда ты влюбилась (никак не берусь сейчас рассуждать о причинах, может быть и я в этом повинен, хотя, согласись, странно говорить о чьей-то вине, когда снисходит такое возвышенное чувство), так вот, когда ты влюбилась, я ни о чём тебя не спрашивал. Никогда. Может быть, зря. Может быть. Сейчас не пришлось бы издавать эти идиотские звуки.

Но у нас так завелось. Так сложилось. И я всегда считал это нашим с тобой достоянием, нашим умом, нашей любовью. Нерушимостью нашей семьи, если хочешь.

Он замолчал. В висках неистово стучало, лоб покрыла испарина. Он и не предполагал, что эта банальная тирада дастся ему с таким трудом. Женя сидела как изваяние, неподвижно, почти безумно глядя перед собой. Последняя краска покинула её лицо. Дима вздрогнул.

— Как ты себя чувствуешь?

— Отлично.

— Хочешь выпить?

— Давай.

Он взял бутылку, стал откручивать липкую тугую проволоку.

— И принеси... пожалуй... ста... таблетку, у меня го... ло... ва...

Она не договорила.

Улыбнулась своей загадочной, скорбной улыбкой и рухнула на пол. Когда он нагнулся над ней, то услышал: «Не... ве... не... ве...» Это было последнее, что Евгении Молиной удалось сказать в этой жизни.

В МУР, в приёмную начальника оперативного отдела Юрия Николаевича Скоробогатова поступило заявление из морга № 39 Западного административного округа о том, что при вскрытии доставленного 1 мая трупа, по документам принадлежащего Молиной Евгении Михайловне, в её организме обнаружены следы отравляющего вещества моментального действия (цианистого калия). В факсе сообщалось также время вызова бригады, были приложены протоколы осмотра тела, заключение районной милиции, возраст, адрес, подписи свидетелей — всё как обычно, с

соблюдением всех формальностей.

Скоробогатов позвонил по местному телефону.

— Мерин, зайди на минутку.

Самодельные стенные часы в виде замочной скважины и системы отмычек вместо стрелок — подарок благодарного заключённого — показывали без чего-то семь, рабочий день закончился, устал он как собака после неудачной охоты, дел ещё было невпроворот и этот дурацкий факс, попавший почему-то, минуя отдел регистрации происшествий, прямо к нему на стол, оптимизма не прибавлял. Наверняка самоубийство, теперь этим никого не удивишь. Много их, особенно среди стариков и молодёжи: одни не выдерживают нищеты и краха веры, другие ломаются от избытка соблазнов. Вот, чёрт, неудача, так некстати. Да и что тут можно сделать? Чем помочь? Разве что констатировать смерть, так это и врачи «скорой» делают не хуже. Нет! Принимай к производству, создавай бригаду, изучай, отработывай версии... Какие версии?! Человеку жить надоело — вот все версии. Тут впору к психиатрам обращаться или к социологам, а не в милицию. Великий Цезаре Павезе называл самоубийц «робкими убийцами» и по количеству суицидов в стране предлагал судить о цивилизованности нации. К самоубийству прибегает тот, кто не способен лишить жизни себе подобного и если доведённый до отчаяния разум подсказывает: вот виновник всех твоих бед, убери его и живи счастливо, он не может этого сделать в силу своих убеждений, взглядов, веры... И человек убивает себя. Общество лечить надо, а не милицию отрывать от дел. Количество нераскрытых преступлений с отягчающими обстоятельствами с каждым днём растёт в геометрической прогрессии, работать уже практически некому, сотрудники отдела разрываются на части, не спят неделями, копаются в крови и грязи, ежеминутно рискуя жизнью. Люди уходят в коммерцию, в охрану, в частные структуры, просто на вольные хлеба до лучших времён — куда угодно, лишь бы подальше от этой позорной видимости борьбы с преступностью. Опытнейшие, закалённые пулями и ножевыми ранами, преданные делу люди превращены в наживку, в пушечное мясо; обнаглевшие от безнаказанности подонки, вооружившись до зубов, правят бал, а эти мордovorоты из министерств, эти разожравшиеся жополизы, отпетые ворюги, оборотни расплозились по своим многоэтажным дворцам и рапортуют о систематическом снижении преступности, повышении раскрываемости, о неукоснительном росте сознательности...

Скоробогатов стукнул кулаком по столу, шумно отодвинул стул, подошёл к окну. Он не любил мата, редко прибегал к крепким выражениям,

но последнее время «великий и могучий» всё чаще и чаще подбрасывал ему из своего арсенала именно эти ненормативные обороты.

Какая к матери сознательность, когда народ, как подраненный зверь, готов с вилами за кусок хлеба, за пядь земли, за крышу над головой или зелёную купюрку на кого угодно, всё равно на кого: на мать, на отца, на сына или брата?! Где он, куда подевался этот добрый голубоглазый увалень — русский мужик? С хитрым прищуром. С милой улыбкой. Доверчивый и хлебосольный. Какую последнюю рубашку он отдаст? Кого накормит да поделится вековой мудростью? И какая к чёртовой матери мудрость, когда всё давно залито зловонной мутной брагой, всё смердит и прекрасно сияет: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Ах, Антон Палыч, Антон Палыч, дорогой, нам бы ваши заботы. И ведь прошло-то всего-ничего: каких-нибудь не полных сотня годков. Дда-а-аа. То-то ещё будет.

В кабинет постучали.

— Вызывали, Юрий Николаевич?

Скоробогатов долго тёр ладонями измученное морщинами лицо, закуривал, жадно заглатывал тяжёлый дым «Беломора».

— Проходи, Сива, располагайся. Прости, я сейчас, мысли дурацкие в голову лезут.

Несколько минут они посидели молча.

— Закуришь?

— Бросил, Юрий Николаевич. Работе мешает. Скоро три месяца.

— Молодец. Хвалю. Я вот никак. А курил сколько?

— Да считай всю жизнь, с детства. — Скоробогатов скорчил серьёзное лицо.

— Ишь ты!

Этот сотрудник с нелепой фамилией Мерин появился в МУРе недавно. До того после семилетки закончил милицейский техникум, год проработал уполномоченным, два месяца пролежал в госпитале с огнестрельным ранением, после чего за проявленное мужество при исполнении служебного долга — так написано в характеристике — и был переведён в уголовный розыск. Если учесть, что на прошлой неделе молодёжь отдела скидывалась на его девятнадцатилетие, то выходило, что стаж курильщика у него действительно, солидный.

— Вот, Сива, факс пришёл. Умерла молодая женщина, при вскрытии обнаружили в организме яд. То ли самоубийство, то ли отравление. Если отравили — работа предстоит непростая, поэтому я тебя и вызвал. Приобщай к своим висякам и, как говорится, с Богом. Возникнут сложности — сколотим бригаду. Первое самостоятельное дело — шутки в

сторону. Я ведь не ошибаюсь? Первое?

— Первое, Юрий Николаевич. — Мерин густо покраснел. — Разрешите идти?

— Разрешаю. Да ты отвыкай от официальщины-то. Работа у нас с тобой тяжёлая, опасная, грязная. Не до субординации. Сегодня ты меня выручишь, завтра я тебя. А то подойдем по одиночке-то. Давай. — Он крепко пожал влажную мальчишескую руку.

Да-а, бежит время, всё меняется. Лет тридцать назад предложи ему начальство какое-нибудь самостоятельное дело, да хоть какое, хоть пропавшую кошку найти — разве не на парусах бы он вылетел из кабинета? И разве не бросился бы тут же обшаривать все чердаки и подвалы, прочёсывать дворы, опрашивать соседей? И нашёл бы, кровь из носа — нашёл, чего бы это ему ни стоило.

А этот обиделся. Не по Сеньке шапка. Роль не по таланту, хочется Гамлета, а ему — второго могильщика. Хорошо, хоть виду не показал, покраснел только.

Вообще этот юнец ему нравился. Виделись не часто, в основном на оперативках, мельком в коридорах, на улице, но много ли надо шестидесятилетнему полковнику с сорокалетним стажем оперативной работы, прошедшему сотни, десятки сотен допросов людей самых разных социальных слоёв, убеждений и умственных способностей — от патологических убийц-маньяков, клинических недоумков и дебилов, до философов преступной идеологии, натур глубочайших знаний и твёрдой веры, — много ли нужно ему, чтобы понять: есть в этом парне какая-то несовременная подлинность, целеустремлённость, нециничность. И ещё нечто неуловимое, притягивающее, что и словами-то определишь не сразу: прошловековость, что ли.

Полковник Скоробогатов родился в 1946 году, 9 февраля. До шестого класса, как и большинство его сверстников, он обожал три вещи: родителей, свою Родину (любовь к которой под воздействием кинопропаганды иногда выходила на первый план, тесня таким образом маму с папой) и свою комсомольскую организацию, в которую он вступил до достижения положенного в таких случаях четырнадцатилетнего возраста, нагло обманув освобождённого от основной работы комсомольского руководителя. Через год обман обнаружился, стал известен всей школе, мальчик Юра приобрёл завидную популярность, все кому не лень (а кому лень ущемлять самолюбие своего ближнего?), даже первоклашки, тыкали в него пальцами: вот идёт обманщик всех

комсомольцев страны.

Дело дошло до райкома и показательного исключения из организации, и вдруг всё сказочным образом переменялось.

Директор школы на расширенном (совместно с пионерами) комсомольском собрании в присутствии педагогов и родителей вызвал Юру на сцену, обнял за плечи и срывающимся от волнения голосом обратился к залу.

— Друзья мои. Сегодня у нас с вами торжественный, радостный день. Сегодня мы чествуем ученика нашей школы, вашего товарища Скоробогатова Юрия Николаевича.

— Жору. Жорку Скорого, — стали поправлять директора переполнившие актёрский зал зрители, но тот был непреклонен.

— Скоробогатова Юрия Николаевича, ребята, потому что папу Юры зовут Николаем Георгиевичем, а дедушку звали Георгием, но не Жорой, а Юрой, то есть Юрием Николаевичем, а так как ученик нашей школы, ваш товарищ Скоробогатов назван в честь дедушки, то и он, соответственно, тоже Юрий, Юрий Николаевич Скоробогатов, а Жора — это вульгаризм, это кличка, уменьшительно-ласкательная кличка...

Зал аплодировал, особо невыдержанные топали ногами, но директор, стараясь перекрыть шум, продолжал.

— Кстати, папе ученика нашей школы Юры Скоробогатова — Николаю Георгиевичу Скоробогатову — вчера указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено почётнейшее звание лауреата Государственной премии Союза ССР первой степени за выдающийся вклад в развитие музыкального исполнительского искусства. А так как папы Юры, Николая Георгиевича Скоробогатова, сегодня с нами нет, он, как я знаю, в Кремле принимает поздравления правительства, то поэтому мы здесь поздравляем его сына и просим через него передать Николаю Георгиевичу наш восторг и пожелания долгих лет жизни. Мы и тебя, Юра, поздравляем, гордись таким отцом, бери с него пример и, хотя твой поступок не заслуживает подражания — представь, если все начнут подделывать метрики — но само желание поскорее влиться в ряды передовой молодёжи нашей страны — такое желание поощрительно, и все мы от всего сердца поздравляем тебя со вступлением в коммунистический союз молодёжи.

Вечером, разглядывая и пробуя на зуб лауреатский значок, будущий полковник МВД заливисто хохотал, рассказывая родителям все подробности этого запомнившегося на всю жизнь собрания.

Родину к 14 годам своей жизни Юра любил так, как тому учили

средства массовой пропаганды: либо безотчётно, либо от всего сердца, в зависимости от того, какие призывы звучали чаще. А так как и тот и другой призывы звучали одинаково часто, то можно сказать, что Родину Юра любил безотчётно от всего сердца. Семья Скоробогатовых всегда была достаточно свободомыслящей, не связанной с общественно-политическими догмами, в любые, самые трудные времена поменять страну пребывания для неё проблемы не составляло, поэтому лояльное отношение к происходящему в СССР было для этой семьи нормой. Николай Георгиевич побывал с гастролями практически во всех странах мира, материальная сторона жизни ни его, ни его родных не волновала и на все вопросы любопытствующих: «Как там?», осторожный, натерпевшийся в своё время от властей скрипач-виртуоз неизменно отвечал загадочной фразой: «Сложно. У них там несоответствие морали и материальных возможностей». Поэтому в шестом классе к сообразительному мальчику пришло понимание, что живёт он в стране, где все другие, родившиеся в иных странах и континентах, жить не смогли бы в силу своей материальной и моральной неподготовленности, и это вызывало в нём чувство неоспоримого национального превосходства.

Хуже всего дело обстояло с родителями.

До четырнадцати лет он в них души не чаял, не мог заснуть, если перед этим не пошептался и не расцеловал обоих. Почти каждую ночь снились ему ужасные сны, в которых попеременно то отец, то мать подвергались нападениям страшных разбойников, он проявлял образцы беспримерного мужества, всегда выходил победителем, а затем — этих фрагментов снов он ждал с особым нетерпением — утешал плачущих благодарных родителей, глядя их по головам и шепча слова любви. Это случалось так часто, с таким регулярным однообразием, он так привык к этим своим сонным победам, что редкие ночи без сновидений казались лишними, ненужными, пугали и огорчали. Отец часто и подолгу уезжал в командировки и это было самым бессмысленным временем в жизни сына. Он переставал есть, пропускал школьные занятия, часами сидел в углу на диване, уткнувшись в книгу, не видя строк, не понимая прочитанного.

Зато каким невообразимым счастьем было отцовское возвращение! Смех, слёзы, подарки, объятия — жизнь продолжалась, мысли о смерти больше не терзали душу, не собирались комом в горле.

В шестом классе всё вдруг резко переменялось.

Друг Сёма Миркин, с которым Юра сидел за одной партой, явился в одно прекрасное утро с таинственным видом, молчал шесть уроков, на все расспросы гадко ухмылялся и только когда началась физкультура и,

казалось, уже ничто не может заставить его заговорить, вдруг прошептал: «Я знаю, как рождаются дети».

Поначалу это признание не произвело на Юру никакого впечатления. Мальчик он был начитанный, любознательный, ни в каких аистов в капусте не верил, слышал слово «оплодотворение» и оно никогда не производило на него негативного впечатления, знал, что плод развивается в утробе матери ровно девять месяцев и появляется на свет с помощью врача-акушера. Таким образом, вопрос происхождения жизни на Земле был для него ясен, а Миркины подробности его не интересовали.

Но тот упорствовал.

— Чтобы родился ребёнок, нужно, чтобы родители трахались.

Вот это было уже слишком! Что же получается? Выходит, чтобы его родить, Папа и Мама — его обожаемые, лучшие в мире, непререкаемые авторитеты — снимают штаны, ложатся друг на друга и занимаются этой низостью, за которую судят маньяков-насильников и о чём взрослые парни во дворе рассказывают по секрету с отвратительными улыбками на физиономиях? Или Миркин врёт, или...

Юра вывел Семёна в коридор, коротко побил на всякий случай и как был в спортивном костюме побежал домой.

Отец играл в большой комнате на скрипке, мать аккомпанировала ему на рояле. Сына они встретили недоуменными взглядами.

— Что случилось? Почему так рано?

Юра не стал дипломатничать, потрясение его было слишком сильным.

— Это-о пра-а?! — выдохнул он с порога и замолчал в ожидании ответа. Волны, образованные этим гортанным всхлипом, коснулись струн инструментов и те нестройным аккордом обозначили тревожную тишину. Первым очнулся отец. Он привык понимать сына с младенчества.

— Что «правда», милый?

— Это правда? — Повторил Юра на этот раз неслышно, одним шевелением губ. — Это правда, что в 1945 году, девятого мая, чтобы родить меня, вы трахались?

Софья Александровна вскрикнула и выбежала из комнаты.

Наступила долгая пауза.

Николай Георгиевич положил скрипку на рояль и ушёл к окну.

— Видишь ли, сынок, — голос его звучал глуховато, — ты абсолютно прав, это случилось именно 9 мая 1945 года в день Победы нашего народа над фашистской Германией. Мы очень хотели, чтобы ты родился, но началась война, мы с мамой были на фронте, не виделись три года, а в день капитуляции случайно встретились в Берлине. Я не могу тебе описать

радость этой встречи, она граничила с безумием. Да, всё было именно так. Только мне не нравится слово «трахались». Это плохое слово. 9 мая 1945 года мы любили друг друга.

Юра выбежал из комнаты, заперся в детской и прорыдал всю ночь.

Он так и не успел простить родителей, потому что через два дня их убили.

Все эти воспоминания пролетели перед глазами начальника оперативного отдела МУРа полковника Юрия Николаевича Скоробогатова за время, пока недовольная спина Севы Мерина скрывалась за дверью его кабинета.

Московский люд, радуясь первым по-настоящему жарким весенним дням, дружно, как по команде, сбросил надоевшую за бесконечную зиму верхнюю одежду, заполонил скверы, бульвары, сады и садики, оккупировал не до конца ещё высохшие скамейки, и подставил майским солнечным лучам свои измазанные мелом зимние лица. Казалось, это не столица одной из некогда великих держав мира, а модный курорт и стоит только завернуть за угол любого дома, как взору откроется бесконечное, уходящее в никуда море.

Какое-то время Дмитрия Кораблёва не существовало.

Глубокий обморок спеленал тело и лишь сознание, утомлённое бездействием, освободившись от пут, порхало где-то рядом, наслаждаясь свободой.

Реальным было одно: распростёртая на полу Женька с раскинутыми руками, её неестественно белое лицо, искривлённые, с пеной в уголках рта губы. И глаза, распахнутые в недоумении.

Он провёл ладонью с плотно сжатыми пальцами вдоль её лица, сверху вниз, ото лба к носу — веки сомкнулись, глаза отгородились от него частоколом ресниц. «Кто-то нежный, смежив вежды, навсегда и никогда...» Чьи это стихи? Чьи?! От этого зависела её жизнь.

Он стал проводить ладонью в обратном направлении, снизу вверх, отчаянно, бешено, так что не видно стало движения, а сама рука исчезла, смешалась с пространством, разделяющим их лица, приник к замкнутым в недоговорённой фразе — «не... ве, не... ве» — губам и вдруг увидел — нет, ощутил — дрогнули ресницы, защекотали залитое слезами лицо его, застучали, настойчиво требуя первого вздоха и крика.

Женька улыбнулась.

— Принимай, дурачок, я родила двойню. Первый Веркин, мы его убьём. А второй мой. Смотри — правда, красавица?

Потом асфальт, забрызганные солнцем лужи, дома, скамейки, люди — всё неожиданно качнулось из стороны в сторону, замерло на мгновение и стало наплывать на него гигантским вертикальным планшетом. Он отступил на шаг, руки его замысловатой лезгинкой поискали опору и не найдя ничего подходящего упёрлись в эту приближившуюся вплотную стену. Удар был сильным, так что даже Женька перестала улыбаться и сказала:

— Упал, что ли? Так и убиться можно.

Прошёл год. Или больше.

За это время он простился с родителями — мама ушла через несколько минут после того, как «скорая» увезла тело отца — их хоронили вместе в одной широченной могиле, два дощатых гроба рядом, как близнецы. Грустно не было, даже наоборот — он никак не мог заставить себя заплакать — тридцать семь лет вместе, душа в душу, как говорили родные, и вот опять вместе — пошли, полетели дальше.

Хорошо.

Только на следующий день, уже после поминок, он стал задыхаться, перестал реагировать на свет, боль, горячую воду и через неделю умер.

Если бы не Женька...

— Чудо! — сказали врачи.

За это время он женился — молоденькая работница ЗАГСа, почти девочка, когда дело дошло до неизбежной в таких случаях фразы: «Поздравляю молодожёнов — теперь вы стали мужем и женой», от волнения никак не могла выговорить слово «поздравляю». Было всё: и «подразвляю», и «пораздляю», и даже «поразводляю». Тогда, красная от смущения, она решила поменять тактику: она начала с конца. Она сказала: «Теперь вы стали мужем и женой. Молодожёнов, — она выдержала паузу и по слогам четко произнесла, — по-зад-рав-ляю». Махнула рукой и выбежала из зала.

За это время он побывал на вечере выпускников в школе — пятнадцать лет — срок нешуточный. Шёл туда с тяжёлым сердцем. Сама идея подобных встреч, как говорила преподававшая труд бывшая графиня Магдалина Мартыновна Татевосова, «оставляла желать много хорошего»: девчонки стареют, выветриваются, выходят в тираж — что хорошего? а сильный пол на подобных сборищах выступает в двух ипостасях — кичится успехами или плачется в жилетку на неудавшуюся жизнь. Ни то,

ни другое его не прельщало. Однако вечер прошёл на удивление весело. Много смеялись, танцевали медленные танцы, вспоминая школьные увлечения, не таясь целовались по углам, пили дорогие напитки... Женька уехала рано — вызвали к больному отцу. Для него же мероприятие закончилось в постели Верки Нестеровой. Та всю ночь плакала, шептала слова любви, искусно вдохновляла на мужские подвиги. Ему было легко, уютно, победно. Кажется, в ту ночь она и забеременела.

За это время он очень многое успел сделать...

Потом только услышал: «Сядь, старик, что-то ты совсем плохой».

Чьи-то сильные руки кольцом обхватили его грудь, и он, как часто случалось во сне, полетел, зашлёпал ладошками, подгребая под себя воздух. Незнакомый насмешливый голос гуднул возле самого уха: «Ну-ка, бабуля, подвинься. Расселась. Тебе давно к дедушке пора, заждался небось».

Потревоженная бабуля, очевидно, подвинулась, так как недовольным дребезжащим тенорком поинтересовалась: «Пьяный, что ли?».

— Не факт. Может, курнул лишнего. Не твоего ума. Сиди тихо.

Его посадили на что-то твёрдое, прислонили к стене, прошив тело горячими ржавыми прутьями. И опять тот же голос посоветовал:

— Оклемайся малость, потом дальше пойдёшь. А то и не дойти можно.

Хотелось поблагодарить, но разлитая по губам боль перехватила гортань, забила рот языком, получилось только: па-и-бо. Подняться тоже не получилось — не было ног. Тогда, чтобы выразить протест, он открыл глаза и понял — случилось чудо: солнце исчезло. Не зашло, не спряталось за тучку, а натурально растворилось, пропало, прихватив с собой яркий майский день. Невесть откуда возникшие отблески сознания поместили его в сумеречный, сырой, абсолютно безлюдный и потому казавшийся нереальным переулочек. Металлическая изгородь подпирала висок, выложенная булыжником, пахнущая гнилой резиной мостовая холодила колени.

Вставать не хотелось, будильник ещё не звенел. Женька гремела на кухне посудой — значит сейчас будет горячий кофе и гренки с сыром. Кто-то тряс его за плечи, пытаясь оторвать от раскалённой подушки. Хотелось крикнуть: «Оставьте меня, мне больно, меня жена разбудит, она пришла специально сегодня, чтобы меня разбудить». Но этот «кто-то» приставил к щеке раскалённый уют и спросил:

— Что с вами? Вам плохо? Вставайте. Вам помочь?

Реальность проявлялась в образе постепенно обретающей контрастные

черты немолодой женщины.

— Вам плохо?

— Нет, нет, спасибо, мне хорошо. Я, видимо, упал и заснул. Спасибо.

— А-аа. А то я смотрю — лежит, не отвечает. Время сейчас такое — сами знаете.

Он хотел взглянуть на часы, но левой руки с часами на месте не оказалось. Была шея, плечо, даже предплечье, а дальше не было ничего. Подумалось — и чёрт с ней. В детстве, когда заставляли учиться играть на пианино, левая всегда подводила. Вот и доигралась.

Это недоразумение оживило ещё несколько клеток серого вещества. Он предпринял попытку пошевелиться — отсутствие тела как такового загло робкую надежду: не всё ещё потеряно — отлежал да и только. Надо освободить защемлённые вены, совершить кровопускание.

Превозмогая боль, он долго поворачивался на правый бок, подтаскивал к глазам тяжёлую, не свою руку, прежде чем маленький светящийся циферблат стрелками указал на цифры: 9 и 12. Значит, после Женькиной смерти прошло почти двенадцать часов. Сколько из них он провёл в морге, в беспомощности блуждал по городу, сколько сидел на скамейке, сколько валялся в этой луже и как в неё попал, видимо, не узнать уже никогда. Зубы стучали так, что, казалось, слышно на противоположной стороне улицы. Он промок до трусов, до рубашки на спине, хотя лежал ничком, значит в таком положении провёл немало времени. Правая щека была разбита, один глаз видел, не всё, но видел и это радовало: в каждой неудаче надо уметь найти то, что поможет сказать: «Слава богу. Могло быть хуже». Женькины слова. Наверное, он споткнулся, упал лицом на железную изгородь и вот результат.

Почему при этом ломило грудь и спину где-то в районе почек, думать не хотелось.

В начале двенадцатого он вышел на незнакомую слабо освещённую улицу, поймал такси, назвал адрес. Водитель недоверчиво посмотрел на его заляпанную грязью одежду.

— Сколько?

— Поехали, сколько скажешь.

— Другое дело. — Шофёр повеселел. — А то ведь сам знаешь, сядут, а потом... — Он не стал договаривать.

Всё началось в мае 2004-го (опять май, будь он неладен). Ему позвонили, предложили встретиться. По какому поводу? Не телефонный разговор. Кто говорит? При встрече. Я так не встречаюсь. А как вы встречаетесь? С незнакомыми — никак.

Он повесил трубку.

Через день звонок повторился. Незнакомец предлагал встретиться в его, Диминых, интересах.

На этот раз Дима был разговорчивее, долго объяснял, что он человек известный, встречаться так, с кем попало — он не хочет никого обидеть, но и его надо понять — с кем попало он не может, если человеку что-то от него нужно, пусть позвонит на работу и при возможности, в том случае, когда... и так далее и тому подобное.

При этом он внимательно выслушивал говорившего, отмечал про себя его хороший русский, неординарные обороты речи, нестандартность мышления. Чёрт побери, чего он в конце концов боится? Отказаться никогда не поздно. Ему, как он понимал, предлагают работу, они с Женькой сидят на мели, перспектив никаких, ноль с минусом, если его что-то не устроит — да ни в коем разе, как говаривал школьный учитель. Но это уже он будет решать — отказаться или нет, он будет хозяином положения. А вдруг это выгодное и вполне достойное предложение и все Женькины сомнения и страхи — сплошная перестраховка, от лукавого? Вдруг и не придётся наступать ни на какое горло никакой песне и можно будет наконец-то отдохнуть от этого проклятого безденежья? Чем, в конце концов, чёрт не шутит?

Смущает, правда, несколько то, что этот козёл не хочет даже намекать на характер работы, какого профиля, по какой специфике. «Может быть, я не подойду и вы только зря потратите время?». «При встрече в первые десять минут вам всё станет ясно».

Ну так тем более надо пойти и поставить точки над «и». Можно даже не говорить этой вечно сомневающейся и всегда всего боящейся за него дуре. Что с ним может случиться? Окажется криминалом — ей и знать ничего не надо о встрече. А повезёт — сама будет рада до ушей. Можно купить ей шубу, машину поменять.

Рой мыслей прервал уверенный голос.

— Ну так как, Дмитрий? Вы так долго со мной говорите, что я понимаю — встреча состоится? Называйте, где и когда.

Дима деланно засмеялся.

— О-оо, да вы психолог. Тогда вам и карты в руки. Место встречи за вами.

— И изменить его нельзя, — обрадовано подхватил незнакомец. — Смотрите, как закрепился штамп: не успеваешь сказать «место встречи», как язык сам добавляет — «изменить нельзя». Кто в этом виноват, как вы думаете? Высоцкий? Говорухин? Или просто удачный слоган?

— Вот при встрече и обсудим.

— Отлично. Тогда завтра в «Славянском базаре», если не возражаете. Я тоже имею к театру некоторое отношение.

На следующий день в семнадцать ноль-ноль (опаздывать он не любил) Дмитрий переступил порог роскошного ресторана, известного во всём мире как место зарождения небезызвестной идеи создания известного в прошлом театра. Его встретил туго зажатый вишнёвого цвета фраком метрдотель, помог раздеться, проводил через уютный пустой зал в отдельный кабинет.

Навстречу, широко улыбаясь, поднялся молодой человек, подошёл, протянул руку.

— Я поражён вашей точностью, Дмитрий. Знаю, это редкое качество называют вежливостью королей, но артистов... — и поведя широким жестом в сторону накрытого стола, понизив голос, добавил: — Спасибо, Лёня, ты свободен.

Вишнёвый фрак поклонился и исчез в дальнем углу зала.

— Зовут меня Владимиром, фамилия Сомов, русский, христианин православной веры. Вы меня не узнаете?

Вопрос был настолько неожиданным, что Дима на мгновение замер. Зрительная память была у него незаурядная, это подтверждалось неоднократно: через много лет без труда мог вспомнить человека с которым встречались мимолётно. Женька называла его «поляроидом».

— Смотри, смотри, кто это? Очень знакомое лицо.

— Понятия не имею.

— Ну, пожалуйста, включи поляроид.

Он включал. Появлялась фотография с постепенно вырисовывающимися на ней чертами лица конкретного человека.

— Вон тот, с бородой?

— Да.

— Это Эдик. Три года назад на пляже в Ялте он уступил тебе свой топчан.

— С ума сойти. А вон тот, толстый?

— Это Петя. В бытность нашу студенческую он работал в баре гостиницы «Москва». Был худ и черноволос. Теперь, видимо, разбогател.

Женька ахала и всегда аплодировала. Была у них такая игра. Сейчас поляроид не срабатывал.

Они подошли к заставленному яствами столику, сервированному на двоих.

— Я заказал только холодное, горячее выберем вместе, если не

возражаете. Не знаю вашего вкуса, не хотел рисковать. А закуска традиционно русская, славянская, выбор известен и невелик: рыбка, грибочки, икорка разноцветная — вот, пожалуй, и обчёлся. Что будем пить? Я, грешен, стою за водочку. Здесь она кремлёвская, без дураков.

Дима тоже из всех напитков предпочтение отдавал русской прозрачной и не из квасного патриотизма, а исключительно по привычке: уж больно много отведано было в пору его буйной молодости.

Сомов оказался любопытным собеседником: свободно, с юмором анализировал политическую жизнь России, раздавал меткие ярлыки известным бизнесменам, артистам, руководителям политических партий.

Сам он придерживался правых взглядов, но при этом не был ортодоксальным демократом, мог, например, отчитать Явлинского, беспощадно выпороть Гайдара и, почти как Ленин Троцкого, назвать Хакамаду с Новодворской политическими лесбиянками.

При этом он не навязывал своих взглядов, немедленно замолкал, когда обнаруживалось несоответствие мнений, и тактично переводил разговор на другую тему. Если же партнёр брал инициативу на себя, безапелляционно настаивая на правоте своих слов, он без видимых усилий уступал поле брани, отходил в сторону и искренне смеялся, когда того требовала ситуация. Он был примерно одного с Дмитрием возраста, если и старше, то ненамного. Гладко выбритые с синим отливом щёки, густые, чёрные, рукотворно-небрежно свисающие на лоб волосы, чуть длинноватый, упирающийся в аккуратно подстриженную полоску усов нос. При желании его можно было принять за лицо «кавказской национальности», если бы не откровенно вступающие в противоречие с восточным обликом круглые, тёмно-синие, славянского типа глаза. Во всяком случае, Дима был убеждён, что кровей здесь намешано немало.

Разговор протекал неспешно. Сомов не торопился раскрывать карты.

— И потом, Дима, согласитесь, воровство воровству рознь. Если я залез в ваш карман и присвоил заработанные вами, подчас с огромным трудом заработанные, деньги — да, я вор. Я вор и судить меня надо по всем человеческим законам, по Господним заповедям — не укради! Ах, как легко и приятно, мне представляется, правоохранительным органам бороться с преступностью в обществе, не отлучённом от морали и библейских устоев. Я бы первый, живи я в таком обществе, вступил в ряды борцов с расхитителями народной собственности. И сейчас мы с вами беседовали бы на гораздо более увлекательные темы. Но — увы... Меньше всего мне хочется, чтобы мои слова выглядели ёрничаньем или, не дай бог, нравоучением, я излагаю очевидные, прописные истины и если вы не

согласны — готов внимать вашим доводам как угодно долго. Но вы не можете не согласиться, что мы слишком долго жили в стране, где законы соблюдались, мягко говоря, не всегда и не во всём. Жили и продолжаем жить — ничего ведь не изменилось. НИЧЕГО! Вот в чём трагедия многомиллионной страны — те же знакомые всё лица в тех же чуть подреставрированных креслах и даже не всегда переименованных кабинетах. Или, что намного хуже, потому что молодости свойствен экстремизм, в эти кабинеты запущены отпрыски этих лиц, с молоком матери впитавшие большевистскую ментальность. Дмитрий, мы живём в стране, имя которой — абсурд, бардак, воровская зона, — как вам больше нравится. Может быть, я говорю грубо, но поверьте мне — это так. Это моё убеждение. Помните у Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить»? А знаете современную интерпретацию? Нет? Там есть несколько нецензурных выражений, не злоупотребляю, но из песни слов не выкинешь: давно пора, ебёна мать, умом Россию понимать, а что в Россию можно верить, пора, ебёна мать, похерить.

Сомов достал из серебряного ведёрка запотевшую бутылку, разлил по рюмкам густую прозрачную жидкость.

— Что такое большевистская ментальность? Опять не буду оригинальным, такая уж, видно, сегодня у меня планида — говорить банальности, тем более, позвольте комплимент в вашу сторону, быть оригинальным в вашем присутствии непросто, если вообще возможно, одним словом, главным, самым прочным и одновременно самым гнилым кирпичиком в фундаменте советской ментальности является двойная мораль. Да? Правда? Согласны? Я очень рад. ДВОЙНАЯ МОРАЛЬ. Этому нельзя! И этому нельзя! И этому! Никому нельзя. А МНЕ — МОЖНО. Всё! Конец. Распад. Гангрена. Если кто-то ест хлеб с маслом, а мой сын в это время умирает с голоду, если кто-то может излечиться от рака, используя достижения мировой медицины, а моя мать умирает от гриппа, потому что кончилась отечественная вакцина, если меня обкладывают флажками, указывая пути передвижения, а в то же время горстка авторов и издателей этих указов вместе с домочадцами и прислугой охотятся на ланей в южноамериканских заповедниках — я, как вы понимаете, говорю о самых периферийных признаках двойной морали, — если всё происходит так, а в нашей с вами стране именно так и происходит, — тогда конец: никого уже не заставишь в своих поступках руководствоваться ничем, кроме стремления украсть. Не кошелёк и не кусок хлеба, нет: УКРАСТЬ ПРАВО НА ЖИЗНЬ. И если наши предки, задыхаясь от страха, подчас предавая

друг друга, крали это отпущенное им свыше право, чтобы просто существовать день за днём, продолжать род, производить потомство, исполнять ниспосланную им благодать — БЫТЬ, то мы с вами, Дима, должны красть право на ХОРОШУЮ жизнь. Если при отце всех народов убивали десятками, сотнями тысяч, то сейчас этих убийц среди нас нет, есть их потомки с ментальностью убийц. Нас с вами уже не хотят стереть с лица Земли, во всяком случае немногие рискуют высказывать вслух подобные вожделения, но нам хотят, как теперь принято говорить, поменять статус. И не только хотят — уже поменяли! Нас превратили в обслуживающий персонал, всех скопом, сто пятьдесят миллионов — в рабов. И знаете, кому мы служим-подчиняемся, кому чистим ботинки, кого кормим с ложечки? Не сомневаюсь, конечно, знаете: мы добровольно, через восторги и мимолётные победы, через лишения, смерти (вспомните несчастных непоживших мальчишек, погибших, как им казалось, за свободу в 91-м), через надежды и отчаяния — мы пришли в услужение к... большевикам. Да, да, не удивляйтесь, я не открываю америк. Сознать это горько (не всем, конечно, отечественные Фирсы, с молоком матери привыкшие к рабству, откровенно торжествуют), но и не признавать факта капитуляции перед коммунистическим монстром — тоже, не правда ли, признак некоторого инфантилизма.

Сегодня Россия поделена на десять практически равных частей (называю условную цифру 10, хотя, как ни странно, не так уж далёк от истины): нефть, газ, лес, внешняя торговля, электроэнергия, золото-бриллианты, железо-никель-алюминий, банки, склянки и баранки. Всё! Кому это всё раньше принадлежало? Никому. Народу. Глупость? Очевидная. Теперь эти океаны принадлежат десяти конкретным людям. И их армиям акул, защищающим любые посягательства на эти океаны. Глупость? Не-ее-ее-ет! Воровство во вселенском масштабе. Преступление века.

Вы знаете, Дима, как ведут себя егеря, которые вынуждены жить в лесу? Они, чтобы выжить, изучают волчью психологию и живут по их законам. Вы что предпочитаете на десерт?

И опять Дима вздрогнул от неожиданности. На этот раз ему показалось, что он несомненно где-то видел этого человека.



В такси на заднем сидении Дима долго искал более или менее удобное

положение: каждая выбоина на дороге отдавалась острой болью во всём теле. Теперь уже никаких сомнений: его избили, причём избили умело. Сначала, чтобы он не смог кричать, сопротивляться, звать на помощь, его оглушили, видимо, подкравшись сзади, а затем уже спокойно, скорее всего, ногами били в лицо, грудь и по почкам. Зачем? Вопрос. Убивать не собирались, иначе в ход пошёл бы нож или — что в таких случаях применяется — заточка, так, кажется. Нет, ножевых ран, похоже, не было, хотя рубашка подозрительно прилипла к спине. Он, сморщившись от боли, повернулся на бок, просунул руку под плащ — нет, открытые раны, надо думать, заявляют о себе по другому. Тогда что? Предупреждение? О чём? И зачем прибегать к такой крайней мере, когда можно в любое время встретиться, поговорить, передать через третьих лиц, наконец. Может, он согласился бы на все условия: чего изволите? и только-то? да ради бога, нет проблем, какой разговор. Не пришлось бы сбивать кулаки и пачкать об него обувь.

И наконец самое главное: КТО?

Кто заказал? Сомов? Нет, это почти невероятно: во-первых он его никогда не обманывал, а, напротив, со скрупулёзной тщательностью исполнял все однажды взятые на себя обязательства. А во-вторых...

Тогда, два года назад, в ресторане Сомов показался ему неглупым, по-своему несчастным парнем: не справился с неожиданно свалившимся на него богатством, преступил какие-то российские законодательные крючкотворства (и, между прочим, правильно сделал, он, Дмитрий Кораблёв, поступил бы точно так же, будь на то хоть малейшая возможность), теперь попал в затруднительное положение — почему не помочь?

Он тогда, приличия ради, лишь недолго посопровивлялся и принял предложение открыть на своё имя акционерное общество «ООО ДЖ». Обязанностей практически никаких, а выгода очевидная: материально встанет на ноги, хорошему человеку доброе дело сделает, да и с театром можно будет наконец-то решать, не боясь оказаться на улице без штанов. Роли его не радовали давно, выходить на сцену всякий раз бывало стыдно — в стране происходит чёрт-те что, люди ищут себя в политике, уходят в бизнес, уезжают за границу и там пытаются начать новую жизнь, с головой в омут, без страха и оглядки — будь что будет. А он? Карету мне, карету? Глупо. И чем он хуже других? Старик? Или у него семеро по лавкам? Да и окружение, признаться, осточертело за столько лет. Все эти служители Мельпомены — одни и те же лица, характеры, капризы, истерики, интриги, хорошо поставленные голоса и вычурный фальшивый смех — все эти

необыкновенные таланты и сложные индивидуальности, согласитесь, доведут до психушки кого угодно. Профессия актёра хороша в молодости, когда ты в коротких штанишках, полон сил, честолюбивых помыслов, жажды славы, узнавания, обожания поклонниц: «Ох, ах, смотрите кто идёт! Тютюкин! Вы Тютюкин?! Ах!» И в обморок. Ну Тютюкин я. Тютюкин, зачем же стулья-то ломать?

Он с лёгким сердцем ушёл из театра и до сих пор не жалел об этом. С Сомовым тогда расстались друзьями. Дима, даже, помнится, пригласил его к себе, настаивал, хотел познакомить с Женькой (чего таиться — отличный парень, скромный, неглупый), но тот вежливо уклонился. С тех пор они ни разу не виделись, общались только по телефону. Звонил всегда Сомов, звонил из автомата — Дима его телефонов не знал. Разговаривали коротко, условленными фразами.

Последний раз это было, если сейчас ему не изменяла память, три дня назад. Сомов был по обыкновению вежлив, поинтересовался здоровьем, планами на ближайшее воскресенье, передал привет жене и повесил трубку. Это означало, что через два дня, с семи до восьми вечера он должен ждать звонка от посредника, который передаст все дальнейшие распоряжения. Такая вот нехитрая конспирация, о которой они договорились ещё в «Славянском базаре».

Помнится, он тогда рассмеялся: «Зачем такая таинственность? Нельзя ли...». «Нет, нельзя! — Сомов неожиданно повысил голос. — Вы у нас не первый, с предыдущим пришлось расстаться, повёл себя не совсем правильно». «А что случилось, если не секрет?» — поинтересовался Дима. «Не секрет. Жадность», — недовольно качнул головой Сомов.

За два года сотрудничества Дима привык к этим звонкам, тем более что сбоев никогда не было.

Вот и вчера всё прошло гладко: «Гоголь» ждал в условленном месте, он опоздал минут на пять... Стоп!

Стоп-стоп-стоп. Когда ему назначили встречу в «Славянском»? Или это было в другой жизни?

От воспоминаний Диму отвлекло дорожное происшествие: шофёр такси, стараясь избежать столкновения с подрезавшим его джипом, резко затормозил, машина заскользила на мокром асфальте и бампером коснулась ехавшего рядом «жигулёнка». Царапина оказалась пустяковой, вернее, её и не было вовсе, так — грязь размазалась по передней дверце — но хозяин «Жигулей» как будто только этого и ждал. Он выскочил из автомобиля, упал лицом на проезжую часть и замер.

— Во, б...дь, что делает. У Америки научились, суки. Теперь ещё и за

страховку платить придётся. — Вконец расстроенный шофёр выключил двигатель. — Свидетелем будешь, слышь, — обратился он к Диме.

Гаишники приехали минут через тридцать, оформляли протоколы, делали замеры, потом долго ждали «скорую помощь» — её вызова категорически требовал водитель «Жигулей» — прошло не менее двух часов, прежде чем краснолицый инспектор, с трудом втиснувшись в служебную «семёрку», умчался по другому вызову. Всё это время Дима лежал на заднем сидении «Волги», стараясь не шевелиться, чтобы невольным стоном не выдать себя, не вызвать подозрений у дотошного «щипача». Не хватало ещё загреметь в больницу и там быть с пристрастием допрошенным: кто тебя так, да за что, да почему. И что отвечать? Споткнулся и упал? Или подрался не помню с кем? Так вспомни, напрягись. А нет — мы сами поищем, тут криминалом пахнет. И ну как найдут? Тогда что? Эти товарищи убьют ведь не моргнув глазами. Доказывай потом, что ты не верблюд, не по твоей наводке бандюг поймали. И потом — что значит «бандюг»? Просто так никто никого не бьёт, это «заказ», сомнений никаких, люди «работали» за деньги, вероятнее всего — не за ах какие деньги — он фигура невеликая, рисковали, между прочим, поймают — лет пяток гарантирован, так что им ещё и посочувствовать можно.

Вот если б знать, кто заказал! И — мотив.

Машину потрянуло так, что Дима ткнулся лбом в боковое стекло и оказался на полу между сидениями. Притихшая было боль в ногах снова заявила о себе резким ударом в спину, поползла, цепляясь за рёбра, по всему телу.

— Старик, потише, если можно, подохну так. — Слова дались ему с трудом.

Шофёр, видимо, не остывший ещё после дорожного происшествия, охотно вступил в диалог.

— Да мы все тут скоро подохнем на х...й. Козлы, б...дь, дороги строить не умеют. Вчера покрыли — сегодня, б...дь, яма. Попробуй объезжай — зае...ся на х...й.

Дима вцепился в подлокотник, не без труда вернул на сиденье казавшееся чужим туловище, выглянул в окно. Беговая. Слава богу, кажется, приехали. Осталось совсем немного. Он глубоко, со стоном вздохнул — не хватало воздуха. Шофёр понял по-своему, спросил не обращиваясь: «П...ц, что ли?»

— Ничего, дотянем.

Так, ну и что? Что дальше? Ну — приедем, а дальше-то что? Ему на

мгновение показалось, что весь сегодняшний день — бред, всё, что с ним случилось — случилось не с ним, Дмитрием Кораблёвым. И Женька жива — Господи, что за глупости, конечно, жива! Жива, здорова и над ним ещё смеётся: «Рано ты меня, Димуля, в покойницы записал, желаемое за действительное. Ещё родим двойню и назовём обеих Женями. Вот смеху, да? Справишься с нами тремя-то?»

Голова опять свалилась с сиденья, он долго силился вспомнить, где он, почему так темно и так неистово ноет затылок. Надо срочно горячий душ и в постель, иначе не выдержать. Вылезти из ванной будет непросто — ноги отсутствуют, но если зацепиться руками за бортик...

Зачем она приходила? Год не была и вдруг — день в день. Чтобы умереть? Слоны уходят от любимых — умирать в одиночестве. Она не слон, нет... Слоны не пьют шампанское, на кухонном столе непочатая бутылка. Чехов просил перед смертью. Жаль — не холодная. Смерть — холодная, а шампанское — не смерть... «Не ве... не ве...»?

Не верю?

Не вечер?

Невеста?

Не велят Маше за реченьку ходить?..

Почему её не стало? Была «стало», а теперь «не стало». Тридцать лет «стало». А «не стало» сколько будет? Сто? Тыщу? Миллион? Ре-инкарнация.

Вчера не верил — чушь, блудни, мрак, а сейчас — обязательно, какие сомнения? Только когда эта «инкарнация» — «ре»? Когда же она «ре», эта проклятая «инкарнация»?

Ответ на последний вопрос прозвучал глухо, откуда-то сверху.

— Приехали, клиент, твой дом? Там что-то горит на х...й.

Дима открыл глаза. Действительно, впереди перед домом № 6 по Шмитовскому проезду стояло несколько пожарных и милицейских машин. Лучи прожекторов, скрещиваясь и разбегаясь в стороны, выхватывали то суетливо разворачивающихся шланги и поднимающихся по вертикальным лестницам людей в чёрных касках, то брызги разноцветной, похожей на фейерверк пены, то грязные, заваленные вековым мусором балконы с их насмерть переполошенными хозяевами. Кто-то громко кричал в мегафон, тщетно пытаясь разогнать невесть откуда взявшихся в этот поздний час любопытствующих.

Шумно сновала милиция, деловито суетились, лаяли собаки, трескуче звенели разбиваемые стёкла и, если бы не подозрительно натуральные женские вопли да плач детей, всё это смело могло сойти за хорошо

подготовленную киносъёмку.

Чёрный дым, расшитый яркими лоскутами пламени, вываливался из трёх расположенных рядом окон одиннадцатого этажа. Пожарная лестница, видимо, была рассчитана на меньшую высоту, поэтому атака на огонь велась с балконов, расположенных двумя этажами ниже.

Один из них принадлежал милой интеллигентной старушке, Евгении Семёновне, некогда, поговаривали, неплохой эстрадной певице, а ныне одинокой и болезненной. Она обожала Диму, заставляла его называть себя на «ты», неподдельно радовалась их с Женькой разрыву. Звонила часто с просьбой купить что-нибудь или погулять с её беспородной, похожей на рисованного чёрта собачонкой и он, если мог, никогда не отказывал.

Месяца два назад она спасла его от позора, не ведая того, конечно, и всё равно он был ей чрезвычайно благодарен. Светка Нежина заехала к нему как-то пьяненькая, задержалась на неделю, вела себя, как хозяйка, надоела до смерти, выгнать было неудобно — школьная ещё, как-никак, любовь — да и вообще он не умел этого делать, предпочитал уходить сам. В данном случае уходить было некуда. И вот во время очередной бессонницы, когда Светка из кожи лезла, стараясь разбудить в нём мужчину, а он с ужасом понимал, что не только не хочет (это бы ещё полбеды), но и не может даже приблизить себя к необходимому условию начала подобной работы (ощущение было незнакомое и малоприятное), в этот самый момент раздался телефонный звонок.

Дима схватил трубку.

— Кто? А-а, Женя, привет. Что случилось? Погулять? Прямо сейчас? Хорошо.

Он откинулся на подушку. Помолчали. Паузу нарушила Светлана.

— Жена?

Дима ответил не сразу — такая счастливая мысль его не посетила. Он подобрал подходящую моменту интонацию, как раз такую, чтобы сомнений не осталось: звонок этот крайне некстати.

— Да, хочет приехать.

— Вы разве общаетесь?

— Случается.

— Я успею собраться?

— Конечно, она из центра едет.

В эту ночь Дима гулял с соседской собакой долго, с удовольствием и она не казалась ему такой уж уродливой.

Другой балкон, из которого шла атака на полыхающую квартиру одиннадцатого этажа, тоже был в своём роде знаменит и хорошо знаком

Диме. Принадлежал он семье Суржиков: глава, Толя Суржик — славный, беззлобный малый, но тюфяк и прижимист крайне. До встречи с Сомовым Дима часто стрелял у него до зарплаты и это не всегда удавалось, его дочь, Тина Суржик — замкнутая, стесняющаяся своего имени девочка, почему-то огненно-рыжая, хотя оба родителя были брюнетами; и жена, Нюра Суржик — очаровательная толстушка с глазами цвета высококачественного гуталина. Нюра была очень весёлой и доброй, глядя на неё всегда казалось, что никаких проблем в её жизни не существовало.

Дима познакомился с ней пять лет назад буквально на следующий день после заселения в этот кооперативный дом. Она подошла к нему на улице и утопляя в щеках ямочки и демонстрируя при этом рекламной белизны зубки сказала: «Здравствуйте, Дима. Мне очень приятно, что мы соседи. Я буду жить под вами. — Она изумительно улыбнулась и добавила: — Не в буквальном смысле, конечно. Наша квартира двумя этажами ниже».

Дима наградил её понимающим смешком, чем, видимо, и положил начало их непродолжительным, но достаточно бурным отношениям.

— Я отвела дочку в школу, а муж на работе. Не хотите кофе?

Кофе они в это утро не пили.

В лифте Нюра случайно задела плечиком кнопку «стоп», кабина послушно замерла между этажами и, как только погас свет, она жадно обняла его, заклеила рот умелым поцелуем и прижавшись всем телом неожиданно для себя и явно не без удовольствия (при этом она произнесла нечто вроде «О-оо-ооо?!»), что нельзя было трактовать иначе, как одобрение) обнаружила полную Димину готовность. Тогда, не отрывая губ, она без спешки расстегнула и стянула с него всё, что показалось ей в данный момент лишним, развернулась на 180 градусов, сложилась пополам, накинула подол платья на голову, и с отчаянием взбесившейся девственницы замкнула в себе его несомненное в этот момент достоинство. При этом издаваемые Нюрой возгласы были столь недвусмысленно откровенны, что, когда они оба в конце концов оказались на девятом этаже, в глазах скопившихся на площадке жильцов вместе с понятным негодованием читалась и плохо скрываемая зависть.

...Всё это Дима вспомнил в одно мгновение, даже долю мгновения, пока шофёр такси упирал лоб в переднее стекло автомобиля, увеличивая себе таким образом площадь обзора. Зрелище пожара привело его в состояние, близкое к восторгу, и теперь, казалось, начисто забыв недавнее дорожное происшествие, он воочию убеждался в относительности человеческих несчастий.

— Жалко, б...дь. Кирпичный дом. Всё сгорело на х...й.

«Жалко, конечно, — подумал Дима. — Хотя, чего жалеть, телевизор разве что, сегодня футбол хороший. Документы тоже жалко — в прихожей остались, кажется. И шампанское...» Подскочил черноволосый милиционер, дубинкой застучал в стекло.

— Проезжай, проезжай, чего стал? Пожара не видел? Давай отсюда!

Шофёр всем корпусом повернулся к пассажиру.

— Выходить будем, клиент?

— Поехали. Тёплый Стан.

Это прозвучало неожиданно даже для самого говорившего, а уж водителю только и оставалось, что сказать:

— Ну ты даёшь, на х...й.

Следующие сорок минут езды они не проронили ни слова. Нинка открыла, как всегда, без вопросов. Схватила за руку, ахнула, протащила в кухню, захлопотала.

— Разденься, Дима, надо умыться. Кто тебя так?

Он вяло повинился.

— Упал я.

— Я врач, Дима, ты забыл? Так не падают. — Она смеялась.

— У меня жену убили. Или сама она. Не... ве...

Нина успела его подхватить, уложила на диван, принесла бинты, мази, йод. Работа предстояла долгая: на спине обнаружили кровоточащие раны, грудь посинела и вздулась петушиным зобом.

Тишину роскошного кабинета нарушили стройные аккорды мендельсоновского марша. Председатель совета директоров ООО «Досуг» Аликпер Рустамович Турчак нетерпеливо схватил со стола миниатюрную трубку, нажал клавишу.

— Да?!

Звонил директор казино «Weekend», гнусавым плачущим голосом сообщал об очередной проверке: попались несговорчивые, суки, просят больше, чем есть в наличке, грозят лицензией, ОМОНОм — что делать?

Аликпер Рустамович слушал вполуха, потом взорвался.

— Что делать? Да ничего не делать! Ни-чего!! В штаны, главное, не делать! Послать и работать дальше. Ясно?! Всё!

Он ударил локтями по столу, обхватил голову ладонями. Господи, как же всё это надоело! Шмоны, ОМОНЫ, проверки, перепроверки... Что они

— озверели там, в самом деле: пятая за месяц. Всем ведь проплачено, кому надо и не надо. Эх, если б не его сегодняшнее положение — в разнос пошёл бы, до Самого добрался, а прервал эту сучью дойку. Нашли корову! Но — нет. Не этим теперь жив Аликпер Рустамович, не облавы и взятки его беспокоят. Третий день ждёт он звонка от Любы.

Ай, Люба, Люба. В золотой раме, напротив, во всю стену, живая стараниями художника Шилова. Беда его пожизненная, вечная и счастье безутешное. Скажет: в воду с моста — в воду. Скажет: Луну к ужину — Луну. Через что угодно, через трупы даже. Вот сказала же: убей — и готов. В низком старте, толчковая нога на колодке. Месяц думал, взвешивал, со всех сторон заходил — как обустроить? И нашёл! Выверил до тонкости. Сомнения — не без этого — голодным зверем душу грызли, ночи коротали, глаза в стены упирали: а ну как провал? И, если б не то несчастье превеликое, ещё неизвестно, какую судьбу уготовила бы жертве коварная рулетка: «чёт» или «нечет».

А несчастье это явилось, когда его никто не ждал — без малого восемь уже лет назад, 19 августа проклятого 98-го — и до сих пор держит некогда преуспевающего председателя совета директоров за горло мёртвой хваткой: ранним солнечным утром распахнулась дверь и в кабинет — без стука, без предупреждения, хамски — ввалилось чудовище по имени «дефолт», село Аликперу Рустамовичу на шею и заговорило голосом одного из заместителей председателя правительства. Выяснилось, что отныне конвертируемость отечественной валюты — не что иное, как плод воспалённого воображения родоначальников экономических преобразований; что родные наши банки, вчера ещё декларировавшие свой безудержный рост и процветание, разорены и пущены по миру; что вкладчики, все как один, употреблены животным способом в особо извращённой форме... и ещё многое, многое другое. И потому, если во всём цивилизованном мире принцип определения стоимости конечного продукта находится в прямой зависимости от его себестоимости, то у нас этот пресловутый принцип должен быть изменён в сторону как минимум четырёхкратного увеличения этой самой не менее пресловутой стоимости всё того же конечного продукта.

Когда Турчак не без труда перевёл чиновничий язык на понятный для себя, то у него вышло, что динамика благосклонного отношения столичного руководства к продлению лицензии подведомственного Аликперу Рустамовичу объединения напрямую зависит от его понимания сложности финансового положения страны. Тоже не так просто, как хотелось бы, но экономика вообще вещь запутанная. Ну а если уж совсем

просто, то слова чиновника звучат так: плати, сука, в четыре раза больше и гуляй в любую сторону. А нет — найдут тебя (если найдут) туманным утром под колёсами пригородной электрички — самое поэтичное из небедного арсенала способов борьбы с непослушанием.

Что за ёб...е государство: где это видано, чтобы от падения курса валюты страдал исключительно человек труда, а казна и экономика в целом оставались в девственной неприкосновенности? Сказано ведь: любишь кататься — люби возить саночки. Об...ли полмира фантиками ГКО, так имейте же совесть — сократите расходы, умерьте бюджет, приберите собственную алчность — пусть страна хоть недолго поживёт по средствам. Нет! Хочется и на ёлку влезть выше всех и жопы свои при этом не ободрать. А страдают они — безответные бойцы трудового фронта, руководители большого и среднего бизнеса. Малый не в счёт, это так, на карманные расходы детям.

Можно, конечно, затемнить доходную часть, так одеяльцем прикрыть-укутать — ни один Митволь носа не подточит, ни один сексот не вынюхает (а что их в «Досуге» развелось немерено, Аликпер Рустамович знал не понаслышке: районное начальство регулярно сдавало своих агентов за умеренное вознаграждение). Так ведь не проймёшь малыми доходами этих педерастов, им насрать, сколько ты в плюсе имеешь: хоть на кол сядь, а пайку выложи. Где взял — не их забота. Хочешь — укради. Хочешь — убей кого — они за свою зелень любые грехи отпустят.

Глава московских игровых заведений любил в редкую свободную минутку пофилософствовать, размять извилины, дать волю эмоциям. Говорить вслух он практически разучился — не с кем, да и небезопасно, а постичь логику происходящих в стране событий для выработки тактики-стратегии — такая необходимость ещё не покинула недавнего специалиста в области высоких молекулярных технологий, и поэтому не часто, но при первой же возможности он поудобнее устраивался в дорогом, принимающем форму тела кресле, закрывал глаза и предавался размышлениям.

Вообще-то говоря, если быть откровенным, Аликперу Турчаку в жизни везло, иначе как объяснить, что внебрачный сын бедной дагестанской еврейки добился таких высот. А то, что высота эта именуется если не Джомолунгмой, то уж по меньшей мере Пиком Победы, сомневаться не приходилось. Куда уж дальше: в последнюю выборную кампанию звонили домой из высоких хором, обращались по имени-отчеству, обещали снисхождения к маленьким лукавствам бизнеса, смягчения налогового бремени. И всего-то за какие-нибудь 3 000 000 кэша. Да он бы и пять слил,

если б не дефолт. Память, правда, подвела высокого просителя: время прошло, а воз и ныне там, не то, что смягчение, а всё ту же удавка, ну да разве в этом дело? Зато теперь он в другом реестре, фамилию имеет, пусть не в первой тыщёнке, но всё же: Турчак Аликпер Рустамович, руководство Того-то в лице Такого-то имеет честь пригласить вас на праздничный ужин в честь того-то и того-то. Сбор гостей к такому-то часу. Форма одежды такая-то...

Подобный бальзам в виде красочной меловой бумажки с подносики длинноногой секретарши — разве не признак допущенности к вожделенной касте неприкасаемых, пусть не близко, не к телу, к мизинцу лишь, может, к ноготку даже, ну так что? Мы люди не гордые, да и не вечер ещё: вода, известно, по капле камень точит...

Можно, конечно, не пойти, отвернуться надменно: мы мол народ занятой, пустяками себя не балуем, дело. Да и по правде сказать — эка невидаль: заморской влаги плеснут в хрусталь, а ты за это ихнюю херню выслушивай. Но — нет. Зал полнёхонек: подбрось яблоко — не упадёт — некуда. Застрянет, запрыгает по модным стрижкам да потным лысынам. Редкий смельчак позволит себе роскошь пренебречь метиной высочайшего приглашения. Слишком много «рук» для этого иметь надо. Да и в этом случае опасность под окошком ходить будет: рыла-то у всех «рук» в пуху. Подрали пичуг несмышлёных, насытили плоти, а избавиться от пуха этого самого ещё не придумано как. Вживается он в кожу лиц, пух-то, срастается с ней, тленным ворсом за версту чадит. Следующее поколение, разве что, неба в клеточку не убоится, да и то, если чадо, пока отец убивал да грабил, увлекалось, к примеру, орнитологией. Что редко. А сам ты, голубь сизокрылый, до гроба в меченых ходи. И гордыню свою спрячь, сам знаешь куда. Помни: ходи, летай, ползай, трусцой бегай, как пожелаешь, свобода полная, но... ты на мушке пожизненного, скажут — сделай, сколько попросят — отдай. Кто думает, что живёт по-другому — давно и не живёт уже.

Много мудрых слов пересказано за последние годы людьми разных вер и национальностей, а победил опять же еврей: «Делиться надо!»

И всё. Лучше не скажешь.

Красота спасёт мир? Да-а, жалко дедушку.

Теперь в графе о государственном устройстве России умные люди пишут: воровской общак.

И вот уже восемь лет не может встать на ноги Аликпер Турчак, не может вырваться из спрутних объятий государства, изворачивается как последняя б...дь в потуге соблюсти дебет с кредитом и при этом не

отправлять доверенных гонцов в швейцарские банки с пустыми руками. Это он-то, один из первых миллиардеров.

Нет, тысячу раз — нет, не зря решился он на мокрое дело. Не с жиру взбесился — жизнь заставила. А что при этом щепки полетят — так какой же лес без щепок-то? Он и сам этой щепкой оказаться может: ещё неизвестно, чем кончится. Долго решение шло, ноги путало, ночную темень зрачками буравило — всё гадал: а вдруг неудача. Это что ж — конец тогда? Всей жизни конец? Пока не понял: без Любы и жизни не надо. Всё для неё — деньги, много денег, камни, золото — всё её, только б согласилась взять. Только б рядом.

Он повернулся всем телом — рывком, со стоном — к огромному во всю стену портрету.

Люба!!

Заговорил вслух.

— Убей, да? Слышишь, убей. Не могу так. За что? — Спазмы сдавили ему горло, он задохнулся.

Люба улыбнулась синими нарисованными глазами, сказала ласково:

— Турок, привет, это я.

И он понял, что сходит с ума, этого следовало ожидать.

— Привет, говорю. Ну вот, дождался: встреча завтра в восемь утра. Но учти, предупреждаю ещё раз: если с ним что случится — поедешь вдогонку вместе со всеми заведениями. Мне, ты знаешь, терять нечего. Ребят подбери потерпеливей, чтобы языки не высывали, если не дай бог... Перезвонишь.

Короткие гудки отбоя долго не могли вернуть Аликпера Турчака к реальности.

Всякий раз, когда Юрию Кимовичу Гатарову предстояла встреча с Кораблёвым, у него с утра начинали дрожать руки. Казалось бы — третий год работает, сколько ходок, ни одного прокола — можно и успокоиться. Процедура отработана тщательнейшим образом, проверена, многократно отрепетирована: встречаются на улице два приятеля, здороваются, разговаривают недолго и расходятся каждый своей дорогой.

А собака зарыта вот где: у обоих в правой руке одинаковые (не новые) портфели. Для приветствия они перекладывают их в левые руки, берясь при этом за ручку не своего, а чужого портфеля и каждый уносит с собой

то, что ему предписано: Кораблёв пустой контейнер для следующей встречи, а он, Юрий Гатаров, человек, как обидно выражаются москальи, кавказской национальности, — портфель с «капустой». Такой нехитрый не ими придуманный трюк, но всё дело заключалось в виртуозном исполнении. Свои люди, с пристрастием наблюдая за трюком, не сразу распознавали, в чём секрет успеха.

Да и если уж говорить честно — ну поймают, отберут — и что? Он ведь всего-навсего посредник и наверняка не единственный. Сколько там денег, в какой валюте, какими купюрами — не его ума. Он оставит этот портфель в ячейке камеры хранения Казанского вокзала и там же найдёт свой пакетик, пусть небольшой, но зато имеющий к нему самое что ни на есть прямое отношение. Да и проделает всё это он, в целях осторожности, не сам, а за мзду найдёт готового на всё носильщика. Тот уложит портфельчик в ячейку, привезёт пакетик на тачечке, спасибо скажет, кланяться будет, попросит в следующий раз обязательно его найти, потому что — могила, Махмудом зовут, не забудь, дорогой. Не знает, мудака, что вокзалов в Москве десять штук, ещё пять аэропортов и везде носильщики, и все они Махмуды, если не хуже.

Нет, всё давно проверено-перепроверено: мин нет. Практика — великое дело. Зелёный свет, господа, наше время. А если, не дай того, какая-нибудь госслужбовская б...дь возмёт-таки за жопу — что ж, и при самом неудачном исходе грозит нестрашно: ну отпи...т для отмазки, ну подержат чуток — много-то не положено — в предвариловке, и будет. А дальше назовут сумму. «Скажи, мол, спасибо, что на добрых людей нарвался. Гони сумму и вали с глаз».

А сумма-то как раз на такие непредвиденные случаи и припасена, притом — немалая, а то вдруг у этих падл добрых да аппетиты волкодавовы? Расстанешься, поблагодарив, с суммой-то, заявочку на пополнение хозяевам сделаешь и гуляешь, как ни разу не ёб...й. На такую страну как наша — грех обижаться, ей ежеутренне свечки ставить надо, ноги мыть и осанну петь. Только здесь и можно жить умному-то человеку.

Так что рукам давно бы надо отучиться дрожать, не ворует, чай. Ан нет, поди ж ты. У страха глаза велики...

Боковым зрением Юра скорее почувствовал, чем увидел справа от себя плотную высокого роста фигуру в сером плаще. Он замедлил шаг, хотел было отступить в сторону (ему с его невеликим ростом и непропорционально большим по отношению к этому росту носом любые силовые контакты были противопоказаны и он с детства привык рассчитывать исключительно на быстроту реакции и выдающиеся

скоростные качества), уже отступил было, как вдруг обнаружил своё лицо зажатым в чьём-то огромном кулаке вместе с тряпкой, источающей приятный запах полыни. Пальцы его тотчас прекратили предательскую вибрацию, дышать стало не обязательно и всё тело Юрия Кимовича Гатарова погрузилось в прохладный, заполненный лёгким эфиром аквариум.

Незаметно прошли годы, он изменился, состарился — болели суставы, ударяло в затылок, нос, предмет былой национальной гордости, видимо, отслужив свое, отказывался выполнять определённые природой функции и, чтобы не задохнуться, приходилось хватать воздух гортанью. Глаза слезились, о происходящем вокруг судить было трудно, поскольку изображение размывалось полупрозрачной мутью. Единственный орган, который не отказал окончательно, был орган слуха и до Юрия Кимовича донеслось откуда-то издалека:

— Проснулся, маленький? Кофе в постельку или поговорим до завтрака? — Акцент выдавал в говорившем земляка — уроженца труднодоступной части предгорий Северного Кавказа.

Юрий Кимович достал из внутреннего кармана носовой платок, попытался протереть глаза и это ему отчасти удалось, во всяком случае настолько, чтобы разглядеть перед собой на фоне мелькающего городского пейзажа два неподвижных внушительных размеров затылка, а рядом справа — нечто, очень напоминающее небритое человеческое лицо. Говорил, по всей видимости, небритый, потому что губы его сначала растянулись в улыбке, а затем характерно захлопали одна об другую.

— Что застеснялся? Время — деньги, ты на работе и мы на работе. Говори, не тяни.

Происходящее неуверенно, с перебоями подбиралось к сознанию Гатарова, но природная смекалка утрудила прийти на помощь и в этой безнадежно проигранной ситуации. Юрий Кимович гортанным фальцетом произнёс фразу на мало кому понятном диалекте своего родного языка.

— Что он сказал? — не поворачиваясь, поинтересовался один из затылков.

— Сказал, что не понимает по-русски. Забыл.

— Напомни.

Удар пришёлся всё по тому же носу, там внутри что-то хрустнуло, нос накренился к правой щеке и, если бы не габариты машины, ограничившие замах, вероятнее всего, в этом положении и остался бы. Видимость исчезла окончательно, но в который раз не подвёл слух.

— Вспомнил? — голос затылка.

— Сейчас узнаем. Слышь, маленький, мой друг интересуется, как у тебя с памятью? — Южный акцент земляка наждаком прошёлся по гатаровским барабанным перепонкам. — Сам вспомнишь, или помогать надо?

Он вспомнил сам.

И непростой для иностранца, но богатый по своим возможностям русский язык; и в какую ячейку какой секции какой камеры какого вокзала должен опустить этот выдавший виды кожаный сейф с секретным замком от фирмы «Босс»; и в какую машину должен сесть, какой адрес назвать и на какой улице выйти, чтобы, упаси Бог, не видеть, кто заинтересуется оставленным в камере портфелем, извлечёт его оттуда и растворится вместе со своей добычей среди московского населения, приближающегося, по самым скромным подсчётам, к дюжине миллионов человек.

Он вспомнил, что за все его двенадцать встреч с Дмитрием Кораблёвым («Сегодня тринадцатая, слушай, не верь после этого приметам, да?») не было ни одного сбоя, у вокзалов его неизменно ждала машина с шофёром, который, похоже, мнил себя первым советским космонавтом, потому что всегда произносил в мобильник одно только слово: «Поехали!» и увозил его в заранее оговоренное место.

Вспомнил, что все инструкции он получал по телефону одним и тем же условным кодом, как и в этот раз, например: «Завтра поезд с Курского, 17.20, жду на Комсомольской», что означало никакое не завтра, а в ближайшую среду, то есть сегодня, камера хранения на Курском вокзале. Ячейка 17, 20-я секция, сесть в машину к «Гагарину» и заказать Комсомольскую площадь.

Вспомнил Гатаров и как его вербовали на службу.

— Дядя зашёл, его зимой убили, хороший был, говорит: «Слушай, Юра, другу моему человек нужен, чтобы не продать мог, если что. Помоги ему, он платить умеет». Утром позвонил старый такой голос: «Я от дяди, — говорит, — работать будем». Обо всём договорились, я его не видел ни разу...

Машина, до тошноты пропахшая бензином, давно уже топталась в пробке на Москворецкой набережной, «затылки» вполголоса о чём-то разговаривали друг с другом, небритый всерьёз заинтересовался законным пейзажем и тоже, казалось, потерял всякий интерес к соотечественнику, а Юрий Кимович всё вспоминал и рассказывал подробности: и как он мальчиком уезжал с родителями из Нальчика, и как украл в магазине куклу и отослал бандеролью оставшейся на родине Джамиле, и как обоссал однажды ненавистную учительницу, притворившись, что у него

недержание...

Неожиданно прозвучало:

— П...да, у тебя документы есть?

Изысканность обращения сомнений не оставляла — вопрос относился к нему. Он поспешно достал паспорт, протянул «затылку».

— Срисуй, Ваня, потом проверишь. А ты вот что, слышь меня?

— Да, да, конечно, — испугался Юрий Кимович.

— Сделаешь как всегда, понял? Возьмёшь свою долю и уе...шь. Если кому хоть слово — утопим. Выбирай.

Набережная к этому времени свернула к юго-западу, навстречу солнцу и оно, как показалось Гатарову, угрожающим блеском заиграло в повесенному грязной воде Москвы-реки.

До Курского вокзала все четверо ехали молча.

Сева Мерин вышел из метро на Пушкинской площади и не спеша направился в сторону Петровки. Надо было сосредоточиться, а нигде, кроме улицы сделать это не представлялось возможным: отдельного рабочего места у него не было — кабинет в МУРе вместе с ним занимали ещё два сотрудника, там вечный гам, шутки, розыгрыши — не уголовный розыск, а Петросян с компанией.

Дома же в него вцеплялась бабушка.

А подумать было о чём.

Конечно, от шефа Сева вышел злой, как голодная собака: мало того, что за почти уже полгода ни одного мало-мальски серьёзного дела — всё только бумажки да побегушки (позвони, узнай, принеси, разлей), так сегодня ещё и самоубийство повесили. Видите ли, отравилась молодая женщина (хотя какая молодая, тридцать лет, четвёртый десяток), узнать почему, зачем, да отчего, да каким образом. И как ей, бессовестной, не стыдно. Что за манера лезть в чужую жизнь, копаться в грязном белье? Милиция призвана бороться с преступностью, предупреждать, обнаруживать, разоблачать. Оберегать чужие жизни. О-бе-ре-гать, а не лезть. Ну и берегайте! Вам что — мало? Вон сколько нераскрытых убийств, изнасилований, разбоев. Если кому рассказать — не поверят: в Москве (одной только Москве!) каждый день от рук бандитов погибает около сотни человек. Сто жизней! КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Ловите, если вы уголовный розыск. А самоубийство — это дело каждого: хочу — живу, хочу

— не живу. Никого не касается. Вон за границей даже попытка предупреждения самоубийства считается вмешательством в частную жизнь и карается по закону. Церковь? Ну и что, что церковь? Церковь — это церковь. А мы — милиция. Путать не надо. Пусть церковь ими и занимается.

Честное слово, в такие минуты хоть с работы уходи. Стыдно. И в то же время ничего не поделаешь: служба военная — как ни негодуй, а, кровь из носа, выполни. Придётся проверить результаты вскрытия, возникнут сомнения — провести повторный анализ, уточнить с районным уполномоченным все обстоятельства: когда, где, чем. Желательно переговорить с родственниками. Что ещё? Всё, кажется. Дальше останется составить протокол опросов, акт о самоубийстве и о невозбуждении (именно — НЕвозбуждении) уголовного дела. Господи, кто кого сегодня отравляет при современном-то совершенстве стрелкового оружия? Смешно сказать — тоже мне — дворцовые перевороты. Вон Павла Первого и то табакеркой прибили, а не ядом. А когда это было?

В 39-м морге Западного округа Сева оказался минут через пятьдесят после того, как вышел из кабинета Скоробогатова: уточнил адрес, созвонился, поймал такси и вот он, пожалуйста, собственной персоной — не на метро же, в самом деле, ехать на первое задание.

Администрация печального заведения размещалась в длинном двухэтажном здании с никогда, но всей видимости, не мытыми и зачем-то зарешеченными окнами. «Чтобы не разбежались», — мрачно пошутил про себя Сева, хотя настроение было не из весёлых.

Он довольно долго блуждал по тёмным коридорам, толкался в закрытые двери, пока наконец не обнаружил в одной из комнат трёх склонённых над столом мужчин. Две пустые бутылки на полу и одна початая на столе свидетельствовали о том, что сидят они здесь давно и не бесцельно.

— Простите, где тут у вас начальство, не скажете? — Сева приблизительно догадывался об их состоянии и постарался вложить в вопрос максимум нежности.

Все трое одновременно повернули головы в его сторону и одновременно же, как по команде, вернули их в исходное положение.

— Простите, я хотел...

— Ты кто?

Сева раскрыл удостоверение, подошёл к столу.

— Читай, — попросил один.

— Московский уголовный розыск, — наизусть процитировал Мерин,

пряча книжечку в карман.

— Рой таж. ридору парава.

Никто из его товарищей удивления не выразил. «Второй этаж по коридору направо», — расшифровал для себя Сева и сделал ещё одну попытку.

— Не знаете, там есть кто?

И тут вскипел самый маленький.

— А хер его знает, мы завтра увольняемся. Пусть сам реставрирует своих жмуриков, подонок. Как синяки убирать, да пули под нарывы заделывать — выручай, ребятки, а то меня «новые» заморгают, а как деньги на кон, носорог толстожопый, так в упор не узнаёт. Во, гнида, до чего довёл! — при этих словах он, видимо, для наглядности достал из кармана не обременённый наличностью бумажник, открыл его и швырнул на стол. — Ничего, мы его так покрасим — родная мама не узнает, не то, что МУР.

Было похоже, что оратор зарядился надолго, товарищи поддерживали его шумными одобрительными междометиями. Надо было что-то предпринимать.

— А вот мы сейчас и разберёмся.

Эта невинная фраза произвела неожиданный эффект: подвыпившие подельники все разом замолчали.

Наступившая тревожная тишина сопровождала представителя уголовного розыска в коридор, помогла подняться на второй этаж, довела до двери, украшенной табличкой с золотыми буквами: Носов Григорий Яковлевич. Генеральный директор морга. «Спасибо, что не президент», — подумал Сева.

Григорием Яковлевичем оказался представитель японского вида спорта сумо, на лице которого не было ничего, кроме рога носа. «Гаргантюа, хотя „носорог“, конечно же, точнее».

Тот сидел за столом в соломенном кресле, и понять, как поместилось в этом хрупком с виду сооружении такое количество жира, было затруднительно.

— Меня зовут Мерин. — Сева решил взять инициативу в свои руки. — Вот моё удостоверение. Это я звонил вам.

Директор морга взял протянутую красную книжечку и долго держал ее перед лицом.

«Не иначе, как нюхает», — предположил Сева. Видеть генеральный директор при всём желании ничего не мог: место глаз занимали плотно сомкнутые веки. Монголы рядом с ним — люди, смотрящие на мир широко раскрытыми глазами.

— Очень приятно, — заговорил наконец хозяин кабинета резко контрастирующим с его обликом дискантом. — Как построим беседу?

Сева, не дожидаясь приглашения, сел, закинул ногу на ногу, раскрыл портфель.

— Я думаю, беседу мы построим следующим образом: вы мне покажете документы врачебного осмотра и вскрытия трупа Молиной Евгении Михайловны, затем, поскольку ни хирурга, ни районного уполномоченного в кабинете не наблюдается, вы же прокомментируете эти документы, я потрачу энное количество времени на их изучение, задам вам несколько интересующих меня вопросов и после этого поведу себя в соответствии с тем, как сочту необходимым.

Мерин натужно улыбнулся.

Григорий Яковлевич, напротив, сделался скучным.

— Молодой человек, если я спросил «как построим беседу», то это не значит ровным счётом ничего, кроме того, что я действительно не предполагаю, как может быть построена наша с вами беседа. Я с удовольствием выслушал вашу безукоризненно логически выстроенную филиппику, но, мне кажется, будет правильнее, если мы, не теряя времени и обременив себя необходимостью уважительного отношения друг к другу, начнём разговор по существу.

С этими словами директор достал из стола несколько исписанных от руки листочков и протянул Мерину. Тот углубился в чтение.

— Кто проводил вскрытие?

— У меня есть штат.

— Почему нет подписи?

— Замечание по существу.

— Я спросил, почему?

— Молодой человек, её нет потому, что её не поставили.

— Почему?

— Это могло произойти по двум причинам: или забыли, или не поставили сознательно.

Мерин понимал, что возмутительную тональность этого диалога заложил не кто иной, как он сам, проклинал себя за пижонство, но надо было продолжать.

— Кто сопровождал тело?

— Это прерогатива приёмщиков. Направо по коридору, кабинет № 3.

— Кто потребовал вскрытия?

— Родственник.

— Кем этот родственник приходится погибшей?

— Отцом.

— Почему нет его подписи?

— Он был очень расстроен и не дождался результата.

— Где данные его паспорта?

— Данные его паспорта, думаю, в его паспорте.

— Он что — был без документов?

Директор с видимым трудом развёл руки в стороны.

— Рассеянность. Это случается с немолодыми мужчинами, когда им приходится сопровождать в морг трупы своих детей.

— Почему вы решили, что это отец?

— Он признался. Сам признался. Я поверил. У него очень правдивые глаза.

Сева не без опоздания понял, что дальнейший разговор бесполезен. Он аккуратно сложил бумаги, убрал в портфель.

— Скажите, Григорий Яковлевич, если можно, в той же манере «цианистого юмора», как говаривал великий Набоков: «заморгают» — это от слова морг? Убьют то есть, и в морг доставят?

Вопрос был задан весело, с улыбкой, Мерин всем своим видом показывал, что безоговорочно капитулирует, признаёт поражение (такому противнику проиграть не стыдно) и предлагает мировую. А если его и интересуется какое-то слово, то исключительно из любви к многообразию великого русского языка: это надо же — «моргать» и «морг», оказывается, от одного и того же корня.

И тем не менее он готов был поклясться, что руководитель ритуального заведения вздрогнул.

Правда, уже через мгновение, приоткрыв щель рта и рассмеявшись, пожалуй, чуть громче, чем того требовал момент, он опять полностью овладел ситуацией.

— Всеволод Игоревич, дорогой, я хочу через вас сделать комплимент вашему руководству: подбирая кадры, оно правильно поступает, ориентируясь на молодёжь. Ставка на молодость — безукоризненное ощущение времени. Преступность растёт, уголовный элемент размножается, жиреет, срастается с властью, оружие предпочитает получать непосредственно с испытательных полигонов американской армии, Калашниковы уже непрестижны. А наши с вами аргументы, — директор снова развёл руками и вроде даже улыбнулся, о чём свидетельствовали чуть раздвинувшиеся ноздри, — какие наши аргументы? Энтузиазм. Бескорыстие. Честность. И молодость. Всё! Больше нам с вами крыть нечем — нет аргументов. Кстати, заметили: «аргументы»

и «менты» тоже от одного корня. Забавно, не правда ли?

Григорий Яковлевич долго ещё с удовольствием говорил о войне, выигранной преступным миром у правоохранительных органов, о predeterminedности, увы, этой победы, о необходимости немедленного кардинального пересмотра стратегии вооружения и материального обеспечения силовых структур...

Мерин смотрел на щели его глаз, на сливающиеся с затылком щёки, подрагивающий, как у птицы-пеликана, подбородок и думал: вот сидит перед ним преступник, циничный, жестокий, своими руками никого не убивший, но участвовавший в тысячах смертей, изнасилований, избиений — махровый преступник. Он берёт миллионные взятки за то, что скрывает на своём пересылочном пункте криминальные трупы, руководит бригадами хирургов, патологоанатомов, гримёров, чтобы ушедшего на тот свет от, скажем, инфаркта или инфекционного гриппа выдать за избитого, изувеченного, удушенного, скончавшегося от сотрясения мозга, разрыва печени или милицейской пули. Сюда к нему сходятся нити со всей криминальной Москвы (не только сюда, конечно, но и сюда в том числе, это Мерин только что слышал внизу собственными ушами), здесь решается: быть ушедшему в мир иной зарезанным конкурирующей братвой, сражённым пулей или превращённым в пепел без вести пропавшим. Всё зависит только от одного вопроса. Вопроса очень простого, понятного любому второгоднику: сколько. И знак вопроса. Сколько?

Сколько будет дважды два? Правильно. Четыре миллиона. А трижды три? Девять. Дороговато, конечно, но и работа, согласитесь, необычная. А семью семь не хотите? Был случай даже девятью девять. Так что всё очень просто. Изучайте таблицу умножения.

В этом заплесневелом кабинетике с обшарпанными стенами, за этим канцелярским столом с чёрными выщербинами от потушенных сигарет отмазывают смертные приговоры, оправдывают убийц и отпускают на свободу маньяков-педофилов.

И он, Сева Мерин, это знает. И Скоробогатов знает. И руководство МВД. Все знают. А главное — Григорий Яковлевич Носов знает, что все знают. И потому спокоен. Вот если бы кто-нибудь не знал, он бы волновался: вдруг узнают. А когда все знают и молчат — чего волноваться-то? Значит — норма. Закон такой. Всё спокойненько. И на кладбище удивительная бла-го-дать.

А сунется какой-нибудь молодой да ранний, нюхач, гнида недоразвитая, правдолюб ёб...й вроде этого Мерина — господи, да разве жалко с нужным человеком поделиться, да хоть лимоном зелёным, чтобы

никогда не было больше на свете этого примата прокажённого, не топтал чтобы больше землю нашу многострадальную, политую потом и кровью отцов наших... Мало лимона? Так называйте, полно стесняться — дело нужное. Да в пояс, а то и ниже — в землю лбом: дающий должен быть благодарен.

...Сева прошёл через проходную МУРа, небрежно махнул перед носом дежурного пропуском (формальность, его знали в лицо, как-никак — полгода по несколько раз в день, можно бы и не показывать, но — порядок), поднялся на третий этаж. Половина десятого. Вот бы в кабинете никого — ни своих, ни чужих, не допрашивают, не выпивают, не трахаются — можно было бы часика полтора покумекать в одиночестве. Но — увы, в конце коридора из под двери нагло вырисовывалась яркая полоска света. Так и есть: никогда не унывающий розовощёкий Толик наводил марафет — мыл под краном только что побывавшие в употреблении стаканы. Он так обрадовался появлению Мерина, что даже полез целоваться.

— Вот это подарок, вот это явление Христа народу. Ты чего на ночь глядя?

— Да с з-зад-дания. — Мерин, когда нервничал, всегда немного заикался.

— Иди ты! — испугался Толик, как будто вернуться на Петровку с задания было делом из ряда вон выходящим. — А чего такой кислый? Тебя не ранили?

— Да нет, — Сева с трудом освободился из объятий подвыпившего товарища, — обошлось.

— Ну и слава богу. А то, если кто обидит — не стесняйся, прямо ко мне. Мы им Кузькину мать покажем. Значит так: домоешь посуду, уберёшь со стола, если захочешь — пол подмети, а не подкатит — завтра утречком пораньше придёшь веничком помахать. Или ты с ночёвкой здесь?

— Да нет, — улыбнулся Сева, — на часик зад-держусь.

— Что так?

— П-подумать надо.

— Подумай, Сивый, подумай, тебе давно надо подумать. — Толик вдруг стал очень серьёзным. Он даже перестал собирать бумаги и присел на краешек стула. — Двадцать скоро, правильно? И ни одной бабы. Это аномалия, Мерин. Я в твои годы после полуночи, как правило, третий заход делал, а ты в МУРе сидишь. Как это понять? Имея в виду, коллектив обескуражен. Особенно его женская часть. Их у нас и так немного, это занятие они уважают и обижаются, когда их разочаровывают. Давай так: я сейчас пойду, — он надел куртку, подхватил портфель и направился к

двери, — возьму банду, их там человек пять, не больше, отвезу в изолятор, отдохну чуток, а утром мы продолжим, идёт? Что-то надо делать, Сивый, как-то с этим бороться. Ты думай пока, думай.

Он уже был в коридоре, но на Севин оклик обернулся.

— Толик!

— Что?

— Положи х...й на столик.

На какое-то мгновение оба замерли. Наконец Толик великодушно рассмеялся.

— Молодец, Сивый, взрослеешь. Это хорошо. Будь. — Он хлопнул дверью. Мерин и сам не ожидал от себя такой прыти.

Анатолий Борисович Трусс, капитан с десятилетним стажем работы в уголовном розыске, человек в милицейских кругах известный, в своём роде даже знаменитый (всё руководство МВД знало сотрудника следственного отдела по фамилии Трусс), был на пятнадцать лет старше Севы. И дело даже не в возрасте, хотя, конечно, тридцать пять — годы запредельные (отцу было бы сейчас сорок), просто Мерин с первого дня работы в МУРе проникся неподдельной симпатией к этому неизменно весёлому человеку, называл его на «вы» и по имени-отчеству. Как-то после очередной «вечерней планёрки» все разошлись, они вдвоём засиделись в кабинете, обсудили коллег, начальство, последние политические и криминальные новости (Сева два раза бегал на Петровку в круглосуточный «за сигаретами» — так он объяснял на проходной) и в результате ближе к утру неожиданно для себя оба оказались на меринской кухне в компании с обожающей экспромты Севинной бабушкой Людмилой Васильевной. Был накрыт стол, выставлены несколько видов водочных настоек в хрустальных графинчиках, серебряные ножи, вилки, кольца для салфеток — всё, как положено. И так как темы для обсуждения к этому часу у муровцев основательно подистощились, то, по общему соглашению, говорили преимущественно о любви: каждому из присутствующих захотелось вдруг поделиться интимными сторонами своей жизни.

Анатолий Борисович признался, что хоть его отец и был знаменитым сыщиком, сам он пошёл в милицию исключительно на спор с любимой девочкой — та утверждала, что мальчик по фамилии Трусс не может быть смелым. Толик не разговаривал с ней четыре года (пары состоялось в шестом классе), а когда после десятилетки его приняли в школу МВД, он пришёл к ней домой, показал студенческий билет и великодушно отказался от выигранной «американки».

— Нет! — запротестовала девочка. — Выиграл — требуй чего хочешь.

— Нет, зачем, — упёрся Трусс.

— Трус, трус, трус, — чуть не заплакала девочка и убежала в спальню, оставив дверь открытой.

Тогда-то Анатолий Борисович впервые убедился на собственном опыте, сколь раздражительно замысловатыми бывают застёжки на импортных женских лифчиках.

Людмила Васильевна, как хозяйка и самая из всех старшая, к тому же — женщина, поведала несколько историй, в каждой из которых она представляла в роли страстно желаемой юной красавицы, уступающей грубому мужскому вожделению только в силу сердечной доброты и природного человеколюбия. Телесный же пламень и душевный жар оставались до поры в неприкосновенности и терпеливо, долго, до семнадцати лет, ждали своего часа, который настал, наконец, с появлением принца в облике Севиного дедушки.

В этом месте последовала долгая интригующая пауза.

Присутствующие с нетерпением ждали появления на свет ещё одной романтической истории, на этот раз с дедушкой в заглавной роли.

Но Людмила Васильевна вдруг неожиданно всхлипнула, не чокаясь допила оставшуюся в рюмке водку, с извиняющейся улыбкой пожелала всем спокойной ночи и ушла к себе в комнату.

Вот тогда-то Мерин и поведал коллеге свою страшную тайну: не было этого. Никогда не было.

Анатолий Борисович отнёсся к услышанному с сочувствием, но без паники. Утешал. Уверял, что до свадьбы заживёт. Просил не гнать лошадей.

Это запомнилось.

С тех пор к теме не возвращались.

Прошло месяца два, не меньше.

И вдруг такое фиглярство со стороны старшего собутельника.

Отомстить обидчику можно было только его же монетой — затаиваться и обижаться значило проявить слабину. А покупка с «Толиком и столиком» — единственное, на что очень не любящий (как все шутники) оказываться в смешном положении Трусс, неизменно попадался. Сева много раз присутствовал при розыгрыше и хохотал вместе со всеми. Но чтобы вот так, самому...

Ладно. Ничего. Проехали.

Он закрыл дверь изнутри на ключ, сел за стол и уткнул лоб в сложенные друг на друга кулаки: в таком положении он мог находиться

часами.

Значит так: 1 мая, то есть сегодня, в десять часов двадцать минут утра в 39 морг Западного округа «скорая помощь» доставила труп некоей Молиной Евгении Михайловны, 1974 года рождения. Тело сопровождал молодой человек, назвавшийся Дмитрием Кораблёвым — мужем покойной. Вскрытие, проведённое, по версии директора морга, по требованию отца погибшей, Молина Михаила Степановича, установило наличие в организме молодой женщины следов моментально действующего яда — цианида калия, то есть, другими словами, определило причину смерти — отравление. Кроме того, на теле были обнаружены три различных размеров и наполненности гематомы в области шеи (со стороны затылка), живота и паха. В тот же день в доме, где проживал Кораблёв, произошёл по невыясненным пока обстоятельствам пожар. При осмотре места происшествия пожарными были обнаружены останки сгоревшего человека, идентифицировать которые, по словам криминалистов, не представляется возможным.

Таковы факты, которые на сегодня удалось установить.

Значит: жена отравилась (неважно по какой причине), муж после этого (от горя ли, от радости — тоже неважно) покончил с собой, а заодно и с квартирой. Всё. Концов нет. Дело закрывается.

Или: жену отравили, перед этим избив (любовник?), мужа сожгли в квартире. Невероятно, но... Дело открывается.

Или: жену отравил муж, любовника сжёг вместе с квартирой и теперь стоит в очереди на жильё в райжилуправлении. Вероятно (кроме жилуправления, конечно). Дело открывается.

Или: в деле замешан кровожадный отец и вообще здесь наверняка не обошлось без инцеста. Невероятно... Дело не открывается, но и не закрывается.

Или...

На столе задребезжал телефон, Сева вздрогнул от неожиданности.

— Уполномоченный Мерин.

— Говорит участковый 42-го отделения милиции города Москвы лейтенант Шор. Я звонил в отдел, мне сказали, что вы занимаетесь пожаром на Шмитовском?

— Да, я.

— У меня тут девочка. Говорит, была сегодня утром в квартире в доме № 6, сумку забыла. Пишет заявление на паспорт. Нужна?

— Какая девочка?

— Какая? — участковый зачем-то хохотнул. — Да ничего себе, вроде

всё при ней.

— Не понимаю, в какой квартире?

— В сгоревшей, там сумка её сгорела с документами, говорит. — Голос в трубке стал еле различим: Шор обратился к девочке. — Какой номер квартиры-то?

Ответа Сева не расслышал.

— Не знает она номера, не запомнила, говорит. Ну? Давать?

— Да, да, конечно! Давайте. Где она? — от боязни упустить удачу он вскочил на ноги и всем телом навалился на стол. — Давайте!

Девочку звали Катей. Встретиться она не возражала, но не на Петровке, если можно, а где-нибудь в районе ВВЦ.

— Я здесь учусь рядом, — как-то виновато сообщила она, — если завтра, то мне днём удобно.

Договорились на два часа у фонтана «Дружба народов». «Ну вот, началось. Первый свидетель. — Сева положил трубку и с ужасом для себя отметил, что у него дрожат руки. — Этого ещё не хватало. Слава богу — Трусс ушёл, а то бы не избежать насмешек».

Михаил Степанович Молин — высокий, почти с Мерина ростом старик с седым остатком некогда, видимо, роскошной шевелюры, большим, неестественно белым лбом и впалыми щеками — встретил Севу с выражением покорности и торжественного смирения на лице. Одет он был в костюм дирижёра симфонического оркестра — чёрный с атласными отворотами фрак, белая крахмальная манишка, белая же, вместо галстука, лента вокруг шеи с бриллиантовой заколкой посередине. Он широко распахнул массивную входную дверь (при этом похоронная музыка, доносившаяся, казалось, откуда-то сверху, хлынула из-за его спины на лестничную площадку), не проронив ни слова провёл Севу в просторную гостиную и жестом, означающим извинение за невозможность уделить внимание посетителю немедленно и одновременно оправдывающим себя за это — вот таким, как показалось Севе, достаточно сложным для понимания жестом — указал на диван. После этого он вышел.

Мерин взглянул на часы: стрелки показывали четыре минуты двенадцатого. Чуть больше суток тому назад дочь этого странного господина скорчилась в судороге, сердце её взорвалось перекаченным воздушным шариком, замерло тело, через неделю отлетит душа, а этот шут

гороховый, беспардонный лицедей ломает маскарадную скорбь утраты. И перед кем? Перед первым попавшимся милиционером! «Подонок» — определил для себя Мерин.

Он оглядел комнату.

На стене, противоположной эркеру, — два больших в овальных рамках фотографических портрета, поблекших от времени: молодое, беззаботно улыбающееся, необыкновенно красивое женское лицо. Овальный стол, покрытый оливковой скатертью и двенадцать одинаковых с высокими спинками стульев. Шторы — тоже зелёные, но темнее, чем скатерть, собранные ниспадающими складками, плотно закрыты. Рояль посреди комнаты завален нотами, фотографиями, баночками, подносиками, коробочками, книгами. Ковёр на полу, местами потёртый и выцветший — некогда высоковорсный ручной работы. Живописные акварели с изображением парусников разных времён, настенное зеркало в мятой бархатной раме и два старинных, перенесённых сюда не иначе как из екатерининских банкетных залов, шкафчика с хрусталём. Всё это освещалось несуразной люстрой с тусклыми от пыли лампочками. Особняком, на самом видном месте, стояли напольные часы в потемневшем от времени деревянном окладе, инкрустированном серебряной строчкой, с резным медным маятником. Они показывали половину пятого и, видимо, давно не заводились.

Звякнул колокольчик входной двери. Сева услышал, как Михаил Степанович прошаркал по коридору, открыл дверь. Потом уговаривал кого-то прийти вечером, сейчас у него гости, ему некогда, время бежит, а у него ничего не готово, да и грибы подгорят. Посетительница (судя по голосу, это была женщина), очевидно, сказала что-то остроумное, потому что Молин громко рассмеялся. Потом женщина перешла на шёпот, так что Севе пришлось напрячь слух и затаить дыхание, но слов он не разобрал.

— Солнце моё, вы задаёте вопросы, на которые я не готов ответить.

— ...

— ...

— Свяжитесь с Серёжей.

— ...

— Нет, я его давно не видел.

Женщина говорила очень тихо, разобрать можно было только отдельные слова.

— ...на церковь соберут... близкая порука (или подруга?)... тетради...

— Вечером, солнце, всё вечером, жду тебя вечером, придёт Серёжа, я приготовлю что-нибудь, посидим по семейному, тогда и посмотришь.

— Да кто там у вас, Михаил Степанович, кого вы прячете? — Теперь вопрос был задан громко, в полный голос, видимо, в расчёте на то, чтобы его услышали.

— Молодой человек из уголовного розыска, очень симпатичный, — теперь отец покойной перешёл на шёпот, — а я заставляю его ждать.

— До вечера, солнце моё.

После этого лязгнула замком дверь, шаги старика проследовали мимо гостиной, очевидно, в кухню и опять всё стихло.

Сева начал тихо заводиться так случалось всегда, когда что-то непредвиденное нарушало составленные им заранее планы. Через два часа предстояло свидание с Катей. До ВВЦ ехать минут сорок, не меньше, а этот козёл не шевелит ни ухом, ни рылом. Завтрак ему, видите ли, готовить. Грибы у него подгорают. Какие грибы?! Маразматик старый. У тебя дочь померла. Тридцать лет жила и отравилась. Нет её. Хоронить надо, а он на вопросы подружки ответить не готов. Грибы у него.

Вчера поздно вечером Сева позвонил ему по телефону. Говорил Молин не очень связно, но достаточно осмысленно (какая может быть «связность» у убитого горем отца), просил освободить его от поездки на Петровку, ему 68-й, не с руки как-то по уголовкам, хотя он вполне выходной (это была претензия на остроту, он даже переспросил: понимаете? в смысле — выхожу), и даже продолжает работать. «Я работаю композитором, — Сева впервые слышал такое словосочетание, — и как раз завтра у меня оркестровая запись. А вот часиков, скажем, в одиннадцать, если бы вы смогли подъехать, это в центре, Котельническая набережная, я вас буду ждать...»

За сегодняшний день предстояло допросить, кроме этого идиота, ещё Катю (неизвестно, что там окажется за штучка), вахтёршу и жильцов дома на Шмитовском (там, правда, работает уполномоченный, но Сева предпочитал доверять исключительно своим глазам и ушам — так учил Скорый), выявить круг знакомых погибших, места их работы, по возможности составить несколько версий происшедшего и всё это доложить Скоробогатову. Да так, чтобы тот заходил по кабинету, забегал из угла в угол, а не щурился в потуге сохранить серьёзное выражение лица (как будто Сева не понимал, что начальник держит его за недоумка и эти потуги даются полковнику не без усилий). И только в этом случае при самом благоприятном раскладе всех составляющих можно будет надеяться на выделение эпизода в отдельное производство и (чем чёрт не шутит) на создание оперативно-следственной бригады под его, Мерина, началом.

Сева был на Котельнической за пятнадцать минут до назначенного

срока, за это время дважды обошёл гигантскую высотку, что само по себе могло сделать честь рекордсмену по спортивной ходьбе, и ровно в одиннадцать нажимал кнопку звонка на двери с табличкой: МОЛИНА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА (музыковед), МОЛИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ (композитор).

А теперь этот, мягко говоря, странный субъект (надо проверить, была ли у него утром оркестровая запись) скоро час держит его на приколе.

Он решительно шагнул к двери, но именно в этот момент массивные створки распахнулись и на пороге возник Михаил Степанович с подносом, наполненным всевозможной снедью.

— Прошу великодушно простить меня, молодой человек — дела семейные. Хотя слово «семья» в моём случае звучит несколько преувеличенно.

Он поставил поднос на рояль и принялся открывать шампанское.

— Раньше, знаете ли, лет эдак пятнадцать-двадцать назад, всё горело в руках, мог посоревноваться с кем угодно. А теперь — увы, — он кокетливо склонил голову набок, — поспешаю не спеша. Надеюсь, время потратили не зря? Бетховен, Седьмая симфония, никто никогда ничего мощнее не создал, это говорю вам я, композитор, всю жизнь посвятивший изобретению музыки. Ну — не чокаясь? Пусть земля ей будет пухом.

Какое-то время он помолчал, закрыв глаза и слегка проводя указательным пальцем по переносице, словно освобождая её от пыли, затем грустно продолжил:

— Поразительное всё-таки лицемерие, как впрочем, и всё, связанное с православной церковью. Красивые блёстки, прикрывающие пустоту. Язычество, не более того, дикость. Земля не может быть пухом — это материя органическая, живая. Мы своей смертью питаем Землю, как мать собою кормит дитя, способствуя тем самым жизни. И чокайся можно, — он приблизил свой бокал к Севину, слегка ударил по нему несколько раз, произведя на свет короткие тупые звуки, — хуже от этого никому не будет, всё predetermined заранее: энергия смерти знает, когда и кого навестить.

С этими словами он повернулся к висевшим на стене женским портретам, как бы приглашая их разделить с ним трапезу, приподнял свой бокал и, сделав несколько жадных глотков, повёл Севу к дивану.

— Вы пришли выразить мне свои соболезнования?

— Нет. То есть, — Мерин вовремя спохватился, — и это безусловно тоже: примите мои соболезнования в связи с этой трагедией. Я понимаю, что не к месту, простите, но я как раз этим делом, то есть, убийством, вернее, самоу... по долгу службы обязан, чтобы выяснить и помочь

раскрыть... э-э-э... я работаю в МУРе... — Он замолчал.

— Да, да, я слушаю. В МУРе.

— Позвольте, я задам вам несколько вопросов.

— Ну, разумеется.

— Скажите, Михаил Степанович, когда вы в последний раз видели свою дочь?

— В последний раз? Бог памяти, — похоже, он всерьёз задумался, — это было очень давно. Она держала её на руках завёрнутую в одеяльце. Я отвернул конвертик — личико мне запомнилось очень сморщенным и красным.

Сева услышал, как у него застучало в висках.

— Простите, кто держал на руках?

— Кто держал? Как — «кто держал»? Ксюша, конечно. — Он опять повернулся к портретам. — Это был последний раз, когда она держала её на руках. Вечером она умерла.

Его, видимо, удивило выражение Севиного лица, потому что, отставив в сторону бокал, он озабоченно спросил:

— Что с вами? Я что-нибудь не так сказал?

— Нет, нет, всё так, всё правильно. Просто я подумал, что... понимаете, я хотел... — надо было что-то говорить, но неожиданно подвело сердце: только что стучавшее по обыкновению ровно, оно вдруг ушло вниз и ныло теперь где-то в районе пяток. Надо было выиграть время, отойти от шока и понять, что делать дальше. Он отпил глоток шампанского и очень натурально поперхнулся. Дальше было проще: Михаил Степанович заботливо бил его по спине, заставлял наклоняться, приседать и дышать носом. Сева надсадно кашлял, ходил по комнате и замысловатыми жестами умолял композитора не беспокоиться — пустяки, пройдёт, не задержится, с кем не бывает.

И вдруг всё сошлось. Всё до улыбок, интонаций и этой чудовищной фоновой музыки. И маскарадный костюм, и поднос с изысканной едой, и остановившиеся часы, и даже это жутковатое ощущение от комнаты, как от кладбищенского склепа.

И всё-таки Сева ещё на что-то надеялся.

— Скажите, пожалуйста, Михаил Степанович, вы вчера были в морге?

Конечно, ему не нужно было задавать этот вопрос. Более того — ему вообще не нужно было приходить сюда. Но кто же знал? Вчера по телефону они договорились о встрече...

Затянутый в чёрное седой человек откинул голову на спинку дивана и закрыл лицо ладонями. Некоторое время он бесшумно вздрагивал всем

телом и только когда, наконец, зазвучал его безжизненный, лишённый каких бы то ни было обертонов голос, Сева понял, что он плачет.

— Нет, я не допустил этого. Нам повезло — в роддоме не оказалось морга — и её привезли домой. Мы провели вместе три дня и три ночи — это были наши самые счастливые мгновения. Она рассказала мне всё, начертала всю мою дальнейшую жизнь, умолила остаться и назначила встречу. Вы не поверите, молодой человек, я, кажется, впервые говорю об этом, но именно тогда я ощутил суетность и бренность нашего земного бытия.

Он достал из внутреннего кармана белоснежный носовой платок, вытер мокрые от слёз щёки.

— Простите. Нервы. Вчера с Ксеничкой отпраздновали тридцать три года нашей совместной жизни.

Он опять потянулся к своему бокалу. Крикнул кому-то в пространство:

— Женя, свари, пожалуйста, нашему гостю чашечку кофе, он не пьёт шампанское.

Затем Михаил Степанович выключил магнитофон, сел за рояль, открыл крышку. Постепенно комната стала наполняться звуками очень знакомой траурной мелодии.

Сева почувствовал, как по спине у него побежали мурашки.

Официантка подошла к столу, оперлась бедром о его край, достала блокнот.

— Называйте.

Мерин обратился к спутнице.

— Я закажу что-нибудь выпить, не возражаешь?

— Вообще-то я не пью.

— А за компанию?

— Валяй.

— Обедала?

— У меня ты вместо обеда.

— Негусто. Тогда так: двести граммов водки, два раза пельмени, «оливье» — это с мясом? — два раза «оливье», водички и хлеба. Спасибо.

Мерин и Катя сидели в неудобном кафе, прилепившемся к павильону «Космос» в самом центре бывшей выставки достижений народного хозяйства.

Оба, каждый по-своему, заметно волновались.

Сева очень давно (не припомнить даже, когда в последний раз) бывал в подобного рода заведениях с официантами и столиками, покрытыми пусть не первой свежести, но всё же скатертями. Беспокойство (и немалое) вызывало отсутствие меню, но не спрашивать же, в самом деле, что сколько стоит.

Катю смущало другое. Во-первых, она опоздала минут на двадцать и, поскольку это было не свидание, а деловая встреча, её не покидало чувство неловкости. Во-вторых, ей впервые предстояло давать показания, она не знала, что от неё потребуется, и готовилась к обязательному, как ей казалось, в таких случаях подвоху.

Правда, внешний вид протянувшего ей удостоверение молодого человека как-то сразу успокоил: вихрастый, длинноногий, с отличной — это просматривалось невооружённым глазом — фигурой муровец, если и вышел из несовершеннолетнего возраста, то наверняка недавно. Располагала и не без труда удерживаемая на лице серьёзность, и цвета варёного рака краска, залившая щёки, когда она подхватила его под руку, целомудренно прижав локоть к своей груди.

По пути в кафе он объяснил ей, что предстоит никакой не допрос, пусть она даже не берёт в голову, если не хочет — может вообще ничего не говорить, это любезность с её стороны, что согласилась встретиться. Но если уж так случилось — спасибо большое, может быть, и он сможет ей в чём-нибудь помочь, мало ли как бывает в жизни и, если люди будут помогать друг другу — неважно кто чем занимается (Ты вот, например, работаешь? Учишься? А на кого? На артистку? Надо же!) — главное, чтобы было желание помочь, тогда жить станет намного интереснее. Катя постепенно успокоилась, развеселилась: это ж надо, какие тюлени работают в уголовном розыске. Даже этот участковый переросток Шор напускал на себя генеральскую важность, раздевал глазами и недвусмысленно намекал, что восстановление сгоревших документов находится в прямой зависимости от её понятливости. А тут — культурист, от одного взгляда на которого начинает истомно ныть и увлажняться низ живота, ведёт себя, как впервые оказавшийся свидетелем женской наготы школьник. Главное, конечно, не расслабляться особенно-то, мало ли что у него на уме, может, это он так прикидывается лихо, строит из себя невинность (учат же их там психологиям разным), а потом — рр-раз и птичка уже в клетке, ловить не надо, сама залетела, да ещё и дверцу для надёжности захлопнула. Всё может быть, ухо надо держать востро (вот ведь проболталась уже, что учится во ВГИКе, кто за язык-то тянул?

Артистка будущая, Брижит Бордо, видите ли, не проходите мимо. Теперь запросто может в институт сообщить, неприятностей не оберёшься. Но с другой стороны — Шору ведь этому потному про артистку ничего не сказала, даже в голову не пришло. А тут... Нет, не так всё просто, мы тоже не лыком шиты, знаем, кому можно довериться, кому нет. Инстинкт женский — это вам почище любой психологии). Безусловно, расслабляться нельзя, но уж больно фасад привлекательный.

— Ты когда обнаружила, что забыла сумку?

Сева постарался задать вопрос как можно непринуждённое, вроде даже и не интересуясь ответом. «Ты» они стали говорить друг другу сразу, как малые дети в песочнице, которым и в голову не может прийти говорить «вы».

— Так сразу почти. Дошла до метро — нет сумки.

— И не вернулась?

— Почему? Вернулась. Но к нему баба пришла.

— Какая баба?

— Обыкновенная. Жена. Я так и знала. Он-то мне соврал: на съёмки. Какие съёмки? Нашёл дурочку. Я что, не знаю, как вы себя ведёте, когда опасность грозит? Все одинаково: глаза на лбу, желание в пятках и бегом по квартире следы заметать. Хоть бы кто для разнообразия пластинку сменил.

Сева почувствовал, что краснеет. Он ненавидел этот свой природный дефект, боролся с ним как мог, был даже однажды у врача и только когда узнал, что явление это примитивно физиологическое, связанное с поверхностным расположением кровеносных сосудов, никакого отношения к психологии не имеющее и неизлечимое, — только после этого сдался. Впрочем, ненавидеть себя за это не перестал.

— И что дальше?

— Дальше — больше: чем дальше влез, тем больше слёз. — Катя, похоже, окончательно пришла в себя, от смущения не осталось и следа. — Мне мама всегда говорила: «Не бери чужого, Катерина, своим обходись». Да только нет его, своего-то, не завела ещё. Приходится чужим пробавляться. А что сделаешь — природа — она требует, по себе, небось, знаешь, не мальчик, чай? Я прихожу — консьержка говорит: не мешайся, к нему жена приехала. А у меня на метро ни копейки. На, говорит, тебе десятку, завтра придёшь, отдашь. Ну я и пришла вечером. О-оо-ооо, господи, что там делалось! — Катя тяжело вздохнула, ударила кулачком по столу, похоже, обещая судьбе отомстить за сгоревшую сумку. — Там у меня и паспорт, и студенческий, и пудра французская. Хорошо — денег не много.

Конечно, если бы Мерин внимательно слушал свою новую знакомую, ему и в голову бы не пришло задавать свой следующий вопрос. Но он самозабвенно боролся с покраснением, преуспел в этом нелёгком деле, обрадовался и потому спросил:

— А чего ты у него делала?

Катя движением головы откинула со лба набежавшие рыжие пряди, с нескрываемым испугом посмотрела на Мерина. Нет, перед ней сидел не прожжённый пошляк, умело прикрывающий цинизм детской наивностью. На неё смотрели глаза ребёнка, наивность которого граничила с цинизмом. Она не без снисходительности улыбнулась.

— Трахались. А ты что делаешь, когда ночью с девушкой домой приходишь? Чай пьёшь?

Сева выскочил из финской бани, ему захотелось окунуться в снег.

Катя расхохоталась, громко, заливисто так, что на неё стали оглядываться посетители кафе.

Подошла официантка, швырнула на стол приборы, рюмки, графинчик с водкой. Когда она удалилась, Катя снизошла до объяснений.

— Ладно, слушай. — Она долго вытирала мокрые от слёз глаза платочком, успокаивалась. — Ну ты комик, тебе только в милиции и работать. Так вот, вникай, у меня до лекции двадцать минут осталось, напрягись. Мы с Феликсом пришли на день рождения Светланы — это его знакомая, Филькина, я её первый раз видела. Дима пригласил меня на медленный танец, танцевал смело, всё, чем интересовался, проверил, я не возражала — жалко что ли? Сказал, чтобы без него не уходила. Думала — шутка: известный артист, я ему в детстве любовные письма писала. А он, прошло время, «поехали» говорит. Я и поехала. Всё очень просто. Как провели ночь — расскажу подробно в другой раз: спешу, а тут спешить никак нельзя, можно упустить главное. Утром ему позвонили. Говорит — с киностудии. Я не поверила и правильно, как оказалось, сделала, стала собираться. И вот тогда он повёл себя не так, как все, долго увлечённо прощался со мной со стороны спины, минут пятнадцать прощался, не меньше. Потом я оделась и ушла. Сумку вот на радостях забыла. Всё? Могут идти или наручники наденешь?

Мерин к этому времени успел собраться: кровь от лица отхлынула и послушно продолжила путь по проторенным каналам.

Более того, ему вдруг стало необъяснимо жаль эту синеглазую фиглярствующую девицу: надо же так залепить себя непроходимой бравадой.

— Я почему спрашиваю, — интонация получилась заботливой, почти

отеческой, — дело в том, что Дмитрий Кораблёв погиб, сгорел в своей квартире.

Подобной реакции он не ожидал. Какое-то время Катя продолжала смотреть на него с задорным вызовом. Потом веки её задрожали и она всем телом, не спеша, как перестоявшее тесто, стала сползать на пол.

Вера Кузминична знала всё: и кто сгорел, и что сгорело, и кто поджёг. Слава богу, пять с лишним лет уже, каждого жильца с момента введения дома в эксплуатацию и принимала, и в учётный реестр заносила, и расселяться помогала. Хоть экзаменуй, хоть ночью разбуди (она со сменщиками — Клавкой и её мужем через двое на третьи сутки дежурила), хоть с закрытыми глазами — всех до одного обрисовать могла со второй по сорок восьмую квартиру включительно.

Это была, по всей видимости, не первый десяток лет работающая в охране женщина, возраст которой в силу патологической худобы определить не представлялось возможным: ей могло быть и пятьдесят и сто пятьдесят. «А то и больше», — подумалось Мерину. Где-то сразу за рядом вставных зубов одна щека её соединялась с другой, глазные впадины уходили к затылку, а лоб, скулы и нос были обтянуты белёсой, без единой морщинки кожей, так что казалось, это и не кожа вовсе, а самый что ни на есть череп. Разговаривала она нельзя сказать — охотно, на вопросы отвечала без энтузиазма, но и кичливости особой не выказывала. Вы спрашиваете — у вас работа такая — понятная вещь. Я отвечаю. Хотя мои обязанности — следить за чистотой подъезда да запирасть двери после полуночи. Всё остальное — по своему усмотрению. Сочту нужным — как на духу, с мельчайшими подробностями. А не сочту — не обессудьте — не знаю, не видела, не моего ума дело. А вот вопросыки ваши, да в их последовательности, запомню намертво (память благо натренирована годами долгими), потому как докладывать предстоит незамедлительно и тут уж упаси тебя Создатель забыть что или того хуже (даже помыслить страшно) — скрыть — никак невозможно. Да и не бывало такого с тех пор, как себя на службе помнила, а было это не вчера, не на прошлой неделе, а ни много ни мало — война ещё не началась — середина тридцатых. Золотые годы, ей шестнадцать только-только, статью в мать пошла: и шея, и грудь, и спина, и ниже — прикоснись — взорвётся, пламенем обуглит. Прикасались многие. Всех память держит, всех до одного, хоть и не хватит

пальцев на руках-ногах, но первого... Всеволодом звали. Вознеслись! Год на землю не ступали. Ни дать ни взять — первые космонавты.

— Вы что-то надолго задумались, Вера Кузминична. Я про Кораблёва спросил. — Мерин многого не ожидал от задержавшейся на этом свете мумии, но для очистки совести решил попробовать. — Первого, вчера то есть, по расписанию не вы дежурили?

— Так тебя, говоришь, Всеволодом зовут?

— Севой. Всеволод Игоревич.

— Да нет уж, — консьержка решительно отвергла оба предложенных варианта, — Всеволод лучше всего.

Какое-то время в ней происходила мучительная борьба, какая случается с нашкодившим школяром, не решающимся перед неизбежностью публичной порки выдать своих товарищей. Наконец одна из сил, очевидно, взяла верх и она сказала:

— Я дежурила. Должна была Клавка, её очередь, но у неё муж запил, к наркологу возила. Генка часто так. Два дня сухой, ни грамма, а как его смена — с утра зальётся и спит. Клавдия и за себя, и за него, в неделю два раза только глаза закрывает. А тут как что-то, видать, памятное для себя отметил, так до первого не просыпался. Вчера товарищи привозят синего, выгружают, Клавка видит — труп — выть давай, а он глаза открыл и говорит: «Водки принеси, Клавдия, мы с товарищами погибших помянем». А каких погибших — до Победы ещё неделя. Ну она его связала и к наркологу. А её смена была. Я дежурила. Вторые сутки.

— И до утра сегодняшнего?

— И до утра, и после, и сейчас. При мне всё было. И пожар, и до пожара. И после. Эх, Всеволод... Если б тебя не Всеволодом звали... Тебе сколько лет?

— Двадцать. Скоро.

— Всё правильно, — она невесело улыбнулась. — Именно двадцать. Пойдём, чаем угощу. Не люблю я власть вашу, довела народ до крайности, порядок забыли, убивают, грабят, раньше разве могло такое? Рта б не раскрыла, кабы не Всеволод.

На этих словах Вера Кузминична не по возрасту легко поднялась, достала из ящика связку ключей.

— Пойдём, Всеволод, горяченьким побалуемся. Сейчас хороший продают, английский, будь он неладен, покалякаем, пускай эти бактерии новые малец без моего сгляду поживут.

Они поднялись на один этаж.

Комната консьержки радовала глаз светом и чистотой. Лучи яркого

майского солнца отражались в каждой блестящей поверхности, а так как блестело и сверкало всё — начиная от зеркально гладкого, не предназначенного для ходьбы по нему пола, включая рюмочки, чашечки, вазочки на стеллажах, иконку с лампадой в правом углу, слоников на телевизоре «Сони», сам телевизор, белую люстру с лампочками в виде свечек, белые подоконники с белыми блюдечками под цветочными горшками — всё сверкало, — комната создавала впечатление сказочного стеклянного куба, заселённого солнечными зайчиками. И, казалось, жить здесь должна сказочная же, непременно маленькая и очень добрая старушка — фея, которая следит за этими зайчиками, кормит их и иногда выпускает погулять.

Высоченная, плоская как трёхслойная фанера Вера Кузминична была здесь телом инородным, случайным и ненужным.

— Диму я знала со дня их переезда, раньше они жили у Жениного отца на Котельнической. Огромная трёхкомнатная квартира, теперь он там один остался, за ним уход нужен, на учёте в психдиспансере состоит, жена умерла после родов. Пока жили вместе — нормально, он не буйный, музыку пишет, всё жене посвящает, не верит, что нет её, разговаривает. Сперва мать его за ним ходила, потом умерла — подросла Женька. Когда поженились — втроём жить стали, Дима ведь артистом был известным, видал, наверное, по ящику часто мелькал. Один он в нашем доме не «новый», не грузин-чеченец, не воровал никогда, жили — беднее не придумаешь, она себе платья по три раза из одного переделывала, а едино всем на зависть — оглядывались, как пройдёт. Да и Дмитрия тоже не пальцем делали, молодой-красивый, жил бы да жил, бабы пчёлами, не отогнать, видать, пестик мёдом мазанный. Уж как покойница, царство ей небесное, — Вера Кузминична набожно трижды перекрестилась, слегка поведя головой в сторону иконы, — намучилась, настрадалась, скольких с лестницы попускала — не перечеть, назову цифру — подумаешь: умом тронулась, старая. Всё прощала — такую любовь в себе носила. Случается, оказалось, и в ваше ебучее, прости Господи, время такому чувству родиться, не только в мою молодость. Чего ему не хватало? Армию в Афганистане прошёл, с обезьянами ихними черножопыми сражался — другие руки-ноги там оставили, а кто и головы, он — ни царапины. Институт кончил, в телевизоре снимают, какая ни есть, а всё ж таки работа — деньги платят. Радуйся. Так нет, как все захотел, чужого да побольше, чтоб не унести, связался с криминалом, а на чужое ведь охочих искать не надо — их кругом пруд пруди. Вон у нас на пятом в 23-й двухкомнатной армянин с семьёй снимает за полторы в месяц, так хозяин её, 23-й то,

Венька Чугин, в московском городском комитете партии раньше на побегушках был делопроизводителем, ниже некуда, ноль почти, а теперь знаешь, какой деньгой управляет в ЮКОСе-то этом? И брат его, теперь, правда, под следствием...

Если бы Мерину кто-нибудь сказал, что такое может быть — не поверил. Даже Скоробогатову. Ни за что! Сорок восемь квартир, сто сорок четыре человека, у каждого живущие в других районах, городах, странах родственники — папы-мамы-бабушки-дедушки, дети, братья, сёстры, друзья, наконец, это значит умножай ещё как минимум на пять. И чтобы обо всех подробно, с болезнями, родами, любовниками!.. И ведь не показывают же в музеях, не возят по миру, как небываль о семи головах. Пылинки не сдувают и не обеспечивают пожизненным содержанием. А — простой консьержкой! В подъезд! За ничто: за насмешку над старостью в три раза меньшую прожиточного минимума. Невероятно! Непостижимо уму! Значит — не лучшая, заурядная, каких много, впитавших с молоком родины бациллы подгляда, доносительства, зависти. И уже как кислород, как доза, корчащемуся в ломке: некому донести — не жизнь. Нельзя расстрелять — не власть.

Вера Кузминична не прерывая монолога заварила чай, достала из буфета плетёную корзиночку с печеньем. Недолго потоптавшись в 23-й, она перенеслась воображением в соседнюю однокомнатную с её безалаберной матерью-одиночкой, владелицей 230-го «Мерседеса» и двух счетов в коммерческих банках, заглянула в сдвоенную пятикомнатную — «без прав перепланировали, можно отсудить, но он в Думе по связям с прессой, а на неё записан пластмассовый завод» — задела ещё кого-то и вернулась на одиннадцатый этаж к Кораблёвым.

— Женя-то, царство ей небесное, когда мужик её коммерцией занялся, очень против была, но потом сникла, она ведь скрипачка, много ли в наши-то дни наскрипишь, а тут и машина иномарка, и летом за границу в Италию...

— Простите, Вера Кузминична, — Мерин подумал, что самое время направить поток в нужное ему русло, — можно я вас перебью?

— Да, конечно, Всеволод, болтаю, а ты бери, что нужно. И спрашивай. Уж если решилась — всё, назад ни шагу. Такая.

Она отставила чашку, выпрямилась, приготовилась слушать.

— Когда Женя Молина и Кораблёв сюда переехали, это ведь шесть лет назад было?

— Да, в 2000-м.

— Кто же за отцом ухаживал? Ведь он один...

— Верно, — она не дала ему договорить. — Один он не может. Женя с Димой каждый день поочерёдно приезжали. Подруги. Сергей.

— Сергей — это кто?

— Это Женин вздыхатель. Из-за неё и в консерваторию пошёл, хотя в школе говорили — Менделеев. Все олимпиады выигрывал. А пианист никакой. Бедствует.

Вера Кузминична замолчала. Мерин не спешил с вопросом, ему показалось, что консьержка ещё что-то хочет сказать. Он сделал вид, что увлёкся печеньем, набил полный рот и теперь, сконфуженно улыбаясь, запивал чаем.

Молчали довольно долго.

— Ты спрашивай, Всеволод, спрашивай. Я ведь сказала: всё что знаю — твоё. Помочь хочу, так что не стесняйся. Супу хочешь? — Она смотрела на него с нематеринским восторгом.

Мерин прикрыл набитый печеньем рот, коротко рассмеялся, переспросил:

— Упу?

— Ну да, супу, вчера варила. Умею.

— Нет, спасибо, в другой раз, сыт я. Вы мне лучше про Сергея расскажите.

Конечно, если по совести, супу ему очень хотелось, не часто бабка баловала домашними обедами, сама пробавлялась кофе с беломором, думала, очевидно, что и другие так же, все всегда по себе судят. С Катей в кафе он к еде не притронулся, успел только выпить стопку водки и повёз эту до смерти напугавшую его дурочку в общежитие, сейчас стрелки консьержкиного будильника показывали начало шестого и тарелка горячего супа с большим (не иначе) куском мяса была бы очень кстати.

— А что про него рассказывать? Я, Всеволод, главного не знаю (при этих словах она обиженно поджала губы и сделалась сердитой): зачем Дмитрий жену отравил? В морге сказали — отравление. Не сама же она. Хотя один раз с ней это было, чудом откачали. Что до поджога, — Вера Кузминична перешла на шутливый, показалось даже, несколько фривольный тон, наклонилась, игриво ударила Севу по коленке, — тут разбираться недолго, а-а-а? Ты, Всеволод, хоть и «двадцать скоро», — она хохотнула, закрылась рукой, водворяя на место готовую выскочить наружу челюсть, — но опыт уже имеется, вижу, не первый случай. Надо дружков его финансовых потрясти. Фирма у него ООО ДК, в Краснопресненском Сбербанке, счёт тоже не секрет, ну да ты сам всё докопаешь. Тут я тебе не подмога. Поджигатели все, что б им пусто, — она сморщилась и совсем

стала похожа на разгневанную ворону, — больно уж умные стали. Знают, что рано или поздно дело кровью кончится, вот и скрывают, конспираторы...

— А Сергей?

Как Сева и предполагал, его интерес к Жениному знакомому вызвал у рассказчицы заметное недовольство: я тебя уму-разуму учу, на путь истинный навожу, а ты вместо того, чтобы вникать, херней интересуешься.

— Что тебе дался этот агнец Божий? Он как в первом классе влюбился — так влюблённым и на похороны явится. Когда они — в среду, что ли?

Не дождавшись ответа, Вера Кузминична продолжила:

— Тень её. Каждый день домой провожал. Она уже замужем была — не сдавался. Чуть Дмитрий на съёмки или к бабе какой — он тут как тут: «Здрасьте, тётя Вера, я на одиннадцатый». И шмыг бегом мимо лифта через две ступеньки. Будто я не знаю, на какой он этаж. Добился своего: разошлись когда — к ней на Котельническую как к себе домой ходил. Он-то её и спас от таблеток.

— А что?.. — Сева не успел даже как следует открыть рот.

— Потёмки чужая душа-то, Всеволод. Гадать только можно. Знаю, любила она своего Дмитрия, как теперь собак только любят, к гадалкам бегала привораживать. Он-то по земле ходил, хороший был, но как все. А она летала. Выбежит, бывало, из лифта, промелькнёт мимо: «Доброе утро, Вера Кузминична». Сияет. Птица. Красивая была. Ты её видел?

— Фотографию.

— Н-уу-у. Обрато летит — сияет. Ей-богу, теплей становилось, вот те крест. А иногда — туча, словно подранил кто, крылья подрезал. Ясное дело, опять, значит, Дмитрий какой-то б...ди патрон свой вставляет, любопытствует. Их ведь много, слабых на передок-то, только помани. Сам, небось, знаешь, все вы в эти годы любую щель заткнуть готовы.

Она смешно подмигнула ему двумя глазами, кокетливо закинула руки за голову. «Это в девяносто-то лет, — подумал Сева, — а, может, и в сто. Что же в молодости было?»

— И всё-таки, почему...

— А надоело, видать. Обрыдло всё. Она, говорю, птица была, жила любовью. У них, небесных ласточек, сердце чуткое, ломкое: нет любви — жизни нет. Такие или сами уходят, или на мир рукой машут — пропади всё пропадом — опускаются ниже некуда. Она сама ушла. Добро б вдвоём только жили, может, выдюжила, случается, а то отец — псих ненормальный, подруги — кошёлки немые и этот серьгастый крутится, на шаг не отходит, только что в туалет поссать на руках не носит. Как тут не

окочуриться?

— И где он сейчас?

— Кто? — не сразу поняла старуха. — А-а, Сергей, что ли? Да кто ж его знает, убогого. Как он теперь поведёт себя? Тоже ведь жизнь смысла лишилась. Может, домой, наконец, к родителям уедет, они у него на Урале. А, может, за ней, за птичкой своей ненаглядной. Такие ведь тоже не жильцами в этот мир приходят.

По дороге на Петровку, в метро, а затем пешком, Мерин составлял подробный «отчёт о проделанной работе». Это бабушка Людмила Васильевна каждое утро проводы на работу начинала с вопроса: «Ты подготовил отчёт о проделанной работе?»

— Какой «отчёт», о какой «работе»? — бесился внук, — ты думаешь, моя работа состоит из одних отчётов?

— Нет, разумеется, но всё-таки, согласись, отчёт — это то, что во все времена нравилось начальству.

Он кричал на неё, называл социал-подхалимкой, обвинял в умышленном оглулении молодёжи.

— Ты мутишь моё сознание, учишь меня угодничать, трафить, ты растишь во мне Молчалина, а потом удивляешься, что я поздно прихожу домой. Мне душно с тобой.

Она покорно сносила Севины упрёки, не вступала в перепалку, втайне признавая, что переходит грань разумного, но спустя непродолжительное время опять начинала утро с вопроса об «отчёте».

Итак — что проделано за сегодняшний день, в чём предстоит отчитаться перед начальством: морг, Михаил Степанович Молин, Катя и редчайшее ископаемое в облике Веры Кузминичны.

Произвести вскрытие, со слов Носова, потребовал отец погибшей, Молин Михаил Степанович. Сам же он при этом утверждает, что тело дочери в морг не сопровождал, правда, показания его принимать в расчёт нельзя по причине серьёзного психического расстройства, связанного с потерей памяти, особенно усиливающейся при нервных затратах, а известие о гибели единственной дочери способно лишить рассудка даже абсолютно здорового человека.

Если предположить, что вскрытия потребовал Молин, то возникает вопрос: зачем.

Зачем?

Убедиться, что это не инфаркт, а, допустим, инсульт и при этом разрыв не главной аорты, как бывает в большинстве случаев медицинской практики, а левого предсердия или сосудов головного мозга? Или, что остановка сердца произошла от кислородной недостаточности, наступившей вследствие перекрытия дыхательных путей оторвавшимся тромбом? Трудно предположить наличие подобного интереса у человека, никак с медициной не связанного, тем более что изменить всё равно ничего нельзя. Не говоря уже о том, что в случае обнаружения в организме препаратов, несовместимых с жизнедеятельностью, другими словами — в случае констатации факта насильственной смерти — неизбежны судебная экспертиза, возбуждение уголовного дела, следствие, сложности с исполнением ритуальных обрядов (а Молин человек религиозный, для него это не может не иметь значения).

И если так, то Носов лжёт, и провести вскрытие — требование не Молина.

Тогда чьё?

По словам того же директора морга тело сопровождал Дмитрий Кораблёв, муж погибшей. Евгения Молина скончалась у него на руках через 23 минуты после того, как поднялась в квартиру № 44 по Шмитовскому проезду, дом 6. (Это явствует из показаний консьержки, дежурившей в тот день, и врача «скорой помощи», констатировавшего смерть и доставившего тело в морг).

Кораблёв мог потребовать вскрытия только в том случае, если сам он к этой смерти не имел никакого отношения. Ни-ка-ко-го! Ни ухом, ни рылом. Иначе трудно объяснить маниакальное желание человека узнать химический состав препарата, которым только что столь удачно воспользовался против своей жертвы.

А если он отравил жену ядом, привёз тело в морг и, не заикаясь даже о вскрытии (что вполне естественно), смотался по-добру, по-здорову и вот уже вторые сутки не кажет лика общественности, то по чьему же тогда распоряжению осуществлено это самое, будь оно трижды неладно, вскрытие, производимое, по негласным морговским законам, строго после предоплаты?

Нет такого человека.

А вскрытие есть.

Значит, потребовал всё-таки Кораблёв?

Тогда зачем лжёт Носов?

Ведь как приятно, должно быть, такому отпетому подонку, как

Григорий Яковлевич, иногда повести себя законопослушно, не самому даже, а делопроизводителю поручить занести в учётный лист паспортные данные сопровождающего, прикрепить к заявлению квитанцию об оплате и кивком головы дать знак: приступайте, мол, к посмертному хирургическому вмешательству. И всё! Живи спокойно! Ну а уж если, не дай бог, криминал какой, яд там или внутренние кровоизлияния — всё путём: вот документы, вот росписи, вот данные заявителя, квитанции — разбирайтесь.

Так ведь нет этого!

Сева сидел в самом углу вагона метро с закрытыми глазами. Сознание отмечало только голос диктора, объявлявшего остановки, — не проскочить бы — и снова окунало в гущу событий последних двух дней, вытаскивая из памяти мельчайшие подробности, складывая их в версии и одновременно отменяя большинство из них. Хорошо, что рядом нет бабушки Людмилы Васильевны — зашла бы от счастья: он занимался ни чем иным, как готовил «отчёт о проделанной работе».

Ладно, отдыхай, бабуля. Ещё раз по горячим следам:

Потребовать произвести вскрытие по закону Российской Федерации могут только ближайшие родственники (в случае с Евгенией Молиной это её отец, Молин Михаил Степанович, и муж? Кораблёв Дмитрий... как его по отчеству, необходимо узнать).

С отцом, даже если допустить, что он сопровождал труп, всё ясно — не та кондиция, да и не в его интересах.

Но тело вскрыто.

Значит, кто-то потребовал.

Остаётся Кораблёв.

А Носов лжёт правосудию, причём за очень немалые деньги (за малые он рисковать не станет).

Значит, кому-то очень нужно взвалить убийство на Кораблёва.

Кому? И зачем?

Итак: Кораблёв не убийца. Кто-то хочет его подставить. В деле замешана вся носовская шарашка. Уже хлеб.

Есть хочется до тошноты, но кому это интересно? Пойдём дальше... Голос диктора лёгким ударом по затылку вернул его в вагон метро. Так, на следующей ему выходить, на улице не посоображаешь, до Скоробогатова остаётся 20 минут. Надо ужиматься.

Он закинул ногу на ногу, уткнул лоб в составленные кулаки — так лучше.

Молин Михаил Степанович.

Симуляция исключается: перед встречей с Катериной он успел завернуть в психиатрический диспансер — «Устойчивый амнезический атеросклероз с нарушением функций головного мозга и деформацией общей нервной системы. Болезнь Альцгеймера в чистом виде. Живёт реалиями тридцатилетней давности, всё происходящее воспринимает периферийно на слух, без подключения сознания. Для окружающих не опасен, так как ни на что не реагирует».

— А если сказать, что умер его близкий родственник?

— Да, я знаю, нам сообщили, что у него погибла дочь, чуть ли не убийство? — Пожилая заведующая диспансером впиалась в Мерина любопытным взглядом. — Нет, нет, никакой реакции. Услышит и только. Без эмоций. Это как если вам сказать, что в Занзибаре вчера было холодно. Как вы это воспримете? А? Ну-ка? — Она неожиданно захохотала и так же резко вернула лицу строгое выражение. — Ещё что-нибудь?

— Скажите, а документы, удостоверение личности, паспорт, например, в таких случаях...

— У опекунов, никак иначе. А как же? Они ведь как дети. Метрики у кого? У родителей, не правда ли? Так и здесь оформляется опекуновство. В случае с Молиным, — она полистала лежавшую перед ней больничную карту, — это мать, Софья Фёдоровна, до 83-го года, до смерти; затем до совершеннолетия дочери — мы, диспансер, а затем дочь. Евгения Михайловна Молина. Вот всё. — Она широко обнажила пожелтевшие от времени зубы и спросила с интонацией неопытных родителей, делающих своему первенцу «козу». — Ещё что-нибудь?

Сева поблагодарил её как можно вежливее, протянутую для поцелуя руку в целях самосохранения только тряхнул слегка и подумал, что, конечно же, специфика профессии никого не обделяет своим пристальным вниманием.

Нет, с этим несчастным всё ясно: не мог он требовать вскрытия, никак не мог. Да и на улицу за тридцать с лишним лет без сопровождения не выходил ни разу.

Так-то вот, Григорий Яковлевич!

Нет сомнения, он допустил промашку, не узнав, кто приходил к Молину во время его визита. Необходимо было найти повод выйти в коридор — задача не ах какая сложная: уронить что-нибудь, разбить, поискать телефонный аппарат, наконец — мало ли. Скоробогатов в этом месте, конечно же, выпятит губы и зажмёт их пальцами — верный признак крайней степени недовольства — и будет прав. Оплошал.

Что они там говорили?

Сева зажмурил глаза, до боли сжал кулаки, «...спроси у Серёжи... грибы не готовы... вечером, солнце моё, вечером придёт Серёжа, по-семейному посидим...»

Всё. Больше память ничего не выжимала, разве только отдельные слова, произносимые шёпотом: церковь, тетради... Ну и последнее громкое: «Да кто там у вас, кого вы прячете?»

Вдруг кто-то сдавил ему виски, так что в голове застучало и перед глазами поплыли чёрные круги. Он откинулся на спинку сиденья и замер в надежде удержать мелькнувшую было и теперь беззастенчиво исчезающую мысль. Так, так, «кто там у вас, кого вы прячете?» Громко. Очень громко. А до этого шёпотом. Зачем? Расчёт на то, что гость узнает по голосу и объявится? Кого-то хотела видеть, может быть, искала и проверяла таким образом, не у Молина ли этот «кто-то»?

Стоп!

Стоп-стоп-стоп-стоп... Ну — ещё немного. Ещё чуть-чуть. Последний бой... тьфу, не то совсем лезет в голову — ну же... ну, ну-у!

— Конечно! Идиот я! — произнёс Мерин вслух и повернувшись к сидящей рядом женщине, добавил: — Спроси у Серёжи.

Та шарахнулась от него в сторону.

— Спроси у Серёжи, — настойчиво повторил работник уголовного розыска.

«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Новослободская».

Сева сорвался с места, с трудом протиснулся в закрывающиеся уже двери и бегом устремился к эскалатору.

Тьфу ты, Господи, ну конечно!!! «...спроси у Серёжи, я его давно не видел!»

— Понимаете, Юрий Николаевич! Я ЕГО ДАВНО НЕ ВИДЕЛ. Понимаете?

— Не очень, — признался Скоробогатов, — ты не волнуйся.

— Давно не видел — это не к Сергею относится. Молин не мог его давно не видеть: за последний год, как только Евгения переехала к отцу, тот бывал у них каждый день — это мне консьержка поведала. И вечером он ждал его: «Вечером придёт Серёжа, посидим по-семейному». Понимаете? Между ними была пауза!

— Между кем?

— Между ними! Между «Серёжи» и «Я».

Скоробогатов встал из-за стола, подошёл к окну, поправил занавеску.

— Ты хочешь сказать...

— Ну конечно!! — Мерин так обрадовался сообразительности начальника, что начисто забыл о субординации. — Она что-то у него спросила, я не расслышал, шёпотом, а он говорит: «Спроси у Серёжи». Потом тишина. ТИШИНА! Вот она, пауза! А он говорит: «Я его давно не видел». Понимаете? Она спросила о ком-то!! Но совсем тихо, так что даже шёпота не было слышно. А он ответил, что давно не видел. Кого? О ком она могла спрашивать? Семья живёт замкнуто, ни с кем не общается, к ним никто не ходит, кроме тех, кто ухаживает за Молиным, а это раз-два и обчёлся: дочь и её муж. Ну и прорвавшийся в дом влюблённый пианист Серёжа. Всё! Больше никого. А Молин называет её «золотко», приглашает вечером «посидеть по-семейному», то есть давно и хорошо знаком. Значит, это пришла близкая подруга Евгении Молиной. А кого безумный старик мог «давно не видеть», если он тридцать лет уже и из дому-то не выходит? Никого, кроме мужа дочери, которого он действительно не видел около года. Значит, пришедшая и спросила о Дмитрие Кораблёве. А Дмитрий Кораблёв накануне ночью сгорел в собственной квартире — этого она не могла не знать: об этом, спасибо журналистам, вся Москва гудит.

Юрий Николаевич, Кораблёв жив.

Сгорел кто-то другой.

Нет, это был не сон. Дмитрий Кораблёв мог поспорить с кем угодно.

Отчётливые, легко узнаваемые звуки неспешной последовательностью коснулись слуха: лязг ключа, короткий всхлип щеколды «английского» замка, шорох открываемой входной двери... И шаги, немного, показалось, тяжеловатые, без присущей Женьке полётности, замершие у самого изголовья.

Наконец-то! Господи, благословенно будет имя твоё и дела твои во веки веков, Господи!

Теперь только надо сделать усилие, ещё одно, последнее, может быть, самое главное за всё время свалившегося на него кошмара — открыть глаза (всего-то!) и Женька — живая, счастливая, распираемая своей знаменитой загадочной улыбкой, возникнет во всём своём мертвенно-бледном

великолепии на фоне аляповатых оранжевых штор.

Отчаянным усилием воли он на какое-то мгновение разомкнул, казалось, сросшиеся веки: в образовавшиеся щели бесцеремонно заглянули три незнакомых силуэта.

Он закричал, но голоса своего не услышал: вязкая горечь подступила к горлу, преграждая дорогу звуку.

— Кто вы? Где Женя? Она только что...

Голова его неожиданно дёрнулась, заходила из стороны в сторону, прикосновения он не ощутил, догадался по звуку: кто-то — ладонь об ладонь, аплодисментами — бил его по щекам.

Внезапно без светового перехода наступила ночь, стало совсем темно. Напряжение спало. Душная тревога ослабила удавку, пунктиром намечая робкие шаги к сознанию. Он услышал:

— Я приказал вам напугать до полусмерти. На-пу-гать! А не убить! Он труп на девять десятых. Мудачьё!

В пушкинском скверике былолюдно, Мерин бегом пустился огибать здание кинотеатра «Россия» в надежде найти на бульваре пустую скамейку, но, увы, тёплый майский вечер вывел на улицу и привёл в сидячее положение, казалось, всех жителей близлежащих районов. Люди тесно жались друг к другу, поглядывали по сторонам и ворковали, как пернатые на насесте.

Мерин расположился на чугунной решётке, сжал кулаки, не без труда принял излюбленную позу.

Так, следующая Катя.

Тут смущал, пожалуй, только обморок. Современная девка, не москвичка, многое успела в жизни. Цинизм процентов на девяносто напускной, конечно, но и не в пансионе благородных девиц воспитывалась. Про непорочность если и читала, то не удосужилась спросить, что это за зверь такой, а отсутствие интереса к горизонтальному общению с противоположным полом, похоже, считает нарушением законов общежития.

Откуда же такая чувствительность?

Тогда в кафе он едва успел подхватить её на руки. Подбежала официантка, заохала: «У нас всё свежее, клянусь — никто, никогда, оливье сегодняшнее, утрешнее...»

В подсобке Мерин положил Катю на стулья, расстегнул блузку, попытался сделать искусственное дыхание.

— Отойди, кобель, ты своё дело сделал. Беременная она, а не утопленница. Чего ты на грудь-то жмёшь? Не нащупался? — Яркощёкая буфетчица в грязном халате и белоснежном крахмальном кокошнике принесла невесть откуда взявшийся в этом заведении пузырёк с нашатырным спиртом, вату, тазик со льдом и с повадками многоопытного гинеколога принялась приводить пациентку в чувство. — Натрахаются, отведут душу и опять за водку свою ёб...

Ей очень хотелось высказать своё отношение к неограниченному потреблению алкоголя вообще и к водке в частности, но в это время Катя проявила признаки жизни и подобное откровение, видимо, показалось буфетчице несвоевременным. Она добавила только:

— Забирай, кобель. На руках до дома неси! Принцесса! И дыши в сторону, забулдыга. Скоро мы от вашего перегара все подохнем к... матери, — и она не стала таить, к какой, по её мнению, матери мы все скоро подохнем.

Обморок, к счастью, оказался неглубоким. Они с Катей посидели ещё минут двадцать на лавочке, потом она попросила проводить её до общежития.

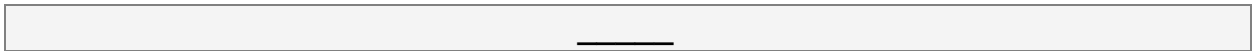
— А то боюсь одна не дойду.

Практически всю дорогу молчали — две-три ничего не значащие фразы. Катя как-то сникла, сгорбилась, держала его под руку, будто опиралась на костыль, бледная, губы синие — ни дать ни взять — старуха. Куда что подевалось.

Конечно, всё это можно отнести за счёт неожиданности: только что лежали в одной постели, занимались любовью и вдруг — на тебе — нет его, да не просто нет, не умер, а сгорел. Виноват здесь он, Мерин, никаких сомнений, надо было как-то подготовить, но кто же знал, что за показавшейся ему непробиваемой стеной притаилась эдакая чувствительность.

Расстались у общежития ВГИКа. Катя дала телефон дежурной, сказала, как её можно найти.

— Спасибо, Сева, до свидания. Только не приходи раньше пятницы, ладно? Думаю, за два дня я оклемаюсь.



— ...Всё это, конечно, предстоит проверить, но то, что обморок не случаен — для меня несомненно. Семнадцать лет — возраст всех возможных и невозможных «эго»: эгоизм, эгоцентризм... Всё вокруг — к твоим ногам, да ещё хороша собой, а действительно хороша, Юрий Николаевич, ничего не скажешь, в артистки не зря взяли. Ну — умер любовник. Жалко, конечно, с достоинствами, может быть, незаурядными был человек, допускаю, но ведь не любимый же. Любовник. Они и знакомы-то всего ничего — полночи. И ведь не первый. Если бы первый — ещё можно понять: повернул жизнь на 180, открыл мир, перенёс через рубикон. Так ведь нет, не первый! И уж не последний — это вообще за скобками: весь ВГИК, небось, в очереди стоит. И вдруг обморок! Да в этом возрасте, если хотите знать, Юрий Николаевич, никогда никто никого не жалеет, вспомните свою молодость, я не прав?

Полковник Скоробогатов до треска в ушах сжимал челюсти, царапал ногтями виски, кусал губы.

В другое время самолюбивый Мерин, конечно же, давным-давно бы замолчал, пытаюсь разгадать причину полковничьих ужимок, но теперь он так разволновался, что не мог заметить, к каким мазохистским ухищрениям прибегал руководитель следственного отдела Московского уголовного розыска, чтобы обеспечить своему лицу подобающую моменту серьёзность.

— Что с вами, вам плохо? — Кто-то тянул Мерина за плечо. Сева вздрогнул, поднял голову. На него смотрели четыре внимательных заинтересованных глаза: старушка в потёртой лисьей шубке и рыжая собачонка, сделанная, казалось, из остатков того же меха.

Старушка склоняла голову направо, собачка налево, обе приподняли бровки и приоткрыли рты, обнаружив при этом отсутствие примерно одинакового количества зубов. Были они так неестественно похожи друг на друга, что на какое-то мгновение Сева растерялся — кому из них отвечать: заговорить человеческим голосом, равно как и затыкать, могли обе.

— Нет, нет, спасибо, всё в порядке. Просто я люблю так сидеть — согнувшись, спасибо, не беспокойтесь, скамейки все заняты, а тут пусто. — Он даже встал от напряжения.

Лисьи шубки повернулись друг к другу, удовлетворённо кивнули головами, одна из них сказала: «Ну и слава Богу! А то мы идём, смотрим —

странно как-то сидит человек, мало ли что. Ну и хорошо. Пойдём, Даша».

Синхронно покачивая рыжими спинками, они неспешно двинулись вверх к Пушкинской площади. Сева мог поклясться, что слышал, как Даша говорила: «Ну что, съела? Вечно на своём настоишь. Видно же — отдыхает человек. Нет — подойдём, подойдём».

В конце бульвара на пяточке возле памятника Высоцкому пахло пельменями, чебуреками, шашлыком и ещё чёрт-те чем. Смуглолицые приверженцы частного предпринимательства не только возвели здесь уютные кафе «а-ля Пигаль» — с музыкой и видеотекой, но ещё и гортанно, на весь квартал зазывали прохожих, перечисляя несомненные достоинства восточной кухни. Надо было или немедленно собирать остатки воли и как можно быстрее миновать этот вертеп кулинарных соблазнов, или же идти на поводу у изголодавшегося организма и позволить засосать себя в омут чревоугодия.

Мерин выбрал второй вариант. В конце концов, есть ещё 15 минут, долго ли проглотить порцию горячих хинкали, а если учесть, что не ел он практически со вчерашнего вечера, то есть скоро перевалит на вторые сутки, то речь вообще может идти не о минутах даже, а о секундах. Да, пережёвывая пищу, думать, скорее всего, не получится. Но — что делать. Значит, придётся Скоробогатову ограничиться неполной информацией, не все версии услышит, не все доказательства. Ничего, переживёт. Существует же мнение (и он, Мерин, безоговорочно с ним согласен), что сверхурочная работа непроизводительна, даже вредна и является следствием отсутствия профессионализма. Медициной же установлено: работать нужно восемь часов и никак не больше. Причём с обязательным, между прочим, часовым перерывом на полноценный калорийный обед: первое, второе, третье. Если, конечно, хотите, чтобы голова варила, работа спорилась, кровь кипела и желание достичь конечного результата не иссякало. А сутками бегать голодным с высунутым языком — много наработаешь? Язва. Инсульт. Расстройство психики. Пенсия.

...Мерин старательно вычистил тарелку корочкой хлеба, допил крепкий душистый чай. Хинкали запомнились тающим во рту тестом, убедительным количеством мяса, щедро наперченной подливой. Как сказала бы бабушка — шеф-повар дачу себе уже построил.

Так, язва не язва, а на всё про всё ушло шесть минут. Для того, чтобы с восьмым ударом курантов девятым стукнуть в дверь шефа, надо поторапливаться. Процедить весь разговор с Верой Кузминичной не удастся, конечно, но хотя бы начать разгрести этот завал надо попробовать.

Евгения Молина вошла в подъезд ровно без одной минуты девять (Мерин уверовал в консьержку, как в самого себя: если та сказала в 8.59 — можно не сомневаться), на ходу бросила «здрaсте», поднялась в лифте на 11-й этаж. До этого минут за 15 спустилась Катя, за ней Кораблёв — бегал в магазин и обратно. Значит, никаких сюрпризов: созвонились, договорились о встрече. Инициатива исходила, по всей видимости, от Молиной, иначе трудно объяснить присутствие в квартире посторонней женщины и поспешную беготню Кораблёва за ветчиной, оливками и шампанским (привет от Веры Кузминичны).

Далее, в 9.30 — «скорая» (перед этим Катя возвращалась за сумкой, но допущена не была), в 9.40 примерно вынос тела и отъезд.

С тех пор Дмитрия в доме не видели.

— А вы, бывает, отлучаетесь с рабочего места во время дежурства?

— Практически — нет, не положено. С тобой вот — исключение, Всеволод, нравишься ты мне, помочь хочу. А так всё в подъезде: и чаёк сварить, там плитка у меня, и подогреть, что дома заготовила. Всё под рукой — и попить, и поесть.

«И поспать? — хотелось спросить Севе. — Хоть вы и сто лет в органах, но всё же надобности отпраивать случается, не железный же Феликс». Вера Кузминична без труда угадала скрытый смысл его молчания.

— В восемь утра перед заступлением всё справишь и до полуночи, пока подъезд не закрою. Там и отлучиться можно. Привычная.

— А вчера, вы хорошо помните, никаких исключений не было, не отходили? В квартире труп нашли. Как же он мог там оказаться, если вы говорите — Кораблёв не возвращался?

Мерин рисковал: было задето профессиональное самолюбие секретного сотрудника государственной безопасности и возведение неприступной стены могло стать результатом подобных незрелых вопросов. Но какое-то шестое чувство подсказывало ему, что налаженный контакт держится на выстраданных ею приятных воспоминаниях и нежелательного отчуждения в их отношениях не произойдёт. Так и случилось.

— Чего ж тут не помнить, если прошло всего ничего, — слегка лишь насупилась консьержка, — в тот день вообще всё вверх дном: сначала гости туда-сюда — праздник ведь, многие не забыли, потом санитары, пожарные, милиция, дети орут, все кричат, грязи нанесли — сумасшедший дом. Может, и проглядела кого. А до пожара тихо было, на цыпочках ходили, шепотом разговаривали: про Евгению весь дом быстро узнал — все послушные, добрые, вежливые — несчастье сближает. В 19.15 только

Светлана приходила, я минут на пять с ней к себе поднималась, Нюрку вместо себя сажала.

— Кто это Светлана?

— А подруга Кораблёвых. Она, когда голубки мои разошлись, себе не отказывала, пару раз в месяц обязательно забегала.

— И чего хотела? — Мерин не понял жирного намёка.

— А чего они все от вас хотят? Тебе виднее, Всеволод, дело молодое. Дрожит вся, где, говорит, Дмитрий, срочно нужен. Я говорю — понимаю, что срочно, сама, бывало, торопилась — невтерпёж, но нет его, подожди, от этого ещё никто не умер, а она — телефончик дайте...

— Чей телефончик?

— Так турка какого-то из тусовки ихней, бывал здесь, богатенький, на джипе с охраной катается, не люблю я богатых-то, они его турком называли, может, и впрямь оттуда... — Вера Кузминична подошла к застеклённому книжному шкафу, плотно заставленному одинаковыми амбарными тетрадами, открыла дверцу, любовно провела ладонью по корешкам.

— Вот они, родимые, надоели до смерти, а поглядишь — как без них, память — она не молодеет. Что там твоя энциклопедия, что Интернет. А ещё спорят, кто компьютер изобрёл. Мы изобрели. Мы! СССР! Вот он стоит, в начале века русским умельцем скроенный, застеклённый, лаком покрытый. Напряги только память — рука сама к полочке потянется, книжку определит, страничку откроет...

— А Нюра — это кто?

Опять же он понимал, что своим вопросом грубо попирает поэтическое отношение Веры Кузминичны к своей профессии, но время поджимало, пора было возвращаться на Петровку.

— Нюрка-то? — Консьержка, похоже, даже обрадовалась. — Суржик, жилища наша. Они с Дмитрием одно время переплетались — весь дом ходуном ходил. В лифте встречались. Она лифт любит. Возбуждает он её, должно. Хлебом не корми, а в лифте трахни. Беззлая девка, безотказная, но с причудой, каждого кавалера кричать заставляет. В самый момент — «Чего, говорит, ты делаешь?» Тот мямлит. «Громче, — говорит, — говори!» Тот громче: «Как — что?» Ну в общем — это... Она опять: «Е...шь, что ли?». «В общем, да...» «Громче!» Тот громче. «Ещё громче!!» Ну тот в ор, как зарезанный, мол — е...у!!! И так каждый раз. Я её спрашивала: «Нюр, они зачем у тебя кричат-то?» А она: «Баба Вера, я без этого не кончаю, мне без этого — что пальцем в ухе ковыряют — никакой радости».

Он уже миновал ручной турникет муровской проходной, когда за спиной раздался окрик: «Пропуск, Мерин!»

Пришлось вернуться, достать служебное удостоверение.

Дежурный молоденький, не старше Мерина, солдатик долго вглядывался в фотографию, придирчиво разбирал подписи. Наконец недовольно спросил:

— Мерин — это что, фамилия или кличка?

Так повторялось каждый раз с этим дежурным в течении почти уже года. Сева терпел, убеждая себя, что тем самым закаляет характер, но на этот раз не выдержал.

— Мудак ты, Каждый, и есть мудак. Его Зинка на улице ждёт, а он...

И взбегая по лестнице, не отказал себе в удовольствии задержаться, чтобы увидеть, как в сержанте-сверхсрочнике по фамилии Каждый будут бороться два обычно исключаящие друг друга чувства служебного долга и безответной любви. Покинуть пост во время дежурства — всё равно, что проехать на красный свет — большего нарушения не бывает. А не выйти, не взглянуть, пусть мельком, на пришедшую в столь поздний час к проходной любимую — может быть, навсегда погубить оставшуюся жизнь. Весь молодой МУР знал, как сотрудница криминалистического отдела Зина Каждая застучала своего мужа на прошлой неделе в пьяной женской компании, и как тот ни клялся потом, что даже в мыслях не мог себе позволить ничего, бросающего на него тень супружеской неверности — жила теперь у матери. (Всю неделю, по несколько раз в день проходя через турникет, сотрудники уголовного розыска перебрасывались фразами типа: «Конечно, Каждый мудак, но ведь и мудак не Каждый», чем приводили несчастного к мысли о суициде.) Вот и теперь, потоптавшись у турникета и убедившись, что поблизости никого нет, он, рискуя с позором быть выгнанным из органов, опрометью метнулся на улицу.

«Зря я так», — подумал Мерин.

Полковник Скоробогатов усадил подчинённого за стол, сам сел напротив, мельком взглянул на часы: 8.00. На лице его не отразилось ровным счётом ничего, что в данном случае означало крайнюю степень удовлетворения.

— Говори, Сева, я слушаю.

— ...я, конечно, допросил эту Ньюру с девятого этажа: кто входил, кто выходил за время, пока она подменяла консьержку, ведь кто-то же сгорел в этой квартире. Но с ней говорить — всё равно что ночью у «Националя» стоять, только глазки косит да намёки строит.

— Какие намёки?

— Да какие, какие, обыкновенные, какие? Насчёт кофейку попить да муж в командировке, какие ж ещё?

— Ну и ты что?

— Я-то?!

Мерин набрал было побольше воздуха, чтобы возмутиться, но тут же удручённо замолк. Он час уже битый докладывал начальнику все мельчайшие подробности сегодняшних допросов, не спеша, шаг за шагом вёл его по лабиринтам своих версий, метался, искал выход и, не найдя, устремлял по новым, казавшимися очевидными путям. При этом Скоробогатов не выказывал нетерпения, не подгонял, а иногда даже вставал из-за стола и с нейтральным выражением лица расхаживал, скрипя половицами, по кабинету, что само по себе означало крайнюю степень заинтересованности. И вдруг такой удар в спину!

— Ты напрасно обижаешься, я ведь серьёзно спрашиваю. — Полковник стоял лицом к окну. Сева видел только его ровно подстриженный затылок. — Знаешь, сколько государственных секретов раскрыто, сколько, казалось, навсегда ушедших от правосудия тайн всплыло и стало достоянием гласности благодаря близким... э-э-э, — он какое-то время тянул эту букву, — я хочу сказать, интимным отношениям между людьми? Несметное количество! И не потому вовсе, что все средства хороши или — победителей не судят. Нет! Я говорю об отношениях между мужчиной и женщиной не как о способе добывания информации, не дай бог понять меня таким образом, я говорю о любви, о самом, может быть, высоком чувстве, которым наделено человечество и на которое, кстати, способен далеко не каждый смертный. А уж любовь, если она только подлинная, сама знает, как распорядиться поступками, сохранить, уберечь, спасти, наконец, перекрыть дорогу откровенному злу. А физическая близость, если угодно — атрибутика любви, естественность и необходимость подобных отношений заложена Творцом — а кем ещё, не от обезьяны же мы произошли, в конце концов — этим Он отличил «хомо сапиенс» от всего остального родопродолжающего множества.

Скоробогатов замолчал, но по напряжённой спине его Сева чувствовал, что рвущиеся наружу эмоции продолжают бесчинствовать в душе этого обычно крайне сдержанного человека. Просто волевым усилием он преградил им путь, сдержал, справился с этой нелёгкой работой и теперь отдыхает.

Прошло минут пять в полном молчании, прежде чем он сказал:

— Прости, Сивый, глупость вышла, я не лекцию тебе читал, всё ты понимаешь не хуже меня. Просто — со стороны видней — ты немного

засиделся в девичестве и какие-то очевидные вещи воспринимаешь в штыки. Я потому только осмеливаюсь говорить об этом, что сам в прошлом страдал подобным... э-э-э... инфантилизмом, что ли. И с тех пор пожинаю плоды своей... — он, не сразу подобрав слово или не решаясь произнести его вслух, ударил по стеклу так, что Мерин вздрогнул, — своей преступности, Сива. Расскажу когда-нибудь, если позволишь. Может, спадёт с души. Сорок лет давит.

Видно было, что последние фразы дались ему с трудом, голос охрип, на лице выступили красные пятна. Он вернулся к столу, долго тёр ладонями лоб, как бы освобождая его от груза неприятных воспоминаний.

— Ладно. Завтра в десять собирай группу, вводи в курс дела. Трусс, Яшин и ты главный. Мне докладывать, по возможности, ежедневно после 20-ти. Есть вопросы?

Вопросы, конечно, были и немало, но кровь почему-то так яростно бросилась к лицу, сдавив по пути горло, что Мерин предпочёл не рисковать и вместо ответа только слегка кивнул головой: мол — всё правильно, какие ещё могут быть неясности. Я главный.

— Ну и отлично. — Скоробогатов как-то сразу заметно повеселел. — Пойдём, Всеволод Игоревич, а то домашние нас опять неправильно поймут.

И он запел: «Налей-те, на-лей-те бокалы пол-ней, таратара-там, таратара-там, таратара-там, там, там...»

А когда проходили турникет, Мерин не отказал себе в удовольствии обратиться к начальнику: «Товарищ полковник, сегодня ведь среда, правда? Это ведь знает, — он сделал паузу и закончил, — каждый идиот?»

Скоробогатов сделал вид, что не расслышал вопроса, а дежурный метнул в Мерина таким взглядом, что стало понятно: в дальнейшей жизни в тёмном подъезде с этим сверхсрочником тому лучше не встречаться.

Дима ещё не проснулся, не открыл глаза. Он замер в пространстве, слегка укачиваемый ласковыми волнами, в приятном ощущении, что мир осязаем и стоит предпринять лишь малое усилие, как невесомая плоть твоя коснётся земной тверди. Сознание, казалось, сделало всё возможное, чтобы вернуть его в реальность, но память запаздывала, и ответить на простейшие вопросы: где он? что с ним? и что его ждёт — он пока не мог.

Так бывало и раньше, нельзя сказать, чтобы часто, но бывало, особенно, когда знаешь, что никуда не надо спешить, никто тебя не ждёт и

не заведённый с вечера будильник не зацарапает по нервам своей гадкой трелью. И всякий раз в такие счастливые утра Диму посещало одно и то же открытие, казавшееся прозрением: вот оно, небытие! Вот оно, существование между землёй и небом, между материей сознания и бесплотностью духа. Может быть, это и есть то непознанное НЕЧТО, которое остаётся жить после тебя? Потому что — хотим мы того или нет — понятие ВЕЧНОСТЬ никогда не станет достоянием земного разума. Он разомкнул намертво сросшиеся веки — никто над ним не висел, никаких незнакомых привидевшихся давеча силуэтов не было и в помине. Дурной сон, не более того. Перед ним был потолок — угрожающе качнулись пять плохо состыкованных плит, слегка кое-где подтреснувших. Рыжеватый с голубой оторочкой подтёк и штукатурные пузыри красноречиво заявляли о необходимости ремонта, хотя не далее как год с небольшим они с Женькой доверились четверым оглоодам из рекомендованной Светкой Нежиной конторы и те полгода учиняли «евроремонт». Денег содрали немерено, если бы не сомовская наличка — и помыслить не смей, а так — какая разница. Неужели так быстро всё посыпалось?

Дима закрыл глаза, ещё раз отметив про себя блаженное состояние невесомости, как вдруг непонятно откуда, заполнив собою всё — мозг, мышцы, суставы, поры — обрушилась нестерпимая, заставившая содрогнуться боль. Рвануло висок, холодом обожгло спину: Женька погибла. Нет больше Женьки. Умерла.

И тогда откровенно безжалостно, торопясь, подгоняя себя, как бы отряхнувшись от спячки и озверев в бездействии, память выложила перед ним картины безобразной, неумолимой цветности: белое лицо жены с её «не... ве..., не... ве...», остановившийся синий взгляд, белые санитары, чёрное покрывало, машина с красной продольной, мутный, похожий на зимний рассвет, подвал морга, жёлтый, белый, оранжевый, красный с багровыми подпалинами огонь...

Это случилось очень давно, в другой жизни, другом летоисчислении, когда ГОРЕ — чёрный ангел — коснулось его своим мертвящим крылом и превратило в реальность то, что должно было оставаться уделом кошмарного сна.

Потом прошла жизнь, прошло много жизней, веков...

— Отчего такой неестественной болью отзываются эти давние воспоминания? Зачем эта боль? Зачем она?!

— Она — спасение, она помогает не умереть.

— А не умереть — лучше? Разве лучше?

Кто-то помог ему сесть на кровати. Он огляделся. Нинкина комната:

окно с линиялыми шторами, люстра пятью розеточками вверх, потёртый коврик. Шкаф. Посередине большой круглый стол под яркой скатертью с кистями.

— Стол-то тебе зачем? Одна живёшь, полкомнаты занимает.

— Как одна? А ты?

— Я приходящий, к тому же редко приходящий — могу и на кухне.

— Нет, Дима, кухня — это кухня. А здесь праздники. — Она заставила себя улыбнуться блестящими от слёз глазами. — Праздники часто и не бывают, иначе это не праздники, а будни, правда?

Наотмашь хлестнувшая Димина бестактность прошла, Нина подняла бокал с красным вином.

— За приходящего постояльца. За постоянного приходяльца! — и расхохоталась залиvisto. — Я буду называть тебя — мой приходялец! Да? А стола этого у меня не было раньше, если помнишь. Пару раз мы питались на кухне. За тебя, приходялец.

Она вообще много смеялась.

Вот и вчера Дима расплатился с таксистом, тот помог ему вылезти из машины («Ну ты совсем, парень, на х...й. Дойдёшь?»). Потом каким-то образом вскарабкался на пятый этаж, у двери опрокинулся навзничь — это память запечатлела глухим затылочным ударом в стенку. Дальше — нирвана, которой длиться бы вечность, но парадокс смерти, очевидно, в том и состоит, что одного желанья недостаточно, нужны изобретательность, сила, энергия дьявольская. А где их взять, если, очнувшись, его только и хватило, что поцарапать облезлый дерматин входной двери.

И Нинка, втаскивая его в прихожую, смеялась до слёз: «Ха-ха-ха, кто тебя так? Ха-ха-ха!»

Затем навалилось непонятное.

Его бесцеремонно тормошат, вынимают из разгара сладкого, сляпявого сна и несут в другую комнату, где на месте любимого комода с игрушками стоит пушистое зелёное уродство, облепленное блестящими, непонятного назначения предметами. Наступает какой-то очередной год, ему два или три отроду, и это первое его воспоминание о себе как о гражданине, желанья которого не учтены, а свобода проявления попрана. Дабы на корню пресечь наглые родительские вылазки, он закатывает сцену, с которой по силе и продолжительности не взялись бы конкурировать никакие природные катаклизмы. И пока насмерть перепуганные мать с отцом выдворяют зелёную каракатицу в кухню и восстанавливают любимый комод на прежнем месте, он орёт непрерывно, делая лишь виртуозно короткие, необходимые для набора воздуха паузы.

Дальше кто-то сильными, не Женькиными пальцами разжимает ему рот, он сопротивляется, пытается увернуться, холодная липкая жидкость стекает по щекам, подбородку, шее, льётся за воротник... Хочется кричать, плевать, но чьи-то опытные руки так сжимают челюсти и сдавливают горло, что приходится подчиниться, он проглатывает горькую жидкость и та обжигающей грелкой заполняет грудную клетку.

— Потерпи, Димочка, это лекарство, потерпи.

Голос очень знакомый — на одной ноте, без обертонов, как коровий колокольчик, который вешают ей на шею, чтобы не отбилась от стада. У коровы белый высокий лоб, узкие, монголообразные, испуганные глаза.

— Вот молодец, умница. Так ты у меня наркоманом станешь. — И смех, негромкий и тоже знакомый, раскатистый.

Потом его вынимают из тёплого моря и кладут лицом вниз на раскалённый песок. Грудь, живот, ноги — всё начинает гореть и плавиться, кожа обрастает стремящимися соединиться в одном огромном объёме волдырями. Он из последних сил напрягает мышцы, стараясь вырваться из этого огненного ада, кричит неслышно, забывая подкрепить звуком истощенную мольбу о пощаде, и чьи-то ласковые скользкие ладони (Женькины, конечно) медленно, от затылка к пояснице снимают с его спины опалённую кожу.

— Ну-ну-ну, потерпи, не так уж больно, не выдумывай. Вас бы рожать заставить. А массаж мне, знаешь кто, Бальтерман преподавал, внук того самого, знаменитого, так что лучше меня никто во всей Москве вашу милость не обработает.

Это Женька опять не своим голосом — колокольчиком — и, конечно же, врёт, никто её никогда ничему не учил, кроме игры на скрипке и всяким там сольфеджио, пальцы свои она всегда оберегала, как девственную плеву закоренелые старые девы и практиковать массаж её не мог бы заставить никто, будь он хоть трижды бальтерманом или доbermanом. Так что врёт она без зазрения совести, но выводить на чистую воду и припирать к стенке не хочется, потому что костёр, распалившийся было, постепенно затухает, оставляя после себя лишь редкие, готовые взорваться болевыми всполохами головешки. Тело обмякает и по чьему-то волшебному настоянию вновь погружается в тёплые прозрачные волны.

Который теперь час, какой сегодня день и сколько времени он находится здесь, в Нинкиной комнате, на её кровати — на эти вопросы Дима ответить ещё не мог, но то, что реальность готовилась принять его в свои объятия — факт, и об этом свидетельствовало многое: и лопнувшие по бокам аппетитные бананы вперемешку с какими-то баночками на стуле у

изголовья, и надрывающийся в коридоре телефон (именно телефон это, а не разрезающая суставы электрическая пила, как казалось совсем недавно), и унижительная зависимость от желания немедленно, чтобы не лопнул мочевого пузырь, отправить надобности, в просторечии именуемые естественными.

Подобное на его памяти случилось с ним лишь однажды, когда он, школьник, по достижении четырнадцатилетнего возраста отмечал в узкой компании своё вступление в ряды коммунистической молодёжи и в результате оказался в одной постели с хорошенькой десятиклассницей Ингой. Та на пути к аттестату зрелости, как выяснилось, уже постигла все премудрости зрелости другого рода и не скрывала готовности щедро поделиться с Димой накопившимся опытом.

И надо же было такому случиться, чтобы именно в тот момент, когда разгорячённая плоть новоявленного комсомольца под умелым руководством хорошенькой искусницы неотвратимо приближалась к восприятию неземного ощущения (как обещала Инга), именно в тот момент и возникло это предательское, скотское желание.

Разочарованная красавица не стала в тот вечер «его учительницей первой», а подруги её из 10 «Б», завидев Кораблёва, долго ещё потом перешёптывались и хихикали.

Как давно это было...

Первым делом Дима, держась за стены, останавливаясь и пережидая головокружение, дошёл до туалета.

Затем кухня. Холодильник. Яблочный сок.

— Сколько раз тебе говорить, ты же медик: любой консервированный сок, кроме яблочного — отравя, скопище бактерий. Любой концентрат — яд, придуман для борьбы с перенаселением земного шара. — Ему нравилось поучать её, как маленькую, хотя она была, кажется, на сколько-то лет старше.

— А яблочный?

— Яблочный можно.

— А томатный?

— Ни в коем случае. Медленная смерть. Лучше сразу повеситься.

— А апельсиновый?

— Ещё хуже.

— А грушевый? А манго? А дынный?

Нинка перечисляла все известные ей соки, хохотала, изобретала невообразимые смеси: «А морковный с киви? А картофельный с клюквой?», не закрывала рта, потому что умолкни она хоть на минуту —

знала, — он начнёт одеваться: «Пора, Нин, надо идти».

Странно, сколько раз он бывал в этой квартире — уже и не сосчитать, а на кухню, если и случалось заглядывать, то, по всей видимости, нечасто — не было надобности — местом общения всякий раз оказывалась большая двуспальная кровать.

Сейчас ему показалось, что он здесь впервые — настолько всё было незнакомо. Просторная, светлая, очень уютная кухня напоминала «студию». Здесь была целая квартира: спальня — в углу стоял раскладной диванчик, покрытый ярким исландским пледом; гостиная — обеденный столик, этажерка с медицинскими в основном книгами, торшер, на подоконнике цветы; и собственно помещение для хозяйства с газовой плитой, мойкой, шкафчиком для посуды и холодильником, с небольшим телевизором наверху. Было похоже — хозяйка проводила здесь всё свободное время и комнатой пользовалась нечасто.

На стенах были развешены разноцветные картинки, прошлогодний календарь с церковной тематикой и несколько фотографий в рамочках под стеклом.

На одной из них Нина представала девчушкой ясельного возраста, капризной, курносой, веснушчатой, очень, тем не менее, на себя похожей, раскинутой в детской кроватке в недвусмысленной позе искушённой жрицы любви, готовой к оргии. Необычно, даже смешно, но уж больно откровенно, без загадки: вот мол какая я с молодых ногтей сексуальная и эротичная.

Другая фотография показалась странной: молодая женщина, снятая со спины. Короткие уложенные волосы, красивые, худые, покатые плечи, шея — всё Нинкино. Но что хотел сказать автор, выбирая такой странный ракурс, и почему именно этому снимку отдано предпочтение, осталось за семью печатями, хотя времени на разгадку этой шарады Дима не пожалел.

Третья фотография, контрастирующая с двумя предыдущими откровенной банальностью, представляла собой коллективный портрет четырнадцати выпускников, если верить надписи, Первого московского медицинского института факультета общей терапии. Снятая примитивно, без световых нюансов, она, тем не менее, если приглядеться и подключить толику фантазии, могла дать необходимое представление о каждом запечатлённом на ней персонаже.

Первым делом Дима отметил Нину, миловидная. В меру скромная — довольствовалась третьим рядом — с ярко выраженным чувством юмора (в отличие от тоскливой торжественности на лицах подруг) — с озорной улыбкой наставляла впереди сидящему сокурснику рога. Тот — в самом

центре на возвышении, с выражением некоторой пресыщенности от дамского внимания, был единственным представителем сильного пола в этом коллективе.

Возникшее вдруг неприятное ощущение обманутого собственника заставило Диму внимательнее взглядеться в это лицо...

По всей видимости, он был ещё очень слаб, потому что в висках вдруг бешено застучало, а фотография исчезла, растворившись в пёстрых квадратах обоев. Он лёг на диван, подложил под голову подушку.

— Спокойно, Дмитрий, ты болен, у тебя сотрясение мозга, надо успокоиться. Этого не может быть.

Опять бешено затрещал телефон.

Двигаться не хотелось: затылок достиг угрожающих размеров, ржавые трели звонка коснулись оголённых нервов. Чтобы прекратить пытку, Дима дотянулся до стоявшего на столе аппарата.

— Да.

— Алле.

— Да. Кто это?

— Оклемался?

— Кто это?

— Нину мне.

— Её нет.

— Ты один?

— Да. Кто говорит?

— Где она?

— Не знаю. Что ей передать?

Ответа не последовало, на другом конце раздались короткие гудки.

Боль, как ни странно, затаилась, уступив место удушающей слабости: о том, чтобы вернуть трубку на рычаг, не могло быть и речи, она сама выскользнула из разжатой ладони, коснулась паркета, подскочила, увлекаемая закрученным колечками проводом, и осталась прыгать между столом и полом, как бумажный, набитый опилками мячик на резинке — вожделенная игрушка его далёкого детства, появлявшаяся на свет исключительно в дни празднования Великой Октябрьской социалистической революции.

— Ну что? Вот и пришло время объясниться.

Голос пришёл откуда-то издалека — усталый, хриплый — и показался на удивление знакомым.

Дима разомкнул веки.

Лицо его исказила гримаса, лоб подёрнулся потом. Он не закричал

только потому, что на это требовались силы, а они к этому моменту окончательно его покинули.

В ногах, на диване, наклонившись всем корпусом и пристально в него вглядываясь, сидел человек с фотографии.

Руководитель оперативной группы МУРа по расследованиям тяжких преступлений Всеволод Игоревич Мерин проснулся от оглушительных ударов капающей из крана воды. Часы показывали начало пятого утра, планете Земля предстояло ещё часа полтора болтаться в космосе, чтобы первые солнечные языки начали слизывать ночную росу с крыш домов на улице Генерала Доватора, за окном висела пугающая городского жителя тишина, Москва, казалось, не просто спала, но вымерла, растворилась в пространстве и уже никогда не вернётся в свои пределы. И если бы не подгнившая резиновая прокладка и как следствие тупая периодичность водопроводной капли, — мысль о свершившемся-таки конце света могла показаться не такой уж неправдоподобной.

Сева вышел на кухню, попытался заткнуть кран. Нет, утро не задавалось: старая сантехника грозила срывом резьбы, а вода продолжала методично долбить гулкой металл раковины.

Попытка бесшумно приготовить завтрак и, не лишая бабушку сладкого свидания с Морфеем, раствориться в утренней прохладе столицы тоже успеха не возымела: едва он открыл дверцу шкафа, как любимая кофеварка — предмет гордости (подарок женской половины медицинского персонала при выписке из госпиталя) — задела проводом алюминиевую кастрюлю, та упала на стоявший на столе поднос и разбила на мелкие куски старинную чайную чашку с полустёршейся гравировкой на боку: «Люсеньке на память в день рождения. Пей до дна. Ваня».

Это было уже серьёзно.

Следующие два часа они с переполошенной бабушкой Людмилой Васильевной провели на четвереньках, ползая по полу в тщетном стремлении обнаружить недостающие части порушенной семейной реликвии. Людмила Васильевна вела себя мужественно, не стенала, не заламывала рук, иногда лишь припадала к стене и незаметно для внука массировала сердечную мышцу: скромность внешних проявлений характерна для людей, на которых сваливается глубокое, подлинное горе.

В семь прозвенел будильник и бабушка сказала:

— Иди, Севочка, мойся, у тебя сегодня трудный день.

От этих простых, казалось бы, слов Сева неожиданно замер: как же давно это было!..

...Он так же рано проснулся — не спалось. Предстояло испытать нечто неведомое, пугающее своей неотвратимостью и в то же время давно и страстно манящее: сегодня он впервые должен пойти в школу. Тринадцать лет прошло, а было это вчера, ну на худой конец на прошлой неделе, он долго лежит в темноте с открытыми глазами, боясь пошевелиться, каждым миллиметром худого мальчишеского тела ощущая важность предстоящей перемены своей недлинной, налаженной жизни. Проходит очень много времени — из черноты возникает потолок, потом стены, потом угол шкафа, в котором висят неопишуемой красоты, уже сотни раз примеренные, цвета высококачественного серебра гимнастёрка и такого же оттенка выглаженные бабушкой брюки. Потом прямо над ним, в углу над головой кто-то невидимый рисует плохо различимый жёлтый овал, который неспешно светлея и расширяясь, превращается в скорбный, пугающий, обведённый окладом лик. Потом скрипит приоткрытая ставня, вздыхает занавеска, комната заполняется прохладой солнечного утра — проходит очень много времени, прежде чем он понимает, что наступило первое сентября, первый день осени, день безвозвратно уходящего детства, бессмысленного и прекрасного.

В то утро он тоже что-то разбил и бабушка, собирая осколки, сказала:

— Иди, Севочка, мойся, у тебя сегодня трудный день.

Коллеги встретили его неласково.

— Х...я ты опаздываешь, начальник? «Богатый» два раза звонил, всех собак на Яшку повесил: видишь, плачет товарищ, больно ему. Расскажи, Яша, как тебя покусали.

Ярослав Яшин громко высморкался, вытер красные, слезящиеся глаза — он уже вторую неделю не мог вылезти из жесточайшего гриппа.

— Обидно, Толь, вкалываешь, как вол на рисовой плантации, живота не жалеешь, все силы на алтарь победы, — он очень правдоподобно всхлипнул и безнадежно махнул рукой, — а тебе вместо благодарности по морде. Обидно.

Трусс выглядел подавленным.

— Видишь, до чего довёл товарища по оружию! Нервы и так ни к чёрту, а тут свои же нож в спину. Проси прощения через круглосуточный, бегом, она сегодня не сильно подорожала, повезло тебе — молись на правительство — о тебе заботится, а могло бы и дефолтом по е...ку. Давай, живенько, и пару «Балтики» прихвати, можешь тройку, если сам будешь. В десять минут уложишься — простим. Простим, Яша?

— Не уверен, Толя, глубоко задела. Можно сказать — в душу плюнули, а за что? — Ярослав готов был разрыдаться.

О его актёрских способностях в МУРе ходили легенды, хотя все знали, что никаких художественных училищ он не посещал и дар этот, по всей вероятности, у него врождённый.

— Ну что стоишь, х...й с горы? Беги, я его утешу. У меня в походной аптечке есть валериановые капли. Беги, беги, не переживай, в крайнем случае вызовем реанимацию. — Последние слова Анатолий Борисович Трусс произнёс трагическим шёпотом, каким разговаривают близкие люди у постели умирающего, обнял Севу за плечи и подтолкнул к двери: не отчаивайся, мол, не всё ещё потеряно, будем надеяться на лучшее.

Чего-то подобного Мерин и ожидал: конечно, его назначение старшим группы не могло пройти просто так, незамеченным. Пока он отделался лёгким испугом, но это начало только, дальше, без сомнения, последует долгая череда розыгрышей, подставок, уколов и не отдавать себе в этом отчёт было бы глупо. Хотя и себе он отводил не последнее место: многое зависело от него. Во всяком случае, казавшиеся непреодолимыми трудности первые минуты общения, слава богу, позади, а он — вот он, жив-здоров, вприпрыжку по Петровке с оттопыренными карманами. А ведь чего только он ни передумал за эту ночь, какие монологи ни произносил, как ни бил себя в грудь, убеждая старших коллег в беспредельности своего пиетета по отношению к их профессиональным заслугам. Труссу перечислил все сложнейшие дела, раскрытые только благодаря его опыту и таланту, искренне сожалея при этом, что природа так поздно предоставила возможность ему, Мерину, стать очевидцем этих оперативных шедевров. Ярославу Яшину признавался в любви за уникальность его психологических осенений и перевоплощений, склоняя голову и отдавая ему несомненное предпочтение перед великим английским актёром Кином.

Соратники, как показалось Севе, внимали ему в эту бессонную ночь без видимого восторга, на откровенную лесть реагировали прохладно и, похоже, оба повели себя «по Зоценко»: в душе затаили некоторое хамство.

Поэтому разыгранная ими в кабинете в общем-то безобидная сцена Севу очень обрадовала.

Правда, маленькие нюансы здесь всё же проглядывались.

Полковника Скоробогатова подчинённые называли по-разному, в зависимости от отношения к нему в данный момент: или Скорый (а Юрий Николаевич действительно обладал феноменальной реакцией, быстро мыслил, оперативно принимал решения, за что его уважали даже недруги), или Богатый (а богатых, как известно, на Руси издревле не любили, считали кровососами и жуликами). И если Трусс назвал начальника Богатый, значит решение назначить Мерина старшим группы всё-таки его задело.

Да и Яшин обычно не разменивал свой редчайший дар по пустякам и прибегал к нему исключительно в экстремальных ситуациях, когда нужно было уличить бандита или обвести вокруг пальца обнаглевшего коллегу — значит, и здесь не всё так просто, и сегодняшние безутешные его всхлипы, можно не сомневаться, только цветочки, за которыми по законам растительного мира обязательно последуют ягоды.

Пусть так.

Но что значат эти безболезненные психологические укусы по сравнению с той невероятной лёгкостью, которую испытывал теперь Мерин, когда рождённая мышью гора свалилась к его ногам.

И только однажды в это утро у него ещё раз сжалось сердце.

После того, как наполненные стаканы перед иссушением были сдвинуты в ритуальном приветствии и неожиданно повисла недолгая пауза. Трусс должен был сказать: «Не тяни, начальник. Х...ль молчишь? Выпить хочется».

Он не мог этого не сказать. Но он сказал другое.

Потому что по природе своей был человеком понятливым.

Он сказал: «За нас, ребятки. Поживём».

И они выпили.

Так бывало всякий раз, когда в этом кабинете появлялся трупный след очередного дела.

Сотруднику опорного пункта дома № 6 по Шмитовскому переулку младшему лейтенанту Шору на вид было лет сорок пять. Плотный, широкоплечий, с красным обветренным лицом он походил бы на всех своих собратьев по профессии, если бы не обтянутый безразмерной форменной рубашкой в полном смысле слова выдающийся живот.

В милицию он попал сразу после армии, мальчишкой, прошёл все

многочисленные ступени иерархической лестницы, отвагой не отличился, особым рвением не страдал. Крестьянский ум и природная смекалка открыли ему глаза на никчёмную хлопотность начальственной должности и он, не искушаемый честолюбивыми намерениями, сознательно довольствовался малым.

Для постороннего же наблюдателя несоответствие седины в волосах и ничтожного количества звёзд на погонах выдавало в нём или непроходимого тупицу, которого неприлично поощрять положенной аттестацией, или человека думающего, самостоятельного, так и не сумевшего вписаться в милицейскую структуру.

Мерину предстояло в этом разобраться, ибо на показания оперативника он очень рассчитывал.

— Нет, я двадцать четыре года здесь, такого пожара не упомяну. — Владелец безразмерного живота неспешно заполнял неказистый кабинетик басом-профундо, отчего речь его, если уклониться от небогатой её содержательности, напоминала процедуру церковного отпевания.

— Не было такого, однозначно не было. Дом новый, проводка новая — пять лет — что за срок? Рвануло, это как пить дать. Не от спички или там папироски, смешно сказать: тогда скатерть загорается, стол, занавески — всё поочередно — дым валит, соседи нюхают — все же одним воздухом дышим — с улицы видно, наш человек чужими окнами больше чем своими интересуется, к бдительности приучен, пожарных вызывает, когда только в пепельнице окурок затлел и пластмассой потянуло. Те приезжают, работают — будто за деньги, любо смотреть, собой рискуют, ребята, надо отдать им, шустрые, обучены: если пожар, а не поджог или, скажем, взрыв — никогда ничего не сгорит. Однозначно. Всё успеют и не погибнет никто — редчайший случай. А если читаем: сгорело оборудование на миллион или там документация какая — всё, сливай воду, пожарных можно не вызывать, не торопиться, что нужно — обязательно сгорит. Преступление. Так и здесь. В сорок шестой на Шмитовском — ежу понятно — рвануло. Однозначно.

— А что за криминал там в квартире, если бомбы взрываются?

— Да в том-то и дело, что нет там криминала. Никакого. Однозначно. Артист проживает. Или проживал — как теперь говорить-то? Труп не опознали ещё? — Уполномоченный, не глядя на Мерина, скосил голову в его сторону: конечно, пацанов-недоростков пускают в уголкову, какой от них прок?

Мерин в очередной раз почувствовал, что краснеет. Нет, воистину прав Скоробогатов — в таком щенячем возрасте, да ещё при его, будь она

трижды проклята, дошкольной внешности, как выразился однажды, мудака Каждый, заниматься серьёзной государственной деятельностью нельзя. На кон поставлены судьбы, жизни огромного множества людей, нужны предельная доверительность и уважение коллег, свидетелей, чтобы они стали твоими помощниками, а не врагами. Здесь без веры в опыт, талант, неподкупность не обойтись, особенно сейчас, когда скомпрометирована сама аббревиатура МВД, и будь на его месте в этом промозгом кабинете полковник Скоробогатов — младший лейтенант Шор давно бы уже рассказал и о Кораблёве, и о его жене, и о своих версиях, которых у него не может не быть, если он нормален и исправно выполняет работу. А так — какая охота проявлять служебное рвение и помогать мальчишке, годящемуся тебе в правнуки. Сева не ответил, сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Подъезд вообще спокойный, — продолжал Шор. Он, казалось, ничуть не озадачился молчанием покрасневшего до слёз «угрозы», как менты называли между собой работников уголовного розыска. Напротив, ему даже понравилось, что его провокационный вопрос насчёт опознания обгоревшего тела остался без ответа: ну что ж, молодец малыга, своё дело знает. — Люди всё кооперативные, считай — состоятельные, при деньгах. А преступления — заблуждаюсь — поправь меня — только на деньгах и строятся. Однозначно. Скажи — нет? Ну и на любви ещё, на ревности. Это хуже денег. Сколько нарушений из-за неё. Онегина возьми — Ленского убил. Отелло опять же: повесил жену или задушил. А за что, спрашивается? Вот на этой почве что-нибудь и с Кораблёвым, думаю. Баб к нему много ходило. Любил он это дело. Да кто ж из нас его не любит, да, Всеволод Игоревич? — он жирно подмигнул, широко улыбнулся, видно, вспомнив что-то личное, недавнее. — Я не прав — поправь меня, но сдаётся, что и ты — палец в рот не клади, а? Сева? Однозначно? Я и то в свои годы в отставку не вышел, шевелюсь ещё, если в масть выпадает. Вчера как увидел эту рыжую, Катериной зовут, за паспортом приходила — полночи не спал, ворочался. Много бы отдал посмотреть — крашенная она или от природы так полыхает...

— Скажите, Шор, — Сева с удивлением почувствовал, как в нём неожиданно вскипает неприязнь к этому человеку, — кроме ваших личных увлечений, мало мне интересных, не могли бы вы описать, хотя бы поверхностно, окружение Молиной и Кораблёва?

Уполномоченный задумался. Парниша явно хамит — выставил его в неприглядном свете — можно подумать, что кроме женского промежища ему и сказать нечего. А о чём прикажете с вами говорить? О росте

преступности и способах её устранения? Маленький, вытри сопли и иди играть в куличики, всё больше толку-то. Ишь ты — окружение ему! А ху-ху не хо-хо? Сейчас, разбегусь только. Он, младший лейтенант Шор, свои права и обязанности давно наизусть выучил. Среди ночи разбуди — не запнётся. А не в своё не суётся. Потому и «младший».

— Я, видите ли... вы кто по званию?

— Лейтенант.

— Я, господин лейтенант, двадцать четыре года работаю не для того, чтобы изучать окружения жильцов своей территории. В мои обязанности входит предотвращать возможные правонарушения, или устранять те, которые случились. Всё! «Изучением окружения» занимаются, вам должно быть известно, другие органы.

Он замолчал, смешно надул щёки и Мерину подумалось, что заставить снова заговорить этого словоохотливого человека можно только под какой-нибудь изощрённой пыткой.

«Да-а-а, никакой, конечно, ты не психолог ни в каком приближении. Бабушкин внук ты, не более того, как ни пыхти, ни пыжься, ни напрягайся. Кто тебя тянул за язык с этим окружением, тем более что лучше Веры Кузминичны всё равно никто не расскажет? А хоть бы и рассказал — куда тебя несёт, кто тебе в зад вилку вставил, куда ты прёшь, умник недоразвитый? Что б ты пропал, провалился, сдох. Не Каждый мудак, а ты, Сивый Мерин, мудило тёмный, второе место на конкурсе мудаков, Пинкертон доморощенный. Эмоции, видите ли! Кому ты нужен, говно жидкое, со своими эмоциями?! Четвёртого свидетеля заваливает, а туда же: дело ему дайте собственное! Ну дали тебе дело, дальше что? Всех распугал, против восстановил, замкнул, вовремя не допетрил: Катерину чуть на тот свет не отправил, директор морга, спасибо тебе, все концы в воду спрятал, морду от пуха очистил, нимб примеряет, визитёршу молинскую упустил, теперь вот этому ни в чём не повинному дяденьке кляп в рот вставил. Ну любит он рыжих девушек, нравятся они ему, может, на Кустодиеве воспитан, ты-то что бесишься, недотыка?!»

К 42-му отделению милиции Мерин подходил с выражением, какое бывает у человека, только что перепутавшего изюм в шоколаде с козьим помётом.

Дежурный милиционер долго вглядывался в жизнеутверждающую фотографию на его пропуске, но так ничего и не понял.

— А вы-то кто?

— Там написано. Мерин из МУРа. Я к Шашкину.

— Минуту. — Он надавил клавиши внутреннего телефона. — Товарищ майор, к вам из МУРа, говорит — Мерин. На пропуске? Так и написано. Есть пропустить!

Дежурный проводил его подозрительным взглядом.

«Ну вот, — поднимаясь по лестнице и отыскивая нужный кабинет, Мерин продолжил внутренний монолог, — и это не в твою пользу: уж лицом-то собственным можно управлять? Уж это-то красной строкой входит в обязанности следователя, если, конечно, хочешь быть следователем, а не, как выражается Трусс, х...м с горы. Кстати, что означает это странное выражение? Вот и этого ты не знаешь. Почему — с горы? С какой горы? Гора с плеч — понятно. Умный в гору не пойдёт — понятно. Если гора не идёт к Магомету... Всё понятно. А это? А ты у бабушки спроси. Придёшь домой и спроси: „Бабушка, напомни, пожалуйста, что означает выражение — х...й с горы?“ Мудило ты тёмный.»

Во вчерашнем пожаре на Шмитовском, по словам майора, принимали участие три сотрудника отделения.

— Двое отдыхают отгулы — переработка накопилась, людей не хватает, по трое суток без сна приходится. Район у меня будто мёдом мазанный: разборки каждый день, чего их, педерасов, как говаривал Никита Сергеевич, сюда тянет — непонятно. А тут ещё пожар этот, будь ему пусто.

Он нажал кнопку селектора.

— Любаня, узнай, Месхиев на объекте? Если нет — ко мне его. — Он улыбнулся и стало очевидно, что Месхиев ходит в фаворитах. — Тоже вчера на пожаре был. Этот вообще не спит: придавит часик-другой в кабинете у меня на стульях и сутки вкальвает. Поставьте, говорит, мне раскладушку, я домой год не появлюсь. Горит парень. Молодой ещё. Ты-то сам тридцатник разменял?

— Скоро, — покраснел Мерин.

— Счастливый возраст. Мне хлеба не надо — верни мои тридцать. Э-эх, сколько планов было, всё мог, всё нипочём. — Он тяжело вздохнул. — У тебя неприятности?

Ответить Сева не успел — в кабинет постучались, заглянул маленький, смуглый, с чёрными, как южная ночь, волосами милиционер.

— Вызывали, товарищ майор?

— Входи, Галя. Вот товарищ из МУРа вчерашним пожаром интересуется. Возьми ключи от пятнадцатого, поговори, расскажи содействие, вспомни, что вспомнишь. Задание понятно?

Нарочитая сталь в голосе начальника утвердила Мерина в мысли, что ему предстоит иметь дело с местным любимчиком.

— Так точно, товарищ майор.

— Давайте.

Сева дождался, когда Месхиев выйдет из кабинета, вернулся к столу.

— Простите, товарищ майор, вы почему его Галей назвали?

— А его все так зовут. У него имя сложное. Не помню, Галеонкарант, кажется. Он не обижается.

Действительно, черноглазый трудоголик по имени Галеонкарант оказался человеком радивым, сообразительным, Мерину почти не пришлось задавать никаких вопросов.

— Садись, лейтенант, — начал он по-хозяйски, — там вчера много интересного было. Немыслимо! Ты трупом интересуешься? Моё мнение — его взорвали: уж больно на мелкие кусочки разлетелся. Невероятно. От пожара такого не будет. Ну загорелось, так куда я побегу? К двери, правда? Заклинило — тогда к окну кричать: «Помогите!» А этот посреди комнаты лежит, горит. Немыслимо! Взорвался, точно. Соседи чёткие, к трупу хорошо относились, я там многих опросил — все ведь на улицу выбежали. В одно слово, как сговорились: «Интеллигентный, вежливый, тише не бывает». Он раньше артистом был, в кино выступал, говорят, я не смотрел. Пухленькая такая, нестарая, Нюрой звать, даже плакала. И Евгения Семёновна, той вообще лет девяносто, с собачкой на руках — тоже прямо навзрыд. Видишь, какой разброс мнений возрастной. Немыслимо! Даже мужики жалели. Сейчас там горячо ещё, а поостынет — взрывное надьбите обязательно. Поверь слову.

— А как выяснилось, что в квартире труп?

— Так это пожарные, как пламя сбили — с лестницы вломились, а там уже нет ничего, стены одни и куски эти, фрагменты то есть. Кость, ведь она не горит, ты это знаешь? Они потом, когда кишки свои сматывали, верней — шланги, всё рассказали: идентифицировать невозможно, даже пол не определить. Я-то внизу оцеплением заведовал — у нас там тоже свой пожар. Невероятно. Немыслимо. Дурдом. Паника — иначе не скажешь. Мы даже парусину натянули, если кто прыгать захочет: лифт-то сразу отключился. Взрывная волна, о другом не думай. Мне Тихий задачу поставил: за толпой следи, говорит, злодея всегда на место преступления тянет, может, увидишь что нелогичное. У него всё так, всё делит: это — логично, это — нелогично.

— Тихий — это кто?

— Его Тихоном зовут, сотрудник наш, отдыхает, за старшего был,

хочешь, телефон дам?

— Спасибо, обязательно.

Галя полез в карман, вырвал из записной книжки листок.

— И Аристарх Николаича заодно. Мы втроём были. Его Бальмонт фамилия, Аристарха-то, говорят, поэт такой был, помер, так этот его родственник, должно. На пенсию недавно проводили, но иногда привлекаем — с людьми нехватка.

Он протянул Мерину бумажку с двумя телефонами.

— Ну и что нелогичного узрел? — С этим «Галей» Сева чувствовал себя умудрённым жизненным опытом наставником.

— О-оо-ооо, да там всё нелогично было, я ж говорю — паника. Мать с ребёнком на руках в подъезд рвётся: «Пустите, у меня там Маня!» Какая Маня? «Пустите-е!» — орёт. Оказывается — кошка. А то, что дым столбом и лифт не фурычит — это как? Немыслимо! Кто вниз не успел — на балкон высыпали, мебель сбрасывают. Один с седьмого этажа телевизор сбросил, чтоб спасти от огня — какая логика? Нелогично! Машины подъезжают, останавливаются, выходят, смотрят — это что? Логично? На чужое горе смотреть? Своего мало? Таксист чуть не у подъезда встал, перегородил дорогу, на шланг с водой наехал. Ещё немного — я б ему палкой по стеклу. Немыслимо!

— Никого не высадил?

— Я б ему высадил!! Ты меня не знаешь — зверь, когда что, отъедь в сторону и высаживай кого хочешь.

— Номер не запомнил?

Мерин задал этот вопрос скорее из важности: такси у подъезда его заинтересовало, но уж номер-то в этой неразберихе кто может запомнить? Поэтому ответ черноволосого представителя народов Северного Кавказа его несказанно удивил.

— Обижаешь, но я не обидчивый. Там вокруг одиннадцать машин стояло. Все номера здесь! — Он сильным щелчком ударил себя по лбу. — Все до одного. И три машины подъезжали. А тот, что на шланг наехал, У-451-НТ, у него на заднем сидении ещё пьяный лежал, лицо сильно побито.

Сева почувствовал, как у него заныл низ живота и ладони сделались мокрыми.

— Да-а! Вот это подарок! Вот что невысказано! И невероятно одновременно! Давай сюда номера!

И только когда четырнадцать строчек вырванного из записной книжки листочка были заполнены каллиграфическими буквами и цифрами, он

широко улыбнулся и с объятиями бросился на смуглолицего милиционера.

— Ну — ты... ну спасибо, вот это — да-а, спасибо... — Мерин замялся, назвать такого человека «Галей» язык не поворачивался. — Спасибо, Галеонкарант.

Теперь Галя чуть не упал со стула.

— Ну ты даёшь, угрозка. Наповал! Немыслимо! Я ж тебя теперь никогда не забуду, ты первый после отца с матерью. Даже, говорят, священник упёрся, когда крестили: не богохульствуйте, не бывает такого. Это тебе майор, что ли? Или биографию изучил?

Сева расхохотался, на душе вдруг сделалось легко и бесппроблемно.

— А меня знаешь как зовут? Сивый Мерин.

Галя посерьёзнул.

— Не ври!

— Честное слово. По паспорту — Сева, но так меня только бабушка зовёт, она очень деликатная, а все остальные — Сивый. Сивый Мерин.

— А Мерин — фамилия, что ли?

— Ну.

— Что ж родители — совсем, что ли? Не соображают? Ненормальные?

— Не знаю. Я их не застал.

Пауза была недолгой, Галя проявил себя неплохим психологом.

— А у меня и отчество есть. Сегелахорович. Галеонкарант Сегелахорович Месхиев. Русский по паспорту.

И он залился продолжительным звонким дискантом.

Заведующий таксомоторным парком Яков Семёнович Студнев встретил Мерина с преувеличенным радушием: можно было не сомневаться — представители правоохранительных органов не самые желанные гости пожилого хозяина уютного кабинета. Он усадил посетителя в кресло, открыл холодильник, достал бутылку боржоми и виновато улыбаясь и зачем-то постоянно кланяясь, забежал из угла в угол в поисках чистого стакана.

— Извините, как говорится, не ждал. Ничего покрепче не уберёг — контингент нецеремонный — после смены вынь да положь. А водичка не переводится: жажда — профессиональное состояние мастеров баранки, сам в прошлом не безгрешен.

Он коротко хихикнул, предлагая гостю непринуждённый характер

беседы, но, не дождавшись должной с его стороны реакции, полез к кнопкам селектора.

— Сейчас что-нибудь нарисуем, по problem. Раечка, сделайте, пожалуйста, два чистых сосуда.

Сева достал удостоверение, но Яков Семёнович категорически замахал руками.

— Ни-ни-ни, ни боже мой, какие доказательства, у вас, молодой человек, извините, на лице всё написано, обмануть — не ваша стихия. Это я вам говорю, — он сделал жирное ударение на местоимении «я» и, ткнув указательным пальцем себя в грудь, повторил, — я, у которого внук старше вас вдвое, примерно. Как вы сказали номер? У-451-НТ? Никаких проблем. No problem, как говорят наши недавние идеологические недруги. Сейчас нарисуем в лучшем виде. *Pikches on the best!* Иностранщиной вот на старости лет увлёкся, не было у бабы хлопот. Раньше не потакали, космополитизм усматривали, а теперь пожалуйста — хоть иврит, хоть идиш — не посадят. Голова, правда, уже не та, слово в сутки — это максимум, но ничего, через год 365 в кармане. Шекспира в подлиннике не потяну, конечно, а в торговой точке вороватой нахалюге отвечу — мать родную как звать забудет.

Он говорил беспрерывно, суетился, делал одновременно несколько дел и, казалось, самое нежелательное для него — это пауза, в течение которой посетитель мог бы задать вопрос.

Сева глянул на часы, десять. Можно, пожалуй, и расслабиться, попить водички, порасспрашивать — вдруг чего обломится неожиданно, всяко бывает. Но нет, не похоже, уж больно всё очевидно — как на ладони, очевиднее только насморк при ОРЗ: сын в Америке на постоянном жительстве; внук-вундеркинд в каком-нибудь Йельском университете потрясает сообразительностью тамошних профессоров; жена умерла (притом недавно, тому много свидетельств, взять хотя бы внешнюю запущенность, многолетнюю вмятину от обручального кольца на правом безымянном), а сам в поте лица всеми доступными способами извлекает выгоду из занимаемой должности, не гнушаясь, вероятно, при этом и нарушением законодательства. Ну и что, Господи, не убивает же, не насилует, тоже мне преступление в наше время — нарушить закон, исполнение которого обрекает человека в лучшем случае на нищенское существование. Мало того, что всю жизнь трубил, не разгибая спины, мало того, что в свои сильно пенсионные годы пытается обеспечивать родных куском хлеба, хотя мог бы преспокойно играть в подкидного дурака где-нибудь на Брайтон-Бич или пожинать снопики удачи в игровых хоромах

Атлантик-Сити, так он ещё должен прятать глаза и дрожать от страха перед каждым бесстыдным представителем властного катка, подмявшего под себя всё его поколение.

Севе вдруг до височной боли стало жаль этого юркого, сморщенного человечка.

— Вы мне только дайте его телефон, а я уж сам...

— Ни-ни-ни, ни боже мой, не волнуйтесь, сейчас нарисуем.

Яков Семёнович зачем-то подбежал к окну и привстал на цыпочки.

— Ну вот, дело, кажется, упрощается, дома Авдеич, а если неудача — мы его с линии вынем, и чтоб как лист перед травой. — Он придвинул к себе телефон, близоруко щурясь, стал набирать номер. — Он у нас молодец, за пятьдесят, а годовалый наследник и, по моим наблюдениям, второго ждут. Что она в нём нашла? Не Аполлон — сами увидите, мат-перемат — тюремная привычка, до денег жадный, как голодный еврей до мацы. А разница знаете какая? Лет тридцать, чтоб не соврать. Бывает такое? Красавица, фигуру на заказ делали, импортный вариант, как глазищи опустит, как ресницами грудь прикроет — всё, любой банкир у ног вместе с банком своим. И что вы думаете? Никому, кроме своего Авдеича! Никому! Уж наши шоферюги, извините за подробности, с разных сторон подъезжали, не рубахи-парни, поверьте — глухо: стоп токинг, как говорят англичане, готтинг ё хянд. Вы по-английски говорите?

— Немного.

— Ну вот, — почему-то не обрадовался заведующий, — а я, дурак, хвастаюсь. Любонька! — он наконец дозвонился. — Это Студнев. Где твой уголовник? Ах вот как, жаль. Ладно, нарисуем что-нибудь. Нет-нет, ничего страшного, не бойсь. Сама как? Ну и слава богу, а то, сама знаешь, население России уменьшается, так что не тяни, будь умницей. Тёзке привет.

Он повесил трубку, скроил на лице удручённость, принял к селектору.

— Раиса! Не понял юмора! Я просил два чистых сосуда! А стакан — это что, уже не сосуд? С ума можно сойти. — Он закатил глаза и сморщил лоб так, что густые брови соединились с остатками волос на голове.

— Теперь слушай, Рая, задача усложняется: позвони в диспетчерскую, пусть найдут на линии Авдеича и срочно ко мне. — Неожиданно он обмяк в кресле и уронил голову на грудь. — Рая, ты устала. Не ты ко мне, а Авдеич. Срочно. Ко мне. Ав-де-ич. Напиши на бумажке. Нет, напиши, я настаиваю. Его ждёт товарищ из МУРа. Написала? Отдыхай.

Он положил трубку на рычаг, набрал в лёгкие воздух и шумно выдохнул, подробно шлёпая губами.

— Сейчас нарисуетя, живой или мёртвый.

Часы на кухне пробили какое-то количество раз, но сколько — Дима сосчитать не успел. Он по возможности незаметно ущипнул себя — всё верно: никакой это не сон и не обморок, а самая что ни на есть примитивная явь — нормальный оборотень. Захотел поговорить, сошёл с фотографии, сидит на диване в ногах. Надоест — исчезнет. Что тут непонятного? Испуг прошёл так же неожиданно, как и накатился.

— Как вы сюда попали?

Вопрос дался Диме не без труда и поначалу поразил подобострастностью интонации, но он тут же похвалил себя: «Правильно. Молодец. Зачем хамить привидению? Оно может обидеться и исчезнуть».

«Привидение» ответило незамедлительно, выражая тем самым готовность к общению на равных.

— Если это всё, что вас интересует, то я вас разочарую: через дверь. Ещё что?

— Через какую дверь?

— Опять же не удивлю: через входную.

— Каким образом?

Человек с фотографии поморщился, укоризненно помотал головой.

— Да. Серьёзно. Переборщили мальчишки. Жаль.

И продолжил громко и раздельно, как говорят с иностранцами:

— Образом самым обыкновенным: открыл дверь, вошёл и уже битый час жду вашего, э-э-э, как бы это помягче выразиться, прояснения, что ли.

Он улыбнулся нешироко, при этом красивое лицо его исказила гримаса и оно стало похоже на морду крольчихи в момент зачатия.

— Здравствуйте, Дмитрий Степанович. Ведь Степанович, я не ошибаюсь? Нет, нет, лежите, лежите, — он решительно пресёк робкую Димину попытку подняться и в знак заботливого участия подложил ему под голову валявшуюся на полу подушку, — я буду говорить, а вы лежите. В вашем положении сейчас самое главное постараться услышать меня и понять. Услышать и понять...

Звук его голоса неожиданно исчез. Остались чёрные в прожилках зрачки, шевелящиеся нити губ, душный запах гниющей кости. «Поляр oid. Дима, включи поляр oid. — Это Женька, её голос. Конечно, её, если так надолго замерло сердце. — Включил?»

Белый квадратик фотобумаги неспешно заполнился цветным изображением.

Сомов!

Только борода и усы. И волосы не чёрные — седые.

Память выбросила мутью...

...«Славянский базар», водка холодной устрицей минует гортань и, вопреки закону земного притяжения, устремляется ввысь. Небольшо чиркнуло спичкой в висках. Захотелось улыбнуться.

— Да-а! Серьёзный напиток. Как называется?

— Название экзотическое, Дима. Вы вряд ли когда-нибудь слышали: «Столичная». — Он расплылся в надменной улыбке, пояснил менторски.

— Согласен, это как «Запорожец» и «Роллс-Ройс». А ведь и тот и другой — автомобили.

Ещё тогда подумалось: «Зачем закусывать? Такой водкой закуску надо запивать, а не наоборот».

— ...нет, не буду вас обманывать, выйти из дела нельзя. То есть, можно, конечно, всё можно. Всё. Только тогда это...

И — пауза. Бог их знает, какими по продолжительности были знаменитые мхатовские паузы, очевидцы в мемуарах утверждают, что до зрительской дрожи в коленях, до нытья гениталий: «Что это с ними? Забыли текст? Поумирали?». На этот раз молчание длилось ровно столько, чтобы можно было успеть заснуть с непотушенной сигаретой в руках, проснуться от возгорания скатерти, вызвать пожарных и щедро отблагодарить их за самоотверженный труд.

Тем не менее Сомов продолжил словесное обеспечение мысли именно с того места, на котором остановился.

— ...будет называться по-другому: не вы ушли, а ушли вас. Согласитесь — это принципиальная разница.

При этом какое-то препятствие стало на пути его дыхания, отчего последние слова, показалось, произнесены другим человеком.

Что-то угрожающее повисло в воздухе, надо было снять возникшее напряжение — растереть похолодевшие вдруг пальцы — и Дима сказал:

— Не хотелось бы думать, что под «уходом» вы имеете в виду... — замешкался, какое слово выпустить?

— И мне не хотелось бы говорить об этом.

Фраза прозвучала именно так. Память Диме не изменяла: «Не хотелось бы говорить об этом». Тогда, три года назад, исчезли все сомнения, сорокаградусный нектар вернул конечностям привычную чувствительность и похмельным утром эпизод вспомнился разве что досадным

недоразумением.

Но теперь вдруг...

Дима видел, как шевелятся губы человека с фотографии, но звука по-прежнему слышно не было... «Не хотел бы говорить об этом».

Го-во-рить!

А делать?

Память продолжала подносить.

... — вы у нас не первый. С предшественником пришлось расстаться. Жадность...

Как «расстаться»? Поговорили и разошлись? Или... Почему тогда в «Славянском» это не пришло ему в голову? Очевидно же: много знающих не отпускают просто так, за здорово живёшь, в благодарность за выслугу лет, а на премиальные может рассчитывать разве что хорошо выполнивший свою работу киллер.

... — был бы рад видеть вас у себя дома, жена хорошо готовит. Мой телефон вы знаете...

— Благодарю покорно, — Сомов улыбнулся, при этом губы углами полезли к подбородку, очернилась щель между передними зубами, глаза замаслились, ни дать ни взять — крольчиха. — Служба не допускает, к сожалению. — Дима собирался опечалиться, но не успел: дёготь зернистой икры свалился с ножа на крахмальную скатерть (три года прошло, а как вчера: чистым ножичком икру в тарелку, по дороге к цели ещё падение, два пятна, как прокуренные глазницы, укором; скорей салфеткой поверх — страусиной логикой изжить неловкость... Как помнится! Избирательность памяти необъяснима. Ещё: вялая желтизна мимозы в хрустале, куропатные ляжки в песочных розочках, славянской вязью «СБ» на приборах...) Тогда он проямлил только:

— Жаль.

— Нет, нет, напротив, второй встречи быть не должно. Пусть эта да будет последней.

И опять двойной смысл фразы удушьем подступил к горлу только сейчас. Тогда, три года тому, подумалось: «Ну не хочет человек светиться, имеет право, почему нет?»

Нависшее над Кораблёвым лицо Сомова расплылось бесцветным

пятном, звук, напротив, возник так же неожиданно, как и исчез...

— Слышите меня? Слышите? Я по глазам вижу, что слышите. Но важно, чтобы вы ещё и поняли: благотворительность — психология нищих, а я человек не бедный. Ваш предшественник ровно за четверть этой суммы развеян по ветру в верховьях Енисея. По его же собственному завещанию сожжён в морге и развеян. За четверть! Я попросил своих мальчиков освободить вас от каких бы то ни было иллюзий на сей счёт: выход из дела исключён, а упорство только подтвердит закон превращения материи из одной формы в другую, в вашем случае — в корм для рыб. Но вы, сдаётся, не утрудили себя заботой поверить в серьёзность предупреждения. Жаль. И если вы теперь плотью на диване, а не пеплом по дороге на Север, а я, вопреки своему правилу дважды не встречаться, всё-таки здесь, у вас в ногах, то это только благодаря моему ничем, правда, пока не подкреплённому подозрению, что на этот безрассудный шаг вы, благоразумный человек, решились не сами. Если так — не всё потеряно. Не разочаровывайте меня — интуиция мой конёк со школьной скамьи, ей я обязан преуспеванием в бизнесе — подтвердите эту робкую догадку, Дмитрий Степанович. Наше пребывание на этом свете столь мимолётно, что жалко дар Божий не использовать по максимуму. — Он замолчал ненадолго. — В реинкарнацию я не верю и вам не советую, да и что за радость взирать на происходящее глазами какой-нибудь инфузории или туфельки?..

Дима давно уже не понимал значения долетавших до него откуда-то издалека слов. Последнее, ударом грома заколотившее уши, было: «Четверть этой суммы пеплом по Енисею».

Ощущение сладостного безмыслия, покинувшее его в последние несколько минут, возвращалось, наполняя плоть невесомостью, воображение — ярким отсветом заходящего солнца, слух — незнакомой хрустальной музыкой. Это была справедливая плата за боль и унижения, которые свалились на него так неожиданно. В природе всегда: да воздастся радостью тому, кто обездолен.

И только четверть суммы в морге Енисея слабеющим магнитом ещё какое-то время соединяла его, Дмитрия Кораблёва, с грубой реальностью.

Скоро он перестал слышать, видеть и существовать.

Всё случилось очень неожиданно.

Убийство произошло именно так, как об этом сообщают с экранов телевизоров: незаметно, буднично, без эмоций, между прогнозом погоды и рекламой средств против перхоти.

Сомов мог поклясться, что не почувствовал боли. Его усадили в неудобное, скрипучее кресло, погасили свет и на невесть откуда взявшемся экране началось цветное движение:

...мать, Эмилия Николаевна, рыдает, уткнувшись в подушку.

— Мама, мамочка, где папа?

— Спи, Витенька, спи, наш папа больше не вернётся, у него теперь другая женщина.

...разноцветные, выше человеческого роста гладиолусы, новенький, блестящий, пахнущий кожей портфель.

... — А твоя как фамилия, мальчик?

— Щукин Виктор.

— Кто твои родители, Виктор Щукин, кем работают?

— Мама врач.

— А папа?

— Папа работает с другой женщиной.

И неожиданный, дружный, пощёчиной с замахом, смех всего класса... В зеркале сплошным фиолетовым синяком лицо незнакомого полуслеплого мальчика.

— Господи, Витенька, кто тебя так?

— Никто, я упал, мама.

...приторный мрак чердака, вязким тестом незнакомое жаркое тело, солёные губы и нетерпеливый девичий шепот: «Ну, что же ты, Витя, ну что же ты, ну, ты ведь этого хотел, ну что же ты, ну, Витя».

...скальпель, бескровно утонувший в мякоти трупа, надвигающийся белыми плитками пол, падающие стены и спокойный, убаюкивающий голос: «Ничего, не он первый, привыкнет, дайте ему нашатыря».

...в шубке из морского котика Нинка.

...Нинка серьёзная, грустная: «Я подумала, Витя, я согласна».

...Нинка весёлая.

...Нинка.

... — Что случилось, Нина?

— Ничего. Я изменила тебе, Витя. Я люблю другого.

...Дмитрий Кораблёв...

...незнакомое с плоским носом лицо.

...направленное на него жало глушителя и грязный ноготь на курке.

Экран внезапно тухнет, остаётся хриплое: «Убери! Ондохлый. Пушку

светить жалко. Я так». «Пальнуть велел!» «Убери, б...дь, сказал. Смотри, как надо».

Чей-то металлический обхват разделил тело на две неравные части: туловище, вдруг волшебным образом переставшее утруждать его, Виктора, своей тяжестью, и собственно голову, в этот момент как никогда отчётливо сознающую уморительную незначительность недавно ещё казавшихся неразрешимыми проблем.

Утрачивая свет, Сомов успел пробежать глазами маленькую заметку в разделе «В номер. Срочно».

ВЧЕРА ОКОЛО ШЕСТИ ЧАСОВ УТРА В ОДНОМ ИЗ СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МОСКВЫ БЫЛ УБИТ 37-ЛЕТНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ЗАДЕРЖАТЬ ПРЕСТУПНИКА НЕ УДАЛОСЬ. ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. ВЕДЁТСЯ СЛЕДСТВИЕ.

Он знал, что это случится.

Почему, собственно, за какие такие красивые глаза он должен отличаться от сонма себе подобных — молодых, расчётливых, энергичных, придумавших порвать с беспросветной серостью нищеты? Всех убивают рано или поздно — так новая Россия понимает условие переходного периода — и ничего тут нет удивительного: если джинна долго держать в бутылке — он или задохнётся, или, оказавшись на свободе, отомстит всем причастным к его заточению.

Вот он и мстит, озверевший в унижении россиянин.

Сомов был готов к этому. В конце концов, какая разница — как уйти? Можно долго мучиться старостью, болезнями, бедностью. А можно по-другому, удавка на шею. Если вдуматься — даже предпочтительнее.

Всё дело — когда?

Нельзя сказать, чтобы сомнения совсем не разъедали его сознание. Часто, особенно по ночам, хотелось жить до боли в костях, до харканья кровью, до хрипа: «Подождите!»

В такие моменты поднесённая к лицу смертная чаша разлеталась дребезгом, гадкая жижа, не касаясь губ, углила землю под ногами.

Но чаще — всегда практически — он отдавал себе отчёт в том, что иначе и быть не может, не видением — явью возникнет половой, лакей — набриоллиненный киллер — и предъявит ему счёт, оплатить который можно только прекращением бытия, а на чай оставить маленькую лужицу крови.

Ему казалось — он был готов к этому.
Но всё произошло слишком неожиданно.

Председатель совета директоров ООО «Досуг» Аликпер Рустамович Турчак пребывал в состоянии крайнего раздражения: электронный настольный календарь позолоченным циферблатом высвечивал цифры 03.05.06; с начала операции пошёл уже третий день, хотя по первопутку на всё про всё отводились сутки, не более; всё говорило о том, что в детально разработанный план закрался сбой, не исключено — смертельно опасный, непоправимый — а телефон, номер которого знали три человека в мире, будь он проклят, вёл себя, как покойник на отпевании. Хотя — нет, всё наоборот, конечно же: именно молчащая чёрная трубка свидетельствовала о возможности провала столь удачно начавшегося предприятия — Аликпер Рустамович любил точность, а логика мышления была его коньком.

Он подошёл к окну, отёрнул жалюзи: Москва ещё не «зажглась», начинающиеся сумерки в поисках некогда прекрасной Манежной площади окутали карликовыми тенями пошлое уродство новостройки. Чёрт-те что делается. Даже ему, уроженцу Северного Кавказа, человеку, в общем-то, достаточно равнодушному к красотам русской старины, понятен срам этого архитектурного убожества. За яйца бы повесил всех, кто хоть как-то причастен к вредительству: и Кремль обосран, и Александровский сад ушёл под землю, и Манеж в говне зарыли. Убийцы. Судить международным судом за геноцид над русским зодчеством.

Слева в груди что-то кольнуло — спицей тронуло нерв, эхом отдало в лопатку. Этого только не хватало. Слышал: именно так — от груди в спину — и начинается. Или ещё: живот скрутит, в поясницу отдаст, а это сигнал: скоро! Только — рановато, кажись. Тридцать пять всего-то, не пожил. Да и зачем тогда все эти муки-волнения? Деньги зачем? Насобирали ведь: аул родных — тысячи аксакалов — десятилетия королями жить могут, подсчитано.

И Люба! Люба как же? Отдать?!

От этой мысли в глазах Аликпера Рустамовича сделалось темно. Люба была смыслом его жизни.

Он вернулся к столу, достал сердечные таблетки, положил под язык. Как всегда после счёта «десять» боль отпустила — значит ничего нового, слава богу, помытаримся ещё, сейчас навалится потная слабость и тогда —

минут пятнадцать неподвижно с закрытыми глазами. Вот так — сел в кресло поудобнее, головой упёрся в спинку.

Эх, Люба! Убей лучше.

Она явилась неожиданно длинноногой плоскогрудой школьницей на коньках под «Брызги шампанского». Он подскользил, тормознул лихо.

— Тебя как зовут?

— Отдыхаешь.

Белая вязаная шапочка, малиновые щёки, синие стрелы глаз...

— Скажи, а то умру.

— Сказала — отдыхай.

Он упал на лёд, звонко ударился затылком.

Через мгновение по катку разнеслось: мальчик умер. Приехала «скорая».

Когда он очнулся, перед ним рядом с сестрой в белом халате стояла голубоглазая девочка. Врач коротким рывком вынула иглу из вены, протёрла ранку ватой, спросила: «Вам лучше?»

Он молчал, упрямо смотрел на девочку. Та сказала:

— Меня Любой зовут.

— Спасибо, доктор, мне лучше, мне хорошо, мне очень хорошо...

— ...ты с ума сошёл, а если бы я не сказала, как зовут?

— Я бы умер.

— Перестань.

— Не веришь?

— Верю, верю, ненормальный. А тебя как?

— Алик.

— Александр, что ли?

— Нет. Аликпер.

— Как?

— Не нравится?

— Почему — нормально. А я не Люба.

— Это неважно. Для меня ты Любовь на всю жизнь...

«Брызги шампанского», отзвучав, затихли в бокале... Аликпер Рустамович взглянул на часы: пять без чего-то. Нитроглицерин сделал своё дело — от былой слабости ни следа. Холодный пот струйками разбежался по телу. Теперь контрастный душ — и хоть на спортивный помост за рекордами.

Единственное, что не давало покоя, — молчащая телефонная трубка.

Он достал из шкафа халат, тапочки, махровую простыню.

Что-то наверняка случилось.

Нужно вспомнить и проанализировать всё с самого начала, пусть в сотый уже раз, от этого теперь зависит слишком много.

Горячие — кипяток почти — иглы струй обожгли спину, кабина вмиг заполнилась мутными комьями пара. Чтобы не упасть, Турчак обеими руками ухватился за поручень.

Так, теперь — по порядку.

Сигнал поступил как нельзя вовремя: «Клиенты встречаются завтра, 30 апреля». Времени на подготовку — жопой ешь, все последние месяцы Аликпер Турчак провёл в низком старте, в полной готовности, так что приди сообщение за минуту — он и тут бы управился. А 24 часа почти — это подарок судьбы.

Всё дальнейшее прошло спокойнее безветренной ночи на кладбище: Гатаров утонул в Москва-реке — до дома не успел добраться. Связника с Казанского (им оказался немолодой интеллигентного вида человек в светлом замшевом плаще) тормознули в «Шереметьево-2» при подходе к вип-залу, отобрали портфель (там потом какой-то дипломат долго озирался по сторонам, нервничал, требовал задержки рейса), повезли в Москву, в районе Химок ему сделалось дурно, лекарство не помогло, его высадили у ближайшей районной поликлиники, где он не приходя в сознание, и скончался на руках у дежурившего в тот вечер перепуганного врача-стоматолога.

Портфель с пачками купюр цвета пыльной придорожной зелени лежит — вон он, в сейфе, в ожидании своей печальной участи: ему предстоит быть сожжённым вместе с нехилым содержимым — такой приговор Турчак вынес сразу же, как только контейнер с деньгами оказался у него в руках. Решил: сжигать будут вместе с Любой в её загородном доме — это должно произвести на неё хорошее впечатление.

— Иначе нельзя, Любушка, не дай Господь бумажки меченые — мало ли какие злые умыслы питают головы удачливых конкурентов — зачем мелочиться? Фраера известно что сгубило. Я тебе сколько скажешь заработаю.

Турчак растёр обожжённые ледяной водой руки, грудь, спину, облачился в халат, с удовольствием ощутил колкий озноб по всему телу. Достал из кармана ненавистную трубку мобильного, положил на письменный стол.

Теперь продолжим.

Итак, цепочка Кораблёв-Гатаров-«интеллигент» — разорвана. Дмитрий Кораблёв «подставлен» по науке, со всех сторон обложен-затравлен, теперь только заходи в круг, бери на мушку и пекишь лишь о том,

чтобы рука не дрогнула. Сомов ОБЯЗАН выйти на «сексота» в тот же вечер, в крайнем случае — утром следующего дня, то есть 1 мая, никак не позднее, если, конечно, не рассматривать вариант, что самая большая мечта его жизни — северные пейзажи через колючую проволоку. Не идиот же он, в самом деле, чтобы оставить всё как есть, не страус, никак нельзя заподозрить — вон какую наладил империю лекарственную с доходами-невидимками. Уж на что Аликпер Рустамович дока — все входы и выходы обнюхал, у каждой норки по капкану поставил — ан и его этот дефолт ё...й чуть до разора не довёл — по сей день неизвестно как выплыть — не захлебнуться. Сомов обязан был выйти на «сексота-предателя» не позднее 1 мая. Кровь из носа обязан: закон российского бизнеса — не успеешь ты — успеют тебя, и он не может этого не знать, ручки-то наверняка отмывать не раз приходилось.

Тут бы они его и «приласкали».

Ан нет. Не выходит и только.

Или его, Турчака, переиграли, или совсем уж что-то непредвиденное случилось.

Он закурил сигарету, щёлкнул кнопкой селектора.

— Не звонили?

— Алик, обижаешь.

— А моя?

— Она через меня никогда, ты знаешь.

— Принеси чего.

Он отключил связь, откинулся в кресле, сцепил пальцы на затылке. Глупо, конечно, это уже нервы, по такому поводу никто через секретаршу звонить не мог, это сто процентов, а если Земля с Луной и поменялись бы местами, что, в принципе, теорией не исключается, то секретарша наверняка уже была бы тут как тут с сообщением в клюве.

Вот уж где повезло Аликперу Рустамовичу: безукоризненный фасад, тыл такой, что у посетителей пуговицы на ширинках отлетают, всё сечёт — не с полуслова даже — достаточно взглянуть коротко; в постелях — университеты за плечами, аспирантуры. Если б не Люба — думать не о чем, от добра добра не ищут. Но... Э-э-эх... Люба, Люба! Наваждение. Удушье. Смерть. Ад. За что казнь такая, мука мученическая, о Господи? За какие дела земные? Неужели больше других грешил?

На столе возник фужер с коньяком и бутылка боржоми.

— Расслабить? — Секретарша платочком сняла с губ яркую помаду, села перед ним на корточки.

«Всё понимает, всё чувствует, — подумалось председателю совета

директоров, — что там твоя собака».

Он, не меняя позы, покорно закрыл глаза, как всегда в такие минуты усилием воли порывая с действительностью и уносясь воображением в счастливое прошлое.

На этот раз Люба явилась ему семнадцатилетней нимфой дымного августа восемьдесят шестого года, ночная Москва — гигантским макетом мёртвого города, они одни во всём мире. Глубина плохо освещённого подъезда. Его пальцы, преодолевая лёгкое сопротивление, с фанатичностью скульптора изучают анатомию её почти бесплотного тела. Она улыбается, старательно пряча дрожащие от желания губы. Шёпот кажется запоздалым, случайным, лишним...

— Не надо, Алик, не надо...

— Пойдём, любовь моя...

— Я не твоя любовь...

— Пойдём, Люба...

— Я не Люба...

— Пойдём...

— Не надо, Алик...

Слова постепенно утрачивают свой первоначальный смысл, уступая место нечленораздельному бормотанию. Затем на какое-то мгновение всё затихает, останавливается, лишая обоих подножной тверди, и наконец короткое, хриплое, извлечённое откуда-то со дна женского чрева: «Пойдём!» опускает их на землю.

Запрокинутое лицо. Разлившийся ужас глаз. Рот, застывший готовностью крика. И вязкая, почти не ощутимая топь вожделенного обладания.

Люба!!!

Резко зазвучал телефон.

Турчак, не отстраняя вошедшую в раж секретаршу, схватил трубку.

— Да!

— Алик?

— Что случилось?

— Всё в порядке. Его нету.

— А этот... артист?

— В отключке он. Как велел — придушили.

— Долго почему?

— При встрече.

— Жду.

Часы показывали семь минут шестого. Наконец-то! Гора с плеч. Есть

всё-таки Аллах, существует, что бы там ни говорили, и — честь ему и хвала — бережёт пока своих верных послушников. Теперь о разоре можно забыть — ещё несколько несложных телодвижений и налаженный сомовский бизнес вознесёт его, Аликпера, в очень серьёзные сферы.

Вот она, Джомолунгма!

Сейчас надо оставить все проблемы, вдохнуть полной грудью и постараться максимально щедро отблагодарить безотказную искусницу-секретаршу за проявленное долготерпение.

Шофёр Авдеич по просьбе Мерина вёз его тем же маршрутом, что и два дня назад странного пассажира: Бережковская набережная, затем через Красную Пресню на Шмитовский и далее в Тёплый Стан. Маршрут нелепый, долгий и дорогой, таксисты обычно такие любят — едешь себе, а счётчик тиканьем заходится — что твой кенарь. Не надо торчать на вокзалах и, рискуя получить под дых, расталкивать конкурентов. Пару таких ездов за смену — и план в кармане. Но сегодня случай особый: этого мента завгар посадил. С линии, сука, вынул и посадил. «Вези, — говорит, — куда товарищ скажет». А «товарищ» этот вот такую х...ю залепил: «Тем же маршрутом!» Во, б...дь, ещё чего доброго замажут за здорово живёшь, обвинят в соучастии — отмывайся потом. Было ж предчувствие: не сажай того побитого, криминал, без очков видно. Так нет, позарился, крохобор ё...й, на длинный рубль понадеялся.

Рубль, он и впрямь, не короткий вышел, грех обижаться, но кто же знал, что всё так обернётся. С уголовкой дело иметь — никаких денег не надо. Вози вот теперь полдня этого молокососа, жги бензин за свои кровные. Одна задача: всё как на духу рассказать, без утайки, может, пронесёт.

И Авдеич старался как умел.

— Вот здесь я его взял, на травке нежился. На руках до машины донёс, жалко было — весь побитый на х...й — от души, видать, с ним товарищи поговорили. Всю обивку на х...й кровью залил, двадцать баксов убил, чтоб пятна вывести. В гараже у нас химчистка, говорят: «Полкуска обменяй на зелёные и приезжай». А за что на х...й? Порошком каким-то посыпали, тряпкой поводили и феном для головы погрели — всё на х...й! И полкуска! Я что — их ворую? Я за них на дорогах этих ё...х два часа жопу надрываю, а они десять минут — и полтыщи. Во жучки! А фамилия знаешь как? Не

поверишь: Рабиновичи! Во, б...ди, ничего не боятся. Два брата химчистку на х...й открыли и процветают, у них очередь — сейчас без крови дня не проедешь. А если не через кассу, так они, суки, десятикратно. Тачки себе импортные купили, без выходных работают, без перерывов, мацой обедают, б...ди, сам видел. Ну — это люди? Вот куда уголовку-то надо! Только у них всё схвачено на х...й. Завгара видел? Тоже Рабинович, только фамилия русская. У них в чистке в доле стоит...

Мерин долго не прерывал разговорчивого шофёра, очень на него рассчитывал — свидетель, как выражаются следователи, «толстый», многое поведать может, если, конечно, не замазан.

Наконец зацепился за паузу.

— Скажите, — как можно вежливее прервал он водителя, — вы говорите, он у обочины лежал. Лёжа голосовал, что ли?

Шофёр посмотрел в сторону пассажира, какое-то время соображал, о чём его спрашивают.

— Да какой голосовал, говорю — лежал на газоне в отключке, я ему на руках помог, сначала думал пьяный, смотрю — нет, вроде, не принявший, а то ещё всё заблюёт — Рабиновичи не помогут...

— И что, в самом деле пятьсот рублей через кассу? Это ж грабёж.

— Ну, а я о чём? — Водитель заметно оживился. — Своими бы руками бесплатно в Бутырку отвёз с конфискацией имущества...

— И через кассу, официально?! — Мерин почти искренне выглядел потрясённым.

— Ну! Без кассы-то они на тысячи разговаривают и то носы свои горбатые воротят: «Рублями не берём, зелень неси». Не б...ди? — Авдеич вдруг осёкся, помрачнел. — А ты проверь, в кассе у них всё записано, два дня назад было, чек имеется...

— Да нет, нет, зачем, я верю, что вы, просто сумма уж больно нелепая: мне значит в месяц всего пятнадцать пятен можно вывести и то неполных. Ладно, проехали. И как он выглядел?

— Кто?

— Потерпевший.

Шофёр усмехнулся, досадливо качнул головой.

— Тебя как зовут?

— Сева.

— Х...во он выглядел, Всеволод. Очень х...во. Стонал всю дорогу и отключался. Я спрошу чего — молчит на х...й, только: «Потише ехай» просит. А чего потише — тише потока не поедешь...

— Я спрашиваю — внешне как? Брюнет? Блондин? Высокий?

Старый? Худой?

— Да ведь как сказать? Для тебя лет тридцать — старый, для меня полтинник — мальчишка. Высокий — не мерил, не знаю, он, говорю, всё больше лёжа. Волосы, если от грязи да крови отмыть, могут и светлыми оказаться...

— А одет был как?

Шофёр опять надолго задумался, Севе даже показалось, что он не расслышал вопроса.

— Я говорю — как он был одет?

— Слышу. Думаю вот — как ответить. Я его, Всеволод, в третий раз повторяю, лежащим на газоне застал в луже, одежда была уже, будем откровенны, несвежая, не выглаженная, думаю, лучше на х...й новую купить, эту не восстановишь. Хотя сейчас такие Рабиновичи развелись...

— В плаще? В костюме? В свитере? Может быть, в рубашке? Поймите, мне важна каждая мелочь.

Сева чувствовал, как в нём опять закипает злость, ну почему все разговаривают с ним так снисходительно? Что ему — бороду что ли в самом деле клеить, как посоветовал однажды Трусс под дружный хохот подвыпивших сотрудников: «Своя-то когда ещё вырастет — все преступники разбегутся». Почему все норовят оттачивать на нём своё сомнительное остроумие? Вот и этот туда же.

— Рубашка была, это точно. На ней пиджак. Или свитер. Или фуфайка. Не скажу точно, потому всё к тому времени в одном цвете слилось.

— А брюки...

Авдеич не дал ему договорить, хохотнул.

— Брюки были, как сейчас помню.

Мерин закрыл глаза. Он почти физически почувствовал, как кровь в жилах останавливается, меняет направление и предательски устремляется к лицу. Сейчас только этого не хватало.

— Простите, вас как зовут?

— Георгием.

— А по отчеству?

— Я водила, Всеволод. Жорой называй.

Вот и здесь подножка: ну как он может этого ветерана первой мировой называть Жорой? Хорошо, что заранее узнал отчество.

— Я почему так подробно интересуюсь? Мне действительно всё важно, всё может пригодиться, понимаете? Вдруг вы случайно запомнили что: костюм, галстук, брюки — это одно. Джинсы, куртка, кеды — другое, в них не всюду пойдёшь, в гости, например, в театр. — Он скосил глаза на

шоферюгины ноги и после небольшой паузы продолжил. — Вот вы сейчас, могу спорить, в старых стоптанных мокасинах, рабочая смена — сутки, ноге должно быть удобно и не жарко. Я прав?

— Ну?

— И куртка на вас выдавая виды, но удобная, широкая, движений не стесняет. Потому как — на работе. На мне вон тоже брюки не выходные, плащ не от Кардена — юбилей могу справлять — пятый год ношу. А если б на свидание, например, шёл или там в гости — я бы по-другому оделся. Правда? Потому и спрашиваю, вдруг заметили чего — пусть глупость какую на первый взгляд, мелочь, а она потом всплывёт и самой важной окажется. А кто навёл? Георгий Авдеевич, шофёр экстра-класса с сорокалетним стажем навёл. Будьте любезны премию отслонявить, материальную, так сказать, благодарность.

Он замолчал.

Расчёт оказался на удивление верным: «жадный, как еврей до мацы» Авдеич на денежное вознаграждение клюнул. Это чувствовалось по тому, как в мучительном желании продолжить разговор задвигались его уши.

— Ты откуда про сорокалетний стаж знаешь? — небрежно поинтересовался он.

— Так я ж в МУРе работаю, Георгий Авдеич, Московский Уголовный Розыск — и всё с большой буквы — у меня профессия такая: наблюдать и запоминать. А так — кому я нужен в мои-то годы? Выгнали б давно под зад коленом: иди играй в казаки-разбойники. Я ведь, Георгий Авдеич, ещё много-гое знаю. Живёте вы напротив своего парка таксомоторного, окна как раз на ворота смотрят, до работы — шаговая доступность. Жену Любой зовут. Красавица. Женились недавно, первая не дождалась, когда вы срок мотали. Правильно?

Всё это Сева произнёс с грустным выражением лица, как бы не кичась особенно и не скрывая ниспосланного ему свыше дара. Мол, не было у меня беззаботной юности, не гонял со сверстниками мячи по задворкам, с молодых ногтей на страже Родины. А виной тому — талант, будь он трижды неладен.

Шофёр, подобно ученику, сдающему экзамен по вождению надменному гаишнику, вцепился в баранку, устремил недобрый взгляд в убегающий под колёса асфальт.

— Ну, дальше.

— А что дальше? Дальше — больше. — Мерин поймал кураж, его понесло: игра под названием «Ванга» началась удачно. — Родились в Сибири, в 48-м, после армии — большегрузы на стройке, там же

познакомились с первой женой, её, кстати, тоже Любой звали. Из напитков предпочтение отдаёте русской сорокаградусной, вернее — отдавали, потому как теперь в завязке, а было время — без самоограничения, сколько войдёт. На Книгу Гиннеса тянули. Сейчас пивком балуетесь умеренно. Курить недавно бросили — это когда наследник родился — чего не сделаешь для любимой женщины, а курил со школы, лет сорок, кажется, поправьте, если ошибаюсь.

Мерин помолчал, предоставляя водителю возможность переварить полученную информацию.

Тот, бледный, напряжённый — только что головой не упираясь в лобовое стекло — молчал. Демонстрация ментовской осведомлённости превращалась для него в экзекуцию.

В салоне машины повисла зловещая пауза.

Всё говорило о том, что пора менять тактику и плавно, на излёте доказательства всемогущества уголовного розыска переходить к пожинанию плодов, но Мерин не мог остановиться.

— Срок отсидели за наезд от звонка до звонка. Спасибо, слух о смерти больного, как говорится, оказался преувеличенным, а то загремели бы на полную катушку.

Георгий Авдеевич, очевидно, что-то произнёс, какую-то фразу, губы его зашевелились, но звук заглушил рокот мотора.

«От волнения, — решил Мерин. — Ещё немного и клиент в кармане». Он повальяжней устроился на сидении, закинул ногу на ногу.

— Ну что ещё сказать? Ждёте прибавления. Событие не за горами, так что дай бог, чтобы всё обошлось. Впрочем, бытует мнение: девочек рожать проще, они покладистее.

Со второй попытки Авдеечу удалось озвучить фразу гортанным шепотом, но на этот раз подвела дикция, так что Мерину пришлось переспрашивать.

— Я не понял, простите, что вы сказали?

— Я сказал... спросил. Я спросил, как зовут?.. Моего сына?

Сева аж подпрыгнул от радости: вот это подарок! Он картинно погрузился и опустил голову — мол, можно было проще, да некуда.

— Вашего сына, Георгий Авдеевич, зовут Яковом. Яковом Георгиевичем. Но вы напрасно до сих пор переживаете: Яков — исконно русское имя. Так звали одного из апостолов, так зовут, вернее, звали и отца вашей Любы.

В карточной игре «очко» это называется «перебор». Шофёр со всей силы ударил ногой по тормозной педали, всем корпусом повернулся к

пассажиру и двумя руками вцепился ему в грудки.

— Говори, гад, за что разработал? Убью, сука.

На шутку ситуация никак не тянула.

Сева попытался разжать упёртые в горло кулачищи — нет, ноги не держали опору, он полулежал на сидении — нападение случилось слишком неожиданно. Противник навис над ним всей мощью своего корпуса и напоминал в этот момент одну из знаменитых чугуновых фигур скульптора Манизера, украшающих интерьер станции метро «Маяковская». Именно так в эпоху социалистического реализма художники изображали пролетарскую ненависть. Надо было срочно что-то предпринимать, хотелось дышать, а воздуха для поддержания жизнедеятельности явно не хватало. Мерин из последних сил вцепился в металлические запястья водителя, прохрипел сквозь зубы в его подёрнутое злобой лицо:

— Не валяй дурака, Георгий, статья называется «оказание сопротивления правоохранительным органам», от двух до пяти. Припаркуй машину, я всё объясню.

Интонация «Железного Феликса», очевидно, удалась, потому как ждать себя таксист не заставил — с тем же остервенением, с каким только что набросился на пассажира, он крутанул руль и не глядя по сторонам устремился к тротуару. Вокруг неистово загудели, заскрипели тормозами, заматерились водители.

— Ну?! — выдавил он, когда машина ткнулась колёсами в бортовой камень тротуара и заглохла.

— Что «ну»? Ну! Никаких разработок и в помине, бабушкой клянусь. Сдался ты мне...

Сева не стал заканчивать мысль: гроза ещё не миновала. Он осмотрелся по сторонам, опустил боковое стекло, поправил на себе одежду.

Грудь побаливала — озверевший водила вместе с плащом, похоже, повредил и грудную клетку.

— Что вас так взъярило? — Чуть успокоившись, он снова перешёл на «вы». — Что непонятного? Всё же ясно, как божий день. То, что водку любым другим жидкостям предпочитаете — это на вашем лице написано, тут не надо быть Шерлоком Холмсом — за свою жизнь выпили, небось, столько, что не переплывёшь. А недавно бросили — тоже очевидно, у всех завязавших нервы не в порядке. Вы нервный. Посмотрите, что с плащом сделали! — Сева тщетно пытался приладить на прежнее место оторванный воротник. — Курить бросили — тоже ясно: во-первых — час уже не курите, табличка вон «не курить» висит, а во-вторых: или пить-курить-гуляй-не хочу, или молодая жена и дети маленькие, одно из двух, третьего

не дано, вещи эти несовместные, как сказал поэт. А что курили с детства — так покажите мне пьющего, прошедшего к тому же зону, шофёра, который табаком не закусывает. Пальцы вон ещё жёлтые. А что зону отработали — на руке написано, сами себе пожизненную печать поставили: 48 — это год рождения, Г. А. Д. — инициалы, что тут непонятного. Фамилия ведь на «Д» начинается?

Мерин закатил длинную паузу. Молчание Авдеича подтверждало правоту его умозаключений. «Бьюсь об заклад: или Дубов, или Дуров, или — был такой в своё время в Сибири знаменитый хоккеист Дураков. Интересно, как его в детстве дразнили».

Вслух он сказал:

— Голову даю на отсечение — на «Д». А рядом соболек татуированный примостился: нижнетагильская мета «сибирского братства», я эту их азбуку специально изучал, профессия, повторяю, обязывает. «Люба» вон на левой руке в сердечке, я что — идиот — не понять? А что не дождалась — так кто ж бросает дождавшихся-то да молодых заводит? Дождавшимся до самой доски гроба поклон да любовь — это не я придумал. Ну?! Что ещё не так? Большегрузы на стройке? Так посмотрите, как вы руль держите? Так «Волгой» управлять может только тот, кто десятитонные КраЗы водил, никому другому в голову не может прийти эдак баранку вертеть. А что срок за наезд мотали — дураку опять же понятно — вас ведь все обгоняют, вы как на свои похороны — тише едешь — дальше будет. Это рефлекс, приобретённый от страха, пожизненный теперь, скорость превысить вас теперь под дулом не заставишь. Пива вон две банки в дверном кармане — значит, после работы пивком всё-таки балуетесь. Обручальное колечко новое, блестящее, незамутнённое, непоцарапанное — женились недавно. Один раз вы уже обожглись, против женского пола затаились, так что на брюкву какую-нибудь размениваться не стали бы, это очевидно. Значит — молодая, собой хороша, они все в этом возрасте ещё молью не тронуты. Так? Так.

Мерин окончательно пришёл в себя и теперь с удовольствием подделывался под манеру речи подвыпившего Трусса.

— Пойдём дальше. Что ей от вас нужно? Денег вы за жизнь вряд ли накопили, не олигарх — очков не надо; лицом, извините, не херувим, да ещё сильно пивший нехерувим; университеты или там консерватории тоже за вами не просматриваются. Значит что? Значит любовь — другого не придумаешь. А она, как известно, зла... От неё дети рождаются. И, как правило, первыми мальчики, если разница в возрасте и брак по любви — так говорит статистика. А вторыми, опять по той же статистике — девочки,

а если шестой десяток — от 2006-го отнять 48-й — будет пятьдесят с хвостиком — надеюсь, знание мною арифметики вас не удивляет? — так вот, если шестой десяток, то тянуть с этим делом — имеется в виду рождение девочек — опасно, можно и не успеть. Вот я и предположил, что вы ожидаете прибавления семейства. Пред-по-ло-жил, не более того, и не виноват, что оказался прав. Ну? Всё?

Краем глаза Мерин видел, как постепенно вянет, оседая в кресле, этот надутый страхом человек. «Как проколотое гвоздиком колесо. Конечно, лагерь даром не проходит. Ничего, сейчас поменяем на „запаску“ и дальше поедem друзьями».

— Всё? Георгий Авдеич? Или на карте ваших сомнений остались ещё белые пятна?

Эту фразу Сева вычитал недавно в каком-то подсунутом бабушкой детективном романе, тогда она показалась забавной: следователь такой вычурной метафорой пытался перевести разговор с обвиняемым на юмор и это ему удалось: «По глазам бандита пробежала улыбка», — свидетельствовал автор.

Но то, что литературные коллизии нежизненны, а попытки перенести их в реальные обстоятельства обречены на провал, Сева понял сразу же, как только закончил злополучную цитату. По глазам «бандита» если что-нибудь и пробежало, то назвать это улыбкой было бы большой натяжкой.

— Не играю я ни в какие карты, так и знай. И тебе не советую.

Авдеич аккуратно вырулил на проезжую часть (Сева тут же поставил это себе в заслугу, значит удалось-таки успокоить взбесившегося молодожёна) и ловким маневром вписался в поток.

— Откуда знаешь, как сына зовут?

Слова прозвучали откровенно примиряюще после долгого упрямого молчания, в течение которого Мерин разными способами, увы — тщетно — пытался вывести шофёра на разговор. Казалось, противник устал, подавлен и только отсутствие ответа на этот самый важный вопрос мешает подать сигнал капитуляции.

Мерин оживился: нельзя было ударить в грязь лицом.

— Георгий Авдеич, согласитесь, не хочу сказать, что вы антисемит, но по моим наблюдениям лиц еврейской национальности вы не жалуете, верно? Это читается по вашему отношению к братьям Рабиновичам. Не будем касаться существа вопроса, хотя многое можно сказать по этому поводу, сейчас дело в другом. Завгар в разговоре с Любой по телефону поинтересовался, как поживает его тёзка. О ком могла идти речь, если учесть, что лицо Якова Семёновича расплылось при этом в умиленно-

идиотской улыбке? Не о соседе ведь, правда? Значит выходит невероятное: вашего сына зовут Яковом. Как это могло случиться, если вы убеждены (а это, кстати распространённое заблуждение), что Яков — еврейское имя? Никак не могло случиться! Никто не смог бы вас уговорить, даже под угрозой расстрела, назвать первенца Яковом, кроме... Кроме женщины, для которой вы готовы на любые жертвы. А той зачем понадобилось упорствовать, играть вашими национальными чувствами? Только в единственном случае: имя это ей дороже всех других вместе взятых. Поэтому я и предположил, опять-таки — пред-по-ло-жил: так звали отца Любы. Она его обожала, он ушёл из жизни, не дождавшись внука. Ведь он умер?

В течение этого монолога шофёр, казалось, начисто забыв о дороге, долго, не мигая смотрел на пассажира. Потом с коротким зычным смешком мотнул головой так, что в переводе на русский язык это могло означать только одно: «Ну ты даёшь на х...й!»

— А Яков точно русское имя?

— Точно, можете не сомневаться.

— Значит слушай, парень. Одет он был в джинсовый пиджак, светлые брюки, белая рубашка. Всё в грязи. На руке часы «Роллекс».

Сон оборвался неожиданно, как всегда на самом интересном месте: Женька, заgrimированная под леди Макбет, заносит над ним нож, но вместо того, чтобы вонзить в него сверкающий клинок, наваливается всем телом и смыкает вдруг непомерно выросшие зубы у него на горле. Боли нет, только липкая горячая кровь заливает лицо, дышать становится трудно, он вырывается из мёртвых объятий, кричит: «Так нельзя, что ты, с ума сошла? Это же я, Дима Кораблёв, так нельзя, Женька!», но голос тонет в общем стоне невидимого хора. Где-то совсем близко, над самым ухом скрипло лает собака. Вспугнутая ею стая птиц оглушает пространство яростным, постепенно затихающим рёвом, уносящим с собой странный ужас шекспировской реальности.

Он открывает глаза. Связь времён обрывается.

Что это? Что?!

Пронзительная тишина Нинкиной кухни: стол, газовая плита, холодильник «Север» с магнитными нашлёпками...

В центре в кресле — склонив голову набок и уперев неподвижный,

удивлённый взгляд себе под ноги — Сомов.

За ним — рукой можно дотянуться — Енисей разлитой ртутью, неохватное глазом побережье и ни души, ни звука. И только его, Кораблёва, прах искусственным змеем над мертвящей монотонностью речной ряби.

Господи, что это было?

...обострённый покалечением слух вырывает из тишины всхлип открываемой входной двери. «Нинка! Как вовремя! Она всё объяснит».

Сомов оглянулся поздно. Двое ворвавшихся навалились на него всей своей многопудовой тяжестью, тупым ударом в висок, обмякшего удержали в кресле. Третий неласково укутал Кораблёва подушкой, мускулисто прижал к дивану.

— Не задохни, п...да, жопы не унесём.

— Не боись. Делай.

— Не задохни, сказал! Дыхнуть дай.

Подушку приподняли вовремя — лицо под ней подёрнулось синевой.

Затем тихо раздалось непонятное: «Убери, я так. Он дохлый. Пушку жалко». «Велел пальнуть». «Убери, сказал, б...дь! Смотри, как надо».

И через недолгую паузу: «П...ц, понял?! Валим!». «Звони!». «Скорая? Диктую адрес. Тёплый Стан, Берёзовая аллея, 16, квартира 20. Записала? Похоже, тут мужик с концами. Давай».

Торопливая дробь убегающих ног. Выстрел захлопнувшейся двери... Кораблёв сжал непонятно как оказавшуюся в руке телефонную трубку, набрал две цифры.

— Приезжайте срочно, человек умирает. Срочно!

Дальше — он устал удивляться — опять произошло непонятное: не было почечных гематом, открытых черепных ран, сотрясения мозга; не было переломанных рёбер, выбитых суставов. Ничего этого не было!

Он встал на ноги, прошёл в спальню, достал из платяного шкафа стерильную белую рубашку, светлые брюки, джинсовый пиджак. Ботинок и носок не нашёл, возвращаться в кухню не было сил. «Пусть будут тапочки, какая разница. Хорошо — не белые».

Телефонная трель испугала, нарушила равновесие — его качнуло, он ухватился за что-то, стиснув зубы, невероятным усилием воли вернул стены, потолок, пол в прежнее положение. Нагнулся к тумбочке, вынул из «Зефира в шоколаде» несколько сотенных бумажек. В коридоре оглянулся: в кухне под острым углом по отношению к полу в безукоризненно чистых ботинках замерли ноги Сомова.

И в тот же миг щёлкнул затвор поляроида. Протяжный металлический

всхлип вытолкнул глянцевый квадратик картона. Размытые, незнакомые, чёрно-белые лица... Ну же! Ну!!

Стоп.

Господи, конечно! Как же он тогда не узнал?

Свадьба. Их с Женькой свадьба. «Скорая помощь». Ватага студентов-медиков. Среди них — Нинка (именно в ту ночь он впервые оказался в этой квартире), а рядом с ней... Сомов. В «Славянском базаре» его лицо показалось знакомым, но память дала осечку. А сейчас. Значит Сомов и Нинка...

Его опять качнуло, на этот раз спасла ручка входной двери.

Значит Владимир Сомов и Нина Щукина...

Значит Нина и Сомов... Сомов и Щукина...

Какая-то мысль, сверкнув было обнадёживающим лучиком, забуксовала без всякой надежды на продвижение.

Он ступил на лестничную площадку, вцепился в холодную ржавчину перил. Пять этажей вниз. Десять маршей! Бездна! Лифта в доме нет — он это знает достоверно. Не осилить до смерти. Всё. Конец.

Но ведь и то, что с ним произошло в эти несколько дней (кстати — сколько?), реальностью не назовёшь.

Нечто бесшумное окутало его чернотой клетки, подняло, остановив сердце, унесло в пустоту.

— Вам плохо? — Это он услышал, выходя из подъезда.

— Всё в порядке.

— Не скажете, двадцатая на пятом?

— На пятом.

Перед домом стояла легковая машина с красной полосой и крестом на боку. Водитель читал газету. Дима нагнулся.

— До центра не довезёте?

Тот откликнулся не сразу, дочитал абзац, сказал вяло:

— Пошёл на х...й.

Следующая машина была без креста, чёрного цвета.

— Мне в центр.

— Сколько?

— Как скажете.

— Пятьсот — не обижу?

Кораблёв затащил на заднее сиденье чужое сопротивляющееся тело, хлопнул дверцей и назвал адрес.

— Я до сих пор не могу опомниться, у него глубочайшее сотрясение мозга, почти не совместимое, не совместимое... — Она никак не решалась закончить фразу, — не совместимое, понимаете? Любое резкое движение может закончиться трагически.

Нина морщила нос и растягивала губы в стороны, издавая при этом звуки, похожие на сухой кашель. Если бы не сметённые неммым вопросом с остановившимися зрачками глаза, можно было подумать, что она смеётся.

Мерин нашёл её без труда, новоявленный знакомый, почти друг (при расставании дело едва не дошло до объятий) Георгий Авдеич указал подъезд, в ЖЭКе выдали список жильцов. Девятнадцать квартир занимали многодетные семьи, в однокомнатной на пятом этаже была прописана одинокая молодая женщина Нина Ивановна Щукина. Понятно, Мерин начал с этой квартиры и не ошибся. (Хотя будь рядом Анатолий Борисович Трусс, он бы сказал: «Редкому детективу удаётся без долгих, мучительных раздумий найти столь безукоризненно верное решение. Нечеловеческая интуиция, граничащая с наитием, природная смекалка подсказали ему единственно верный путь и освободили от преступной в этих условиях траты времени на бесплодное хождение по этажам».)...

— Утром ещё он был без сознания. Я звонила с работы — никто не поднял трубку, и вдруг... Я теряюсь в догадках...

Они стояли в тесной прихожей Нининой квартиры. Сева понимал, что его вторжение незаконно и боялся потерять очередного свидетеля. Хозяйка, похоже, находилась в некоторой прострации или весьма искусно имитировала состояние близкое к обмороку.

— Когда он к вам... Он сам пришёл?

— Да. Я открыла — он лежит.

— Вы сказали — без сознания.

— Да, вчера. И сегодня.

— Когда это случилось?

— Что?

Мерин неотрывно смотрел на неё.

— Когда?

— Вечером, 1-го.

— Вечером — это...

— Часов в 10.

— Он позвонил в звонок?

- Да.
- Сам?
- Да. Не знаю.
- Он был один?
- Да. Не знаю.
- И что?
- Открыла — он лежит.
- Без сознания?
- Нет. Стеноз наступил позже.

Она неожиданно согнулась, как бы кланяясь незваному гостю, потом стала медленно выпрямляться.

- Он что-нибудь сказал вам?
 - Да. Что упал.
 - И всё?
 - Что жену убили.
 - Убили? Или умерла?
 - Убили. Последние слова: «Не ве... не ве...»
 - Чьи слова?
 - Её.
 - Не ве?
 - Да.
 - Что это значит?
 - Не знаю.
 - Вы когда вернулись домой?
 - Полчаса назад, было без пяти час, у нас обеденный скользящий, я на «скорой» работаю... В кухне всё перевёрнуто — Дима так не мог...
 - Вы пришли домой — дверь была закрыта снаружи?
- Она смотрела на него невидящими глазами.
- Нет, открыта.
 - У кого ещё есть ключи от квартиры?
 - Ни у кого... То есть... Да нет, у меня только.
 - Вы никогда не теряли ключи?
 - Нет.
 - С кем вы говорили перед моим приходом? — Нина подняла голову.
 - Перед вашим приходом?
 - Да. Вы, перед тем как открыть, положили телефонную трубку.
 - В общем — да, положила, я хотела... я звонила... — Она качнулась.
- Почему вас это интересует?
- Как вы думаете — сам он мог выйти из квартиры?

— Это исключено, что вы, он был ещё слишком слаб.

— Почему вы говорите «был»?

— Потому что он... то есть... Нет, я не знаю.

Чтобы не упасть, она сделала шаг назад, прислонилась к стене, одной рукой ухватилась за висевший на вешалке плащ.

— А что, вы думаете...

— Думаю, думаю, Нина Ивановна, думаю и пытаюсь достучаться до вас. Мы теряем очень много времени. Если он не мог идти сам, значит ему кто-то помог. Кто? Кто знал, что он у вас?

Нина закрыла глаза, слегка мотнула головой.

— Никто. О наших отношениях не знает ни одна живая душа.

— А я? Как же, вы думаете, я узнал, к вам приехал?

Мерин снисходительно улыбнулся. Нина ответила долгим непонимающим взглядом: «Действительно, как?»

— Вы — милиция.

— Милиция, верно, но кроме милиции ещё пол-Москвы знает. Все ваши соседи, уж поверьте, друзей-родных обзвонили: в наш дом Дмитрий Кораблёв к любовнице ходит. Те — своим родным-друзьям. И пошло-поехало, и что было, и чего не было. А то вы не знаете, как это бывает?

— Не знаю. Правда. — Нина выглядела подавленной.

— Ну так всё-таки: кому вы звонили?

— Когда?

— Перед моим приходом. Вы посмотрели в глазок, вернулись, положили трубку и только после этого открыли дверь.

— Откуда вы знаете?

— Кому?

— Звонила нашим общим знакомым с Димой... Моим знакомым...

— Нина Ивановна, я спрашиваю: ко-му? Дмитрий Кораблёв подозревается в убийстве своей жены. Его разыскивают. Два дня вы его скрываете у себя в квартире, теперь он исчезает, вы не отвечаете на мои вопросы. Поверьте, дело гораздо серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд.

— Я отвечаю.

Она протянула перед собой руку, как бы ища опору, и не найдя, цепляя воздух, опустила на колени и упала бы — он едва успел обхватить её узкие плечи.

— Спасибо. Пойдёмте на кухню, у меня ноги...

Он усадил её в кресло, сам примостился на диванчике.

— У вас есть аптечка?

— Спасибо, ничего не надо, со мной это бывает — нервы. Я Виктору звонила.

— Виктор — это...

— Виктор Щукин, мой бывший муж, его нет дома, я говорила с его мамой.

— Щукин с Кораблёвым как-нибудь пересекались?

— Нет, что вы. Он бизнесом каким-то занимается. Никогда не пересекались. То есть... видите ли... А впрочем... Мы расстались с ним, когда появился Дима. Пять лет уже.

— Они были знакомы?

— Кто? А-аа, нет. Виделись один раз всего. На свадьбе у Димы. Но Дима его не знал...

Нина замолчала надолго, видимо, что-то вспоминая. Потом спросила по-детски просто, но с такой мольбой в голосе, что у Мерина сжалось сердце.

— Можно я не буду говорить?

Какое-то время они сидели неподвижно: он предложил ей ребяческую забаву — «гляделки» — кто кого переглядит не мигая. Веснушчатый вихрастый мальчик жёг взглядом смертельно уставшую, годящуюся ему в матери женщину. Дуэль продолжалась недолго, она сдалась, опустила голову, загордилась упавшими на лицо волосами.

Мерин встал и не проронив ни слова направился к выходу.

На столе осталась его визитная карточка.

— ...Конечно, это всё только мои предположения, но другого пока нет, Юрий Николаевич.

Мерин, вальяжно расположившись в кресле, уже больше часа донимал начальника своими гипотезами.

— Сегодня третий день? — Скоробогатов решил не задавать вопрос напрямую — зачем портить мальчишке хорошее настроение. Он поди и сам понимает, что топчется на месте.

— Третий, Юрий Николаевич, завтра похороны Молиной, если что возникнет — пришьём к делу. Но не думаю, картина и без того складывается достаточно ясная: тринитроцианид, яд пролонгирующего действия — это мне вечером, не сомневаюсь, Анатолий Борисович подтвердит, он хирурга допрашивает с козырным тузом за пазухой —

разрешением на повторное вскрытие — куда ж тому, бедному, деться? А где взяли — препарат редкий, почти недоступный — тоже не секрет, она у меня, Юрий Николаевич, на «Скорой помощи» работает. Так-то вот. Вчера, кстати, подала заявление об уходе, что тоже оч-ч-чень не случайно, об этом чуть позже, можно?

— Да можно-то можно, знаешь, который час?

— Я понял, закругляюсь. — Сева действительно хотел перейти к главному, но его «несло». — Она, Юрий Николаевич, эта Щукина, видели бы вы, чуть в обморок не упала — не ждала меня, — еле успел подхватить. Прав Шекспир, мудрый был старик: такой театр закатила — наш Яшка отдыхает — Ермолова! Лицо белое, руки дрожат, голос с придыханием — вот-вот разрыдается...

— А губы?

— Что губы?

— Губы тоже дрожали?

Мерин не уловил подвоха.

— Губ у неё не было, Юрий Николаевич, совсем не было, с лицом смешались, тоже мелом намазанные. Я даже в какой-то момент чуть не купился, помрёт сейчас и пиши пропало. И главное — молчит, зараза, воды набрала и молчит. А я что могу — не допрос ведь, прав не имею. С одной стороны зайду, с другой — ни слова. Ну ни-че-го! — Мерин коротко вытер об штаны вспотевшие ладошки. — Завтра к Труссу с официальной бумажкой явится. Анатолий Борисович любит с женским полом разбираться.

Он хохотнул нарочито скабрёзно.

Скоробогатов встал, подошёл к окну, только здесь дал волю улыбке: до чего же всё-таки богат русский язык. «Я даже чуть не купился...» А переставь самую малость, скажи вместо «я даже...» — «даже я...» — и совсем другой смысл, а главное, другой человек — извольте — звёздная болезнь во всей красе. Вслух сказал:

— Думаешь, пора разбираться?

В спину ему упёрся взгляд высокомерно-снисходительный, это он понял по интонации.

— Товарищ полковник, позвольте, я всё по порядку.

— Именно по порядку. — Скоробогатов заходил по кабинету.

С одной стороны, ему импонировали дерзкость меринских оценок, нестандартность гипотез, попытки постичь психологию фигурантов. Ведь не учился нигде, жизненного опыта — ноль. Всё, что до сих пор докладывал, — продумано, не притянуто за уши, цепочка нигде не рвётся.

Всё могло быть именно так. Но... Доказательствами интуитивных домыслов, похоже, и это опасно для следователя, юный Пинкертон особенно себя не утруждает. Прёт, как сивый мерин.

Вот и сейчас не удержался от эффектного и, как ему, вероятно, кажется, бесспорного вывода.

— Личность сгоревшего на Шмитовском в квартире Кораблёва официально установить не удалось, но я узнал, что это знакомый... или... как лучше выразиться... друг, любовник погибшей Молиной Слюнькин Сергей.

Он замолчал в ожидании восторженных недоумений начальника. Но тот сказал только:

— Дальше. Я слушаю.

— Слюнькин Сергей Владимирович, — отдельно, как бы диктуя, повторил Мерин. Холодное нелюбопытство главного сыскаря страны он мог объяснить только двумя причинами. Или достойной подражания сдержанностью в проявлении эмоций, или увы, недостатком слухового аппарата, поэтому на всякий случай повысил голос. — Он исчез. Понимаете? По месту жительства — Молчановка, 18 — его немзыкальная школа в Сивцевом Вражке — никто ничего не знает, знакомые, друзья — глухо, запросил родителей — он с Урала, из Альметьевска — не появлялся...

— Ты всех знакомых перебрал?

— Нет, наверное, но много.

— «Много» — этого мало. Когда и кто его видел в последний раз?

— Таких сведений нет.

— Он мог уехать до первого мая и ещё не вернуться. Дальше.

— А дальше в обгоревшей квартире Кораблёва нашли серьгу. — Мерин не стал дожидаться вопросов и на этот раз не выразившего ни малейшего удивления полковника, продолжил без паузы. — Какую серьгу? Обыкновенную, маленькую, из нержавеющей стали в виде обручального колечка, в ухе носят, модно. При чём тут это? А вот при чём. Когда я говорил с консьержкой Верой Кузминичной, она однажды назвала его «серьгастый». Меня ещё тогда кольнуло странное слово. А как нашли — я к ней: его? Она взглянула только — не сомневайся, говорит, Всеволод, редко ошибаюсь, носил в левой мочке.

— Его как зовут, серьгастого?

— Сергей. Да нет, Юрий Николаевич, он же её в ухе носил...

— Так может это Гарик Сукачёв? Или Малинин? Слышал про таких? Певцы. Музыканты. Оба серьгу носят — модно, сам говоришь.

Кто-то невидимый обмакнул кисть в разведённую красную акварель и стал наносить её на Всеволода Игоревича Мери́на. Сначала шея, затем подбородок, щёки, нос, лоб... В неприкосновенности осталась лишь верхняя часть головы и то потому, что была надёжно защищена густой каштановой шевелюрой.

«Чёрт, кажется, перебрал, — подумал Скоробогатов, — нужна попятная».

Он широко улыбнулся.

— Шучу.

Сева протянутой руки не принял. Он вылез из кресла, встал по стойке «смирно».

— Разрешите продолжать, товарищ полковник?

— Никак нет. Запрещаю. Вернее приказываю: сесть на прежнее место и разделить со мной чашку чая. С утра ни маковой росинки во рту.

Он нажал кнопку селектора, нагнулся к микрофону.

— Валентина, нам, пожалуйста, два стаканчика покрепче, с лимоном и колбаской.

И усаживаясь за стол, спросил:

— Кстати, ты не знаешь, откуда пошло выражение «ни маковой росинки»?

— Этим вопросом я интересовался, товарищ полковник, но любопытство моё осталось неудовлетворённым — дела не позволили. Прикажете — узнаю, при условии, что срок исполнения не будет заведомо нереальным.

Начальник оперативного отдела МУРа открыл рот, долго, не мигая, смотрел на подчинённого, потом грудь его затряслась, голова откинулась подбородком к потолку и кабинет наполнился звуками, похожими на собачий лай.

Он смеялся так долго и заливисто, так безуспешно яростно тёр платком слезящиеся глаза, что не выдержала — заулыбалась — даже вошедшая с подносом, обыкновенно строгая, похожая на члена думской фракции «Женщины России» секретарша Валя.

— Ой, уморил, ну просто уморил, — приговаривал полковник, затихая на мгновения и снова вскакивая и махая руками. — Ну, Севка! Ну, Мерин! А? «Заведомо нереален». Фу-у-ух, никогда, кажется, так не смеялся.

Мерин, устав сопротивляться распиравшей его радости — не часто и далеко не всем удавалось привести Скорого в такое легкомысленное настроение, — тоже позволил себе подобие улыбки.

— А при всём том — что я такого сказал?

— Всё! Молчи! Убью. Пожалей — скулы болят. — Скоробогатов затаил, укутав лицо платком, простонал напоследок. — Оо-о-ой, с ума с вами сойдёшь, честное слово. Ешь!

Пряный, в муровских традициях заваренный чай и роскошная «Останкинская» колбаса, почему-то именуемая «Брауншвейгской», сделали своё дело: все Севины обиды испарились росинками на утреннем солнце и нахлынувшее было душевное отчаяние сменилось по закону «единства и борьбы противоположностей» безудержным весельем. На улице запели птицы, в мрачноватом начальничьем кабинете прибавилось розового света, а минут через пятнадцать и того пуще, напусти ему кто о только что пережитом оскорблении, он с назиданием заметил бы: «Где ваш юмор, любезнейший, юмор, а отнюдь не красота спасёт мир»

... — и если встать на точку зрения, что Кораблёв не убивал жену и никого не сжигал в своей квартире — он к этому времени, по показаниям Шукиной, был жестоко избит, — то возникают очевидные вопросы. — Мерин тщательно вытер рот накрахмаленным бабушкой носовым платком и ещё вольготней устроился в кресле. — Первое: кому могло понадобиться совершать тягчайшее преступление от лица Дмитрия Кораблёва — убийство и самосожжение? И второе. На что он в итоге рассчитывал? Самая голубая мечта преступника — чтобы мы поверили в эту наводку. Тогда всё! Концы в воду. Дело закрывается за отсутствием... и т. д. При этом живой Кораблёв не имеет возможности нигде объявиться, ни на работе, ни у друзей-приятелей, ни дома, в театре, в кино, ни просто по улицам пройтись — нигде. Его нет! Он сгорел. А если возникнет, то его будут судить за двойное преступление — убийство жены и ещё кого-то, пусть это и не Сергей Слюнькин, а совсем даже наоборот Несергей Неслюнькин, одним бароном больше, одним меньше — какая разница. Главное, Кораблёв заживо погребён, причём пожизненно. И тогда спрашивается — это третье, кому он нужен, молодой-красивый, но невыходной-невыездной? Партнёру по бизнесу — нет. На работе — нет. Никому не нужен! Ни-ко-му! На всём белом свете. Кроме...

Скоробогатов очень просто и внимательно слушал и Сева не хотел никаких театральных эффектов с интригующими затемнениями, но, видимо, мелочное желание отплатить за обиду засело где-то глубоко внутри и теперь неудержимо рвалось наружу.

— ...Кроме...

— «Шерше ля фам»? — подсказал полковник.

Мерин аж подпрыгнул от радости.

— Именно «ля фам», Юрий Николаевич. Всё! Гора с плеч, значит я

всё-таки прав!

— Если я догадался, к чему ты клонишь, это ещё не значит, что ты прав. Просто убедительно излагаешь версию. Ну — дальше.

— «Ля фам», «ля фам», дальше некуда, Юрий Николаевич. Только «ля фам» нужна клетка с этим цветастым попугаем. Тогда он принадлежит ей одной: куда хочу — туда и полечу, понимаете? А так он другим принадлежит: жена, любовницы, компании разные... Это же Фрейд в чистом виде: она его спасает и он по гроб жизни ей обязан. Это ж как заново родиться — где-нибудь в Майами или в Австралии. Тут-то и очевидно, что не зря она из «Скорой» увольняется. Все аэропорты предупреждены, Юрий Николаевич.

Мерин замолчал, перевёл дыхание, очень уж хотелось вывести Скорого на диалог. Но тот, калач тёртый, рисовал на бумаге каких-то чёртиков. Пришлось продолжать, не заручившись начальственным одобрением.

— Это первое, кому понадобилось. Теперь второе: кто исполнитель? Невозможно представить, чтобы Щукина могла совершить такое в одиночку, правда?! Сообщник должен быть очень сильно заинтересован, он не может не понимать, что берёт на себя основную ответственность. У Кораблёва бизнес с каким-то Сомовым, это мне Щукина сказала, причём нелегальный, мы узнавали — этим Яшин занимался — легального такого нет. А Щукин — легал, фармацевт, он в разоре, дела после дефолта поправить не может. Ему надо из ямы вылезать, задолжал, небось ещё и убьют — у них ведь счёт на миллионы. А как их поправишь, проклятых, дела эти? Как?! И тут такая удача — Щукина за Кораблёва отдаёт Сомова с потрохами. Вывод, Юрий Николаевич, напрашивается сам собой: исполнителем задуманного Щукиной преступления — уж больно для него мотивация богатая — был её бывший...

— Понятно. Сколько тебе нужно, чтобы всё это подтвердить фактами и просить разрешения на аресты?

Обычно Скоробогатов не перебивал подчинённых и дослушивал до конца, чего бы это ему ни стоило. В ажитации Мерин не обратил на это внимания.

— С арестами, Юрий Николаевич, думаю, можно не откладывать — хоть завтра, тянуть опасно. А с фактами разберёмся дня за два, максимум за три.

— Понятно, — ещё раз повторил полковник. — Понятно. Понятнее некуда. Значит, дело в шляпе, остались самые пустяки?

Сева неожиданно съёжился, по спине пробежал холодок — он давно

изучил своего начальника: сейчас барометр показывал на непогоду. От былой бравады не осталось следа.

— Выслушай меня, Всеволод, я буду краток. Может быть, всё так и есть, как ты излагаешь. Если это так — не должно быть ни одного вопроса, на который бы ты не мог ответить. Вот эти вопросы. Первое: кем избит Кораблёв?

Полковник отошёл к окну, помолчал. Продолжил:

— Второе: что являет собой его окружение — школьные друзья, коллеги? Они опрошены? Я спрашиваю — они все опрошены?

Мерин молчал.

— Третье: Кораблёв исчез из квартиры Щукиной — он что, иголка? Далее, хозяйка сказала, что в кухне был беспорядок, значит резонно предположить — исчезновение не добровольное. Его что — «отключили»? Убили? Вынесли? В чём? В портфеле? У него рост 185 сантиметров. На носилках? А соседи? Свидетели? Случайные прохожие? Они опрошены? «У Щукиной дрожали руки». Очень хорошо. А что дрожало у тех, кто его уносил-уводил-увозил? Действовали-то внаглую: у всех на глазах, среди бела дня — одиннадцать часов утра — самое время «бабушек-дедушек». И если увозили — на чём? Наверное, не на велосипеде. Тогда номер машины — его не могли не заметить. Если бы мы знали номер машины — ни в чём, по-твоему, неповинный Кораблёв мог сейчас сидеть рядом с нами на этом диване. И наконец для меня самое главное — гематомы на теле Евгении Молиной. Летальный исход подобного типа яда наступает ровно через 120 минут после приёма, после попадания в кровь. Значит — что? Избиение произошло до? Или после? Или во время, то есть насильственное внедрение препарата? В таких случаях естественнее обратиться к врачу, а не ехать на свидание к бывшему мужу, пусть даже горячо любимому. Если — до, тогда кто? Окружение Молиной не даёт оснований для подобных предположений. Значит — это не сто процентов, но всё же — после. После того, как ей дали выпить отравляющее вещество, её избили. А если так — в этом вполне мог принимать участие и Кораблёв. И ещё, кто дал разрешение на кремацию?

Полковник вернулся к столу, поудобнее устроился в кресле, улыбнулся, стараясь разрядить не на шутку сгустившуюся атмосферу. Спросил нестрого:

— Ну, Сева, у тебя есть ответы на эти вопросы? — Мерин подавленно молчал.

— Пять суток, начиная с этого момента. — Полковник взглянул на висевшие над входом часы. — Не спеши, Всеволод, проверяй каждый свой

шаг. Ты много сделал, будет обидно, если в конце напортачишь.

Катя вторые сутки не вставала с кровати: ни пить, ни есть, ни думать ни о чём не хотелось. Мятая белёсая подушка оттеняла вспухшие от слёз глаза, сноп свалывшихся рыжих волос, нос морковкой, без кровинки губы.

— Метлу в руки и на огород ворон пугать, — бесилась соседка по комнате — тёмноусая студентка режиссёрского факультета Юлия. — Я тебя дуру год уже уму-разуму бесплатно учу, время-нервы расходую, в курсовую сниматься взяла — думаешь зачем? За просто так, думаешь, или за передок твой рыжий? Нет, милая, мне он сто лет на хрен не нужен, передок твой, не по этой части, у меня всё при себе и в наилучшем виде, не волнуйся. Только затыкать их, передки наши, пробками ихними погаными — это заслужить надо, делом заслужить, а не любовью вашей сраной. В третьем тысячелетии живёшь, маленькая, пора понять что к чему. Любовь знаешь, когда кончилась? В XVIII веке, вот когда. Ну в XIX ещё вроде тебя некоторые вздыхали-умирали, девственность для принца на белом коне берегли. Всё. Теперь любят разве что кошки по весне, да и те ё...ря себе попушистей выбирают, подомовитей, чтоб накормить мог посытней да защитит в случае чего, а засраному заморышу — хрен что перепадёт, сдохнут скорей от желания, а с хвоста не подпустят. Эволюция! Так это кошки. А ты что — хуже что ли? Любовь! Он тебя когда первый раз трахал — уже о другой думал, у них, импотентов, только на новенькую и торчит, а ты глаза «пухнишь», завтра съёмка, что мне тебя — в затылок снимать? Добро б под ректора легла — он на тебя давно запал, всех б...дей поразгонял-позабросил, без виагры так отлупит — подставлять успевай, уж поверь мне на слово, приятное с полезным. Ну — понятно, дело святое. А то Феликс-недоделок...

— Он тут ни при чём, заткнись.

Катя подала голос в надежде остановить затянувшийся монолог соседки, но та поняла её по-своему.

— А кто «при чём»? Кто? Архангел Гавриил? Не ври уж, недотрога дырявая. Предупреждала ведь: случилось в школе невтерпёж — очень хорошо, забыть и не вспоминать, как и не было. Целкой ходить. Замок на неё повесить, как серьгу на ухо, и ключ от соблазна выбросить. Объявится нужный человек — найдём слесаря. А до того — ни-ни, ни боже мой, ни за какие пряники.

Полнотелая Юля явно вошла в раж, разговор «про это» был её коньком.

— У тебя ж долги неотложные, маленькая. Во-первых — ректор, с ним надо кончать как можно скорее, верней, прости за каламбур, ему надо кончать. Ты что — с ума сошла, два хвоста в зимнюю сессию, хочешь, чтобы выгнали? Во-вторых — Бондарь молодую героиню ищет — тянуть нельзя ни в коем случае, не ты одна мёдом мазана, он человек нетерпеливый, лысые — они все такие. Ну и Лёшке Баталову пора яйца пощекотать, руководитель как-никак, конец года — на роли надо заявки делать. Видишь, сколько накопилось?! И на всё нужно время — это тебе не прыщавым школьникам в подъездах ширинки расстёгивать — за один день не переделаешь...

В дверь постучали, разнеслось по коридору.

— Груша, ты дома? Сима просила стукнуть — к телефону. Слышь, Груша-Яблоня?

— Слышу-у-у. — Катя постаралась перекричать распалившуюся соседку.

Вставать не только не хотелось — трудно было даже подумать, что нужно одеваться, спускаться с пятого этажа, говорить с кем-то, реагировать на пошлые (какие же ещё?) остроты, пошлые (а то!) комплименты, пошлые предложения (хоть бы раз для разнообразия что-нибудь новенькое, так нет: в ресторан, на дачу, к другу...).

Юля грудью забаррикадировала дверь.

— Ну вот, легки на помине, опять у кого-то задымился. Не ходи! Не ходи, говори! Пусть сами себя ублажают, умельцы рукотворные...

Слабость разливалась по всему телу, голова плыла ярмарочной каруселью, она не поднялась бы ни за что на свете, не будь в комнате темноусой режиссёрши. «Всё лучше упасть в обморок на лестнице, чем тупить слух фантазиями беззастенчивой соседки».

Катя накинула халат, отодвинула разъярённую исследовательницу жизни человеческого духа и плотно закрыла за собой дверь.

Звонить могли многие — мало ли, — она двое суток не была в институте: подруги, приятели. Могла звонить мама — в последний раз они разговаривали 8 марта — больше месяца прошло: «Грушенька, я выслала тебе денежек, много не смогла, но всё-таки: купи себе что-нибудь тёпленькое, я знаю, у тебя штанишки шёлковые, а холода ещё, яичники застудишь, у вас, говорят, в Москве фланелевые есть — они не шерстят, ну, ну, не буду, целую тебя, яблонька».

От неё и пошло: не Катя-Катюша, а Яблоня-Груша.

Мог звонить «мальчик-с-пальчик» — Арнольд Николаевич Сперанский — педагог, низкорослый холостяк, пристрастившийся вызывать её вечерами на индивидуальные занятия по специальности.

Дядя Серёжа, брат отца, иногда — редко, но случалось — позванивал. Несколько раз заходил даже. Гуляли. Такой же рыжий, как апельсин, на мужике это совсем уж неприлично. Два раза в гости пригласил — выпивали, рыбой вкусной закусывали, потом, правда, пропал — жена, дура, заревновала.

Мог позвонить парикмахер Костя, мальчик весёлый и не жадный — редкость.

Феликс со сценарного факультета мог, хотя после того, как она сбежала с Кораблёвым — сомнительно — они, писатели, самолюбивые.

Лёшка Большой давно не звонил, а Лёшка Маленький вообще исчез.

Мог, наконец, позвонить Лёня Бязик. Ах, как она ждала когда-то его звонков. Умирала. Измучилась. На рельсы с моста как на спасение смотрела. Чуть с абортом не опоздала.

Да мало ли кто мог позвонить.

Но из всех, кто окружил её, пока она спускалась по лестнице с пятого этажа — мешал идти, обнимал, припадая к ногам, хватал за руки — Катя выбрала одного.

Она взяла протянутую Симой трубку и сказала:

— Привет, Сева. Слушаю тебя.

Видимо, на противоположном конце подобной прозорливости не ожидали, потому как ответ последовал не сразу.

— Вот это номер! Удивила. Ладно, летом-летом разберёмся. Слушай, Ванга, прости, что звоню раньше пятницы, но, как говорится: делу — время... Зашиваюсь. Моя карьера — раскрой ладошки — видишь? — в твоих руках.

Мерин остался доволен выбранным тоном.

— Ты, кстати, как себя чувствуешь? Слышишь, Катя? Я говорю — ты как там, оклемалась? Сознание при тебе? Не потеряла? Катя! Алло! Алло-алло! Катя!

А ей вдруг захотелось заплакать. И чтобы держали на коленях, гладили по голове и утешали. Она сказала еле слышно:

— Что?

— Ага, теперь слышу, а то пропала куда-то. Катя, я из автомата, барахлит, наверное. Я говорю — как ты? В порядке?

— Не так чтобы ах, но желание есть.

— Какое желание? — не понял Мерин.

— Естественное. Физиологическое. У женщин оно возникает реже, чем у вас, но зато сильнее: возникло — вынь да положь — удовлетвори. Готов? А то я влажная уже.

Сева сник, подумалось даже, что он ошибся номером.

— Катя, это ты?

Промелькнуло молнией вчерашнее: «Людмила Васильевна, — с тех пор как помнил себя, он называл бабушку по имени-отчеству, — Людмила Васильевна, почему говорят: бойся рыжих и косоглазых?». «Не знаю, Севочка, мало ли что говорят. Может быть, потому что и те и другие своего рода изгои. Сколько их? Один рыжий на сотню, даже меньше. А белым воронам всегда труднее, их не любят».

...«Яша, я вчера одну рыжую бабу допрашивал — по-моему, темнит что-то. Как думаешь, рыжим можно доверять?». «Я думаю, Сивый, правдивость показаний от цвета волос не напрямую зависит. У этих двух величин связь сложнее, астральнее. Хотя, может, у тебя более поздние сведения».

...«Людмила Васильевна, а что, рыжий цвет волос — это какого-то пигмента в организме не хватает? Или наоборот...». «Севочка, не морочь мне голову — приведи её в дом, разберёмся с пигментом». «Ты что, с ума сошла? Кого „в дом“?» «Я не знаю. Ты спросил — я ответила».

Сева сказал:

— Значит так, Екатерина. Мне нужен адрес Светланы, у которой ты познакомилась с Кораблёвым. Ясно?

— Ясней не бывает. Только я его не знаю, адреса-то. Не запомнила. Показать могу.

— Как показать?

— Пальцем, Сева, как же ещё?

Она бросила трубку.

Светлана Нежина — соученица Дмитрия Кораблёва, к которой Катя привела Мерина, выглядела подавленной.

...В школе их называли «сёстрами». Десять лет, с первого класса и до выпускного бала, все подруги и приятели, учителя, уборщицы, даже учащиеся соседних школ знали, что в 45-й образовательной с музыкальным уклоном есть три девочки абсолютно друг на друга не похожие,

произведённые на свет разными папами и мамами и тем не менее являющиеся сёстрами. И потому все, вопреки школьной традиции, называли их не по фамилиям, а по именам: Светлана, Вера и Женя.

— Кто сегодня дежурит? — спрашивала воспитательница.

Староста класса поднимала руку и докладывала.

— Сегодня дежурят Кубырина и Вера.

И всем было понятно, что вместе с веснушчатой Кубыркою дежурит одна из «сестёр», хотя в классе были ещё две Веры: Бенсман и Шейна.

— Женя, идите к доске, — бубнил себе под нос математик и у Женки-балбеса не замирало от страха сердце, а с последней парты покорно поднималась Женя-«сестра».

— Светлана, перестаньте болтать, я вас выгоню, — картавила преподававшая историю директриса, — и можно было не гадать, к кому из двух Светлан относилась угроза.

Всё, что случалось с одной, приписывалось всем трем и потому события эти в глазах окружающих всегда возрастали многократно, зачастую грозя перерасти в нежелательную тенденцию.

— Сегодня опять вынуждена была поставить сёстрам двойку, — жаловалась в учительской преподавательница физического воспитания, — не тянут ноги, не могут перепрыгнуть через козла.

И все понимали: перед гимнастическим снарядом спасовала одна, но неудовлетворительной оценки, конечно же, заслуживают трое. А это уже симптом.

— Мария Иванна, а сёстры опять на переменке с мальчишками в фантики играли, — исполняла свой долг какая-нибудь толстозадая радетельница школьных нравов.

И не имело никакого значения — три девочки погрязли в омуте азартной забавы или оступилась только одна из них. Немедленно вызывались родители всех троих и заведующая учебной частью долго сокрушалась по поводу высокого процента учениц, подверженных пагубным привязанностям.

Иногда — наоборот — такая обезличка помогала: их побаивались и уважали. Сильный пол предпочитал не связываться: убеждались не раз — кого ни тронь — сдача последует в троекратном размере. Подруги же заранее отдавали им пальму первенства в девичьих секретах, исповедуя неоспоримое преимущество количества над качеством — считалось: ум — хорошо, а три — намного лучше.

Для самих же «сестёр» было настолько естественным всегда быть вместе и всё делить поровну, что когда одна из них, Светлана, в середине

восьмого класса, дождавшись, наконец, наступления половой зрелости, испытала, по её выражению, «космическое блаженство» от близости со смазливym одноклассником, она тут же поставила перед ним условие: или это первый и последний раз и можно даже не пытаться продолжать отношения, или не далее как в ближайшее время одарить подобным ощущением её подруг.

Тогда дело кончилось конфузом: мальчик оказался жертвой сентиментально-романтического воспитания, возможность подобного сговора расценил как проявление цинизма, удалился убитый, но не сломленный, на всю жизнь сохранив в памяти этот печальный инцидент как образчик женской неверности.

... — Кораблёв был нашим одноклассником, мы десять лет дружили — дни рождения, праздники, дискотеки — всегда вместе. Он и влюблялся-то в нас по очереди: сначала я — роман детский, недолгий — буря в стакане — господи, двадцать лет прошло, а как вчера: зима, ночь, Старый-Новый год — родители на даче — шампанское и наши нетерпеливые попытки претворить в жизнь то, с чем были знакомы понаслышке...

Светлана встала, подошла к столику с бутылками, долго, вытирая платочком глаза, разглядывала этикетки. Сказала не поворачиваясь:

— Это навсегда — первый мужчина.

И вдруг развеселилась.

— Вам, дети мои, ведомо такое понятие — «первый мужчина»? — Поскольку вопрос не адресовался никому конкретно, к тому же претендовал на определённую взаимную откровенность, редко возникающую при первом знакомстве, то никто и не ответил. Катя только взглянула на Мерина и неожиданно для себя слегка ему подмигнула. Тот же почувствовал, что опять становится похожим на индейца и опрометью бросился под стол затягивать «развязавшийся» шнурок.

Вообще ситуация складывалась анекдотическая: вместо намеченных на сегодня неотложнейших дел — предстояло ещё опросить как минимум пятерых свидетелей, скоординировать данные Трусса и Яшина, разобраться в деталях криминалистического анализа сгоревшей квартиры на Шмитовском — вместо всего этого Мерин вот уже больше часа сидел в огромной, изысканно обставленной гостиной, тонул в обложенном многотысячными подушечками кресле и выслушивал интимные подробности жизни банального школьного четырёхугольника. Правда, одна из сторон этой геометрической фигуры находилась в морге, а другая пропала без вести.

Надо было одно из двух: или срочно переводить беседу в выгодное для себя русло, или хотя бы ответить на вопросы: «что происходит? Почему он смирился с положением ведомого?», но по непонятной пока для него самой причине он не предпринимал ни того, ни другого.

Светлана вернулась к столу с початой бутылкой «Хеннеси» и тремя приличествующими напитку — пузатыми, сужающимися кверху — бокалами.

— Второй была Верка, самая из нас красивая, теперь в этом можно признаться.

Сказано это было просто, без обычного в таких случаях кокетства или плохо скрываемой зависти. По всей видимости, жизненный опыт этой женщины давно смирил её с мыслью о неполном собственном совершенстве.

И действительно все природой расположенные на лице Светланы Нежиной детали были чуть-чуть великоваты, словно сшиты на вырост: нос чуть ближе, чем принято у не переваливших за сорок, приближался к верхней губе; глаза, пожалуй, излишне широко расставленные, безукоризненно правильной овальной формы могли бы по праву называться красивыми, не имей они такого патологического сходства с плодами миндалевого дерева; выдающихся размеров лоб страдал очевидным изъяном в виде морщин, искусно прикрываемых небрежной чёлкой; губы, которым, без сомнения, отводилась главенствующая роль на поле сексуальной брани, в обычные периоды жизни выглядели явно преувеличенными.

Мерин не пытался себе объяснить, что именно вызывало в нём чувство неприязни к этой утрированной уходящей натуре. Он привык доверять своим ощущениям и никогда не вникал в детали: мало ли какие недостатки могут быть у прекрасной души человека или, наоборот, яркие достоинства у на поверку отпетого негодяя.

Сейчас он старательно фильтровал затянувшееся повествование о похождениях влюблённых школьников, надеясь найти и удержать в памяти золотиносные вкрапления недоброжелательности со стороны рассказчицы, ревности, может быть, ненависти, но пока ничего подобного не обнаруживалось. Светлана вспоминала ученические годы с томной грустью, а о Вере и Диме говорила восторженно.

— Два последних года школа для них не существовала, как, впрочем, и всё остальное — дом, родители, какие-то обязанности, друзья. Ничего! Ночь, улица, фонарь, аптека... Вместо аптеки, как правило, Веркина хата, родители всё время в отъездах, а диванов много. Днём вместо учёбы

отсыпались. Учителя, естественно, поначалу бесились — где это видано, чтобы так внаглую игнорировать свет учения, но потом смирились, честь им и хвала. Все ждали свадьбы в конце десятого, подарки готовили. Не поверите: вон та статуэтка — она указала бриллиантовым мизинцем на старинную фарфоровую скульптурку — молодой повеса в приспущенных панталонах и пышноформая барышня с задранном криволином, увлечённые недвусмысленной забавой — эта статуэтка им предназначалась, хотелось чего-нибудь посмешнее, все коммиссионные обегала, знакомых подняла — тогда ведь нигде ничего не было. Все ждали — вот-вот. Но — не случилось. Чужая душа, как известно...

Она не стала договаривать, справедливо полагая, что даже эти, не вполне ещё совершеннолетние молодые люди должны быть наслышаны о потёмках нематериальной субстанции.

Широко развела руками, собираясь продолжить рассказ, и неожиданно оборвала себя на полуслове.

— А вы с Верой-то встречались?

«Вот!! — Мерин вздрогнул. — Вот это не упустить — очень важно. Самое, пожалуй, важное из того, что было сказано в этой гостиной за последний час». Что именно «важно», он не стал уточнять, привык — кольнуло, значит стоп! Метить зарубку и дальше по горячим следам. А то, что «кольнуло», он не сомневался.

— Простите, Светлана, мне не очень ловко, вы сказали, — Сева слегка закашлялся, — сказали, он был вашим первым мужчиной...

— Да, сказала, давно, правда, это было, но это неважно, чего ж тут неловкого? Все начинают с первого, поддержите меня, Катюша, и забыть этого невозможно. Последнего, вчерашнего можно забыть, не вспомнить, а первого — о-оо-о, — она закатила глаза, замерла, неспешно выводя себя из нахлынувших ощущений, — и не пытайтесь: не получится.

— И что, вы действительно поставили условие...

— Поставила, конечно. Восьмой класс, чего вы хотите? О подругах заботилась. Говорю же вам: мы всегда всё делили на троих. До поры до времени, конечно. Потом распалось — жизнь.

— И он выполнил ваше условие?

Светлана рассмеялась в голос и, если бы не явно преувеличенная продолжительность этого смеха, можно было подумать, что ей весело. Она даже замахала кокетливо ручками, призывая Катю в союзницы: «Ах уж эти мужчины, как с ними трудно, правда?»

— Молодой человек, согласитесь, любая беседа, если это не допрос, разумеется, предусматривает наличие определённой дистанции или как

минимум такта с обеих сторон. Так вот: ни того, ни другого в вашем вопросе не просматривается. Увы. При всём старании. Не случись трагедии с Женей, нам осталось бы только раскланяться с извинениями за отобранное друг у друга время.

Ей удалось справиться с волнением и она продолжила насмешливо-спокойно.

— Но, принимая во внимание ваш возраст и с учётом того, что произошло непоправимое, я буду снисходительна: да, в результате — так получилось — выполнил. Любил меня. Обещал жениться на Вере. И, как вы, надеюсь, знаете, стал мужем Жени Молиной.

Мерин удовлетворённо улыбнулся: «Зачем такая вычурная преамбула, если ответ на вопрос всё же последовал?» Вслух он сказал:

— Простите ради бога, я всё понимаю, конечно, если хотите — можете не отвечать, никакой это не допрос, что вы, исключительно ваше желание — или нежелание — помочь следствию. Буду вам крайне признателен, если и в дальнейшем вы возьмёте на себя труд пресекать мою бестактность.

Мерин даже вспотел от желания выглядеть в глазах своей рыжей спутницы непроигрывающим словесным дуэлянтом и, похоже, старания его увенчались успехом: в удивлённом Катином взгляде он прочёл уважение.

Светлана, наоборот, замкнулась, но и этот демонстративный уход в себя показался Мерину сознательным, рассчитанным с большой точностью. Он продолжил:

— Скажите, вы встречались в последнее время?

Вопрос сознательно был задан без конкретных имён, и Мерин готов был спорить на что угодно: Светлана Нежина воспользуется «оплошностью» недоразвитого следователя и заговорит исключительно о подруге.

— Редко. Сразу и не припомнишь, когда мы с Женькой в последний раз... Больше года, наверное.

Сева абсолютно невпопад заулыбался, самодовольно потёр руки: «Чёрт, опять нет Трусса, мог бы сорвать большой куш».

— Время ведь так летит, особенно когда тебе за тридцать. Это в школе нам казалось — мучение не кончится никогда, а сейчас... Ничего не вернёшь...

Она нервно плеснула коньяк в бокалы, подняла свой.

— Не чокаясь. Земля ей пухом. — Выпила одним глотком. — Да нет, вру, какой там «год». С тех пор, как они с Димкой поженились — пять лет, кажется, — один раз и пересеклись всего...

— А с Кораблёвым?

— Что с Кораблёвым?

Мерин не стал уточнять вопрос, покорно выжидал, увлечшись записью в блокноте.

Светлана вновь потянулась к изящной бутылке, дробно ударила горлышком по бокалу. Пролитая коричневая жидкость утрированно отразилась в полировке журнального столика.

— С Кораблёвым чаще.

Сева замер: интонация, с которой была произнесена столь невинная на первый взгляд фраза, неожиданно резко ударила и столь же резко отлетела прочь, оставив на лбу лёгкую испарину: «Или это гениальная имитация, достойная сравнения с лучшими образцами актёрского исполнительства, или же правы те, кто утверждает, что голосовые модуляции, если уметь их слышать, способны выдать самые сокровенные человеческие тайны.»

Нужен был пробный камень.

— Вы думаете, он жив?

Он не успел закончить фразу, как жестокое, громкое «Не знаю!!» надолго повисло в воздухе. В этом коротком выкрике не было решительно ничего, что хотелось бы ей сказать в данную минуту. Ни-че-го!

Но Сева её понял. Он услышал.

«Ты, ублюдок ментовский, мразь легавая, испытывающая оргазм исключительно от запаха крови, ты смеешь спрашивать, верю ли я, что не сгорел заживо, не обуглился человек, одного взгляда которого в мою сторону было достаточно, чтобы, бросив всё (ВСЕ!), унести с ним в облака или покорно стелиться по земле, дабы ему было обо что вытирать ноги?! Верю ли я?! Верю!!! А если бы не верила — Господи прости — прахом его святым заполнила бы своё тело, подожгла вечным огнём и соединила тем самым навеки тех, кому не суждено было соединиться на этой планете...»

Эти не произнесённые Светланой Нежиной слова были столь очевидны, так отчётливо рассекли пространство, что Мерину осталось только удивиться, почему Катя реагирует на них столь неприличным в данном случае безучастным равнодушием. Тут рыдать в пору, бить себя в грудь и каяться за то, что вольно или невольно стал виновником трагических воспоминаний. Пасть коленями на усыпанную горохом твердь, бить челом пред Вершителем судеб наших, пока не засветит надежда на прощение греха великого...

И вдруг — что это?

— Понимаете, Юрий Николаевич, не могу объяснить, почему я встал и пошёл к камину, логики в этом никакой не было, как сказал бы один мой новый знакомый — нелогично. Сидел, сидел и вдруг ни с того ни с сего, без хозяйского разрешения зашагал по чужой квартире. Она сама этого не ожидала, да и Катя тоже — обе рты поразевали: куда это он? А меня до этого кольнуло — сразу-то я не понял — что, а потом допёр, вернее, простите, догадался, зачем она сначала подробнейшим образом рассказала мне о шекспировской любви Кораблёва и Нестеровой, и только потом, видите ли, спохватилась, поинтересовалась, не встречался ли я до неё с этой Верой.

Мерин сознавал, что говорит намного громче, чем обычно положено в кабинетах начальства, но ничего не мог с собой поделать. Ему казалось, убавь он звук хоть на полтона — исчезнет соль его умозаключений и уставший за день, по горло набитый подобными докладами Скоробогатов не уловит главного.

— Логичнее было бы наоборот: сначала поинтересоваться, не разговаривал ли я с Нестеровой, и только в том случае, если нет, повязывать их вселенской любовью и трагическим разрывом, правда ведь? А так — это же скорей донос, чем дружеские воспоминания. А тут как раз солнышко выглянуло и мне с камина зайчик в глаза...

Что это?

Сева так разволновался, что, не спросив у хозяйки разрешения, вскочил на ноги и зашагал по необъятному пространству гостиной, претенциозно напоминающей по меньшей мере будуар фрейлины времён Екатерины Великой. Не было сейчас такой силы, которая могла преградить ему путь. Туда, скорей, без объяснений, любым способом к небольшому и пока неизвестному ещё предмету, прожигающему своим солнечным отблеском малахитовые изразцы камина.

Что это?

Перст ли, указующий направление судьбоносного открытия?

Дьявольский оскал, призванный развеять в прах мимолётное вдохновение?

Что это? На изящном зелёном квадратике старинного кафеля, пронизанные светлым кожаным ремешком возлежали самые, по утверждениям знатоков, точные в мире в золотом корпусе мужские часы фирмы «Роллекс».

Замуж она так и не вышла — зачем? Росписи, венчания, кольца, клятвы — всё это от лукавого. В лучшем случае — дань прелестной старине, не более того. Предложения, разумеется, были и весьма лестные, но она никогда всерьёз не задумывалась о домашнем очаге. Мужики по природе своей настолько непостоянны, что любая попытка заключить их в клеть семьи изначально, как говорится, обречена на провал. Да и нет ничего естественней и в конечном итоге удобней, чем свободные отношения. Тут и простота, и лёгкость, и глубина, какая порой, заметьте, и не снится иным обременённым супружескими отношениями.

Вера Нестерова сидела на краешке кресла, поджав под себя колени. Основной её целью, могло показаться, была демонстрация замысловатости узлов, которыми она завязала длинные, без колец пальцы. Да, с Кораблёвым она знакома со школы, чуть ли не с первого класса, кажется. Одно время даже сидели на одной парте. Женя с Веткой, а она с Кораблёвым.

— Ветка — это?..

— Это Светлана Нежина, нас три сестры было, в школе так прозвали. Нет, на свадьбе Кораблёва с Женей она не присутствовала, работала в это время в киноэкспедиции, узнала спустя месяц, наверное.

Удивилась? Да нет, пожалуй, Дима никогда не был однолюбом, постоянством не отличался, говорят, прямо от свадебного стола увязался за какой-то бабой.

Встречаться? Да, приходилось, но не часто. Особенно последний год, когда они с Женькой расстались. Видимо, школьные годы исчерпали душевную щедрость. От любви ведь тоже устаёшь, не правда ли? Когда чего-то много — надоедает. Вот и мы трое последние годы отдыхали друг от друга. Или же с самого начала наш тройственный союз был придуманным, навязанным учителями, а мы только поддерживали версию неразлучности, интересничали, привлекая к себе внимание. А это не могло не сказаться на дальнейших отношениях.

С Женькиным отцом она, конечно, знакома, бессчётное количество раз бывала в их доме, какое-то время, года три, наверное, даже жила у них — с восьмого по десятый класс, когда родители уезжали за границу.

А вот когда видела Михаила Степановича в последний раз, Вера вспомнить не могла, хотя по просьбе Мерина и напрягла память. Ясно, что давно, скорее — даже очень давно, что-нибудь лет эдак десять тому, если не

больше.

— Вы, наверное, знаете, он ведь очень болен. Болезнь Альцгеймера.
Ни кровинки в лице.

Голос низкий, почти мужской.

Каштановый цвет волос может сойти за натуральный, если убрать излишнюю симметричность высветленных прядей.

Нос не «греческий», не широкий, не курносый — никакой. Просто нос. Или так: неброская простота безукоризненных линий виртуозно вылепленного носа подчёркивается едва заметным подрагиванием чувственных ноздрей. Перебор, конечно, но тем не менее...

Глаза обнажаются редко, лишь в моменты непосредственного изумления, и тогда становится ясно, что природа расщедрилась, присыпав голубизну зрачков алмазной крошкой. В основное же время глаза надёжно прикрыты не пропускающим свет частоколом ресниц.

Слегка вытянутые вперёд, трубочкой сложенные губы создают впечатление готовности — к поцелую ли, к ласке, к любому природой предписанному назначению.

Недоразвитые крылья лопаток, жемчужная нить позвоночника.

Чёрное, похожее на купальник платье.

Мерин поймал себя на желании поскорее перевернуть глянцевый листок этого журнала и упереть взгляд во что-нибудь более реальное.

— ...по рассказам, он никогда не отличался хорошей памятью, а уж с возрастом и подавно, не помнит ничего из вчерашнего дня. Я его очень давно не видела, но, говорят, болезнь прогрессирует...

— А Женю Молину?

— Что — Женю?

Сева промолчал: вопрос застал человека врасплох, ему необходимо время для ответа — вот вам это время, располагайте, я не спешу.

Вера откинулась в кресле, нахмурилась, добросовестно пытается понять, о чём её спрашивают. Наконец, на исходе того самого момента, когда затянувшаяся пауза может означать только нежелание дальнейшего разговора, она великодушно протянула неумелому муровцу руку помощи.

— Когда в последний раз видела Женю Молину?

Мерин слегка кивнул головой, как бы одобряя догадливость собеседницы.

— Когда же это было? Точно не помню. Давно. Мы, я уже говорила, последние годы мало общались...

— Вы были в морге?

— Была.

«Молниеносная реакция циничной преступницы или девственная невинность эфемерного создания?»

— От чего наступила смерть?

— Астма. Он умер от удушья.

Мерин мог поклясться, что она улыбнулась, хотя внешне никакое движение не коснулось её уродливого в этот момент лица. И он спросил, не упустив случая похвалить себя за находчивость.

— Кто вам сообщил о смерти?

Она провалилась. Слегка одёрнула платье, расплела связанные жгутом ноги.

— Вы о Михаиле Степановиче?

— Нет.

Сева смотрел на неё, как ему казалось, беспощадно.

— Ветка позвонила. А ей не знаю кто, может быть, Дима.

И пытаясь загладить случившуюся неудачу, она заговорила подробно.

— Он был у неё накануне. Много пил. Уехал с какой-то, простите, б... дью. Там два раза в неделю «интерсалон», как его называют. И все убеждены, что так оно и есть — самая отборная интеллигенция.

— А на самом деле?

— На самом деле — отборная, это без сомнений — только с интеллектом у них там напряжёнка. Скука и пошлость, чтобы не сказать больше.

— А с Кораблёвым?

На этот раз Вера проявила уверенную сообразительность, ждать себя с ответом не заставила.

— Встреча-а-лась!

И в который раз за сегодняшний день Мерину сделалось не по себе: что это было? Выкрик? Всклик? Или шёпот, разрывающий барабанные перепонки?

— Понимаете, Юрий Николаевич, у неё профессия такая: скрывать свои эмоции и манипулировать чужими. И вдруг — прокол. Если та, Светлана Нежина, хотела меня убить, растерзать — честное слово, я это слышал, то есть ощущал почти физически, казалось, ещё немного и она разобьёт о мою голову свою похабную статуэтку, — то эта одним словом «встреча-а-лась» — его убила. ЕГО! В глазах — пламя, губы искривились, только что пены во рту не хватало. Так ненавидеть может только безнадежно влюблённая женщина.

— Или безнадежно любившая. — Скоробогатов пальцами, как

скульптор глину, смял лицо, придавая ему серьёзное выражение.

Мерин с трудом сдержался, чтобы не затопать ногами.

— Нет, Юрий Николаевич, у «любившей» всё в прошлом. Такая и вспоминать будет по-другому: всякая давняя, даже очень сильная, эмоция пока через годы прорвётся — устанет, выдохнется, одряхлеет. А эта — что там твоя тигрица — одним СЛОВОМ этим, одной интонацией к стенке его прибила, глаза выцарапала. Если учесть, что и Молина, по словам консьержки, души в нём не чаяла, всё прощала, то выходит, что три сестры делили — не поделили одного Вершинина. Прямо Арабские Эмираты какие-то.

Сева продолжил как можно спокойнее.

— У него квартира сгорела...

— Я знаю.

— Тоже Светлана?

— Нет.

— Если не секрет...

— Не секрет. Фамилия вам ничего не скажет: Ту... Туров.

Он переспросил, хотя всё было понятно без слов.

— Тутуров?

— Нет, просто Туров.

— Не подскажете мне его адрес?

— Адреса я не знаю, к сожалению, это друг детства, мы очень давно не общались.

Мерин подумал — лжёт, конечно. Зачем? Будь она причастна к убийству, к пропаже Кораблёва — наверняка подготовилась бы к допросам и упоминание о пожаре на Шмитовском, как бы неожиданно оно ни прозвучало, не должно было застать её врасплох. Если же нет — ни в чём не замешана — тем более, откуда такая растерянность, явно вымышленный «друг детства» без определённого места жительства? Зачем навлекать на себя подозрения?

И при всём том он готов был к любому пари: фамилия человека, сообщившего ей о сгоревшей квартире, начинается именно на букву «Т».

Сева достал записную книжку, сделал ещё одну небольшую пробежку по нервам собеседницы.

— Простите, ещё раз, как вы сказали? Ту-Туров.

— Ту-ров.

— Очень хорошо. Не возражаете, если я наведу о нём справки?

Звук похожий на выстрел из пистолета с глушителем, и Вера

забарабанила наклеенными ногтями по подлокотнику кресла.

— В квартире обнаружен сгоревший труп. Вы знаете об этом?

— Нет.

— Есть у вас какие-нибудь предположения на этот счёт?

— Нет.

— Как вы думаете — это смерть или убийство?

— Смерть.

— Я говорю о Молиной.

— И я о ней же.

— Кораблёв не убивал жену?

— Нет.

— Почему вы так думаете?

— Он не способен на это. Напиться с горя и поджечь себя — его почерк. Отра... адно вам будет слышать или нет, но п-пырнуть ножом любимого ч-ч-человека — нет.

Мерин замолчал и непозволительно долго соображал, что мешает ему продолжить свои вопросы. Наконец всплыло: «отрадно». Абсолютно неподходящее слово — отсутствие какой бы то ни было логики: хотела сказать одно, спохватилась и сказала первое, что пришло в голову. То же, что с Ту-туровым. Нервная дамочка. Но если это так, и она хотела сказать...

У Мерина вспотели ладошки.

— Почему вы думаете, что его отравили?

— Я этого не думаю. Вы, похоже, пытаетесь меня в чём-то уличить?

Спину обдало холодом — он вдруг понял по выражению её наполовину зашторенных ресницами глаз, что ещё совсем немного и пока так удачно складывающаяся для него беседа может превратиться в бесполезную стрельбу по непробиваемой мишени. Неужели опять промах?

— При чём тут «уличить»? Отнюдь! — Сева отчаянно замахал руками. Он не знал точного значения этого изысканного слова — никогда? нет? не совсем так? — чёрт его знает, но в данный момент показалось, что именно оно — ёмкое, забытое, не из сегодняшнего лексикона — наиболее полно выразит степень его несогласия с упрёком собеседницы. — Отнюдь! У меня и в мыслях этого нет. Просто я очень рассчитываю на вашу помощь. Вы близко знали обоих и любое мельчайшее, даже, поверьте, интуитивное предположение ваше может оказаться бесценным и в конечном случае решающим. Следствие настолько в тупике, вернее сказать — всё настолько ясно и очевидно, а отклонение от основной версии настолько бесперспективно, что без преувеличения может классифицироваться, как

отсутствие профессионализма.

Сева коротким всхлипом перевёл дыхание, выдержал для убедительности, чтобы справиться с разыгравшимися нервами, паузу и капризно продолжил.

— Ни у кого ни малейших сомнений, банальное отравление на почве... бог его знает на какой — ревности ли, корысти, маниакальной предрасположенности — теперь уже это не имеет значения — отравление с последующим суицидом, совершённым таким чудовищным способом, что не остаётся сомнений: речь идёт о человеке с серьёзнейшим нарушением психики. Всё! Остаётся, ввиду отсутствия участников преступления, то бишь их смерти, свидетельствовать о необходимости закрытия данного уголовного дела. Точка! Завтра именно так я и собираюсь поступить. Согласитесь — ломиться в открытую дверь по меньшей мере глупо. И если меня продолжают интересовать какие-то детали, то это не праздное любопытство, не упёртость и уж никак не попытка доказать недоказуемое. Просто... как бы это объяснить... ну в общем... э-э-э...

Он хлюпнул носом, виновато улыбнулся, полез за платком.

— Можно я выйду на лестницу?

Вера с нескрываемым интересом наблюдала за разнервничавшимся мальчиком.

— Да уж сморкайтесь здесь, чего там. — Она отошла к окну. Спросила не поворачиваясь. — И как же это объяснить?

Мерин вытер нос накрахмаленным платком, ответил вопросом на вопрос.

— Простите, вы помните свою первую роль в кино?

Она ответила не сразу.

— Не пытайтесь меня обидеть, Сева, я не намного старше вас.

— Что вы, Господь с вами, вы не так меня поняли!

Он так искренне испугался, что Вера невольно расхохоталась. Весёлость была ей очень к лицу и, по всей видимости, зная за собой эту особенность, она долго не могла успокоиться: для этого ей понадобилось подсесть на подлокотник меринского кресла, дружески поцеловать его в лоб и задержаться прозрачным пальчиком на его выдавших виды джинсах в районе колена.

— Конечно, я пошутила, я всё понимаю, а вы так смешно испугались, как-будто увидели мышь. У вас что — все такие робкие? А? Ну? И что дальше? Это ваша первая роль, я правильно поняла?

Глаз её он не видел, чувствовал только дыхание, неестественно горячее, точно его вскипятили и теперь выливали ему за шиворот. Надо

было отвечать.

— Правильно. Первая. Роль.

Верини пальцы чуть заметно сжали ему ногу и несмело двинулись по направлению к туловищу.

— Первое дело, понимаете? Хочется хотя бы в отчётах блеснуть знанием нюансов, постижением психологии фигурантов, пусть даже со стопроцентной очевидностью ушедших в мир иной. От этого зависит всё — вся моя дальнейшая жизнь, моя карьера, как ни стыдно в этом признаваться. Пожалуйста, Вера... э-э-э... Вера...

Она пересела на диван и опять размашисто засмеялась.

— Вера Артемьевна. Вам нравится это отчество?

— Пожалуйста, Вера Артемьевна, — Мерин скорбно улыбнулся, давая понять, что обращение по имени-отчеству лишает его всяких надежд на более короткие отношения, — пожалуйста, мне ведь от вас совсем немного нужно: вспомните то, что кроме вас никто на свете знать не может, — особенности характеров, вкусов, привычек, взглядов на мир — да мало ли — всё, что сочтёте нужным, и этот начинающий неудачник, — Сева ткнул себя пальцем в грудь, — испарится при первом же вашем взгляде на входную дверь, как и не было. Исчезнет и унесёт с собой вместе с банальным преклонением перед вашим талантом ещё и глубочайшую на всю жизнь благодарность за умение понять и помочь ближнему.

В конце этого нелегко давшегося ему пассажа Мерин откинулся на спинку кресла. Слезы, неподдельные, едва сдерживаемые, и общая лёгкая испарина не могли, не должны были оставить и доли сомнения в искренности его отчаяния.

Неожиданно из соседней комнаты донёсся звук разбитого стекла. Вера вздрогнула.

— Машка, ты опять что-то воруеть? На секунду нельзя оставить. — Она улыбнулась, изящно поднялась, убрала чёлку с его вспотевшего лба, случайно тронула коленом его ноги.

— Вы, похоже, немного переутомились, Сева. Посидите, я заварю кофе, идёт? — И вышла.

В интонации её голоса Мерин без труда уловил определённую долю нематеринской нежности. Он смачно высморкался, благо официально получил на то разрешение, несколько раз с горьким выдохом, громко, чтобы долетело до кухни, глотнул воздух и затих обиженным ребёнком. Пролог спектакля, кажется, завязался, надо было готовиться к основному действию.

— А дальше, Юрий Николаевич, можете меня упрекать в любой некомпетентности, бездоказательности, в чём хотите, но я вам всё-таки скажу — дальше произошло невероятное: она стала рассказывать историю страстной любви Молиной и Кораблёва, но это была не их история. Не их, понимаете? Она или какую-нибудь Даниэлу Стил пересказывала, или о себе говорила. О СЕ-БЕ! Последнее — вероятней: оголенные, хоть и искусно прикрываемые нервы, эмоции через край! Не может женщина так переживать случившееся с другими людьми, да ещё бог знает сколько лет назад.

— Только честно, Сивый, договорились? — Скоробогатов называл Мерина «Сивым» в тех случаях, когда надо было сбить того с пафоса. — Только честно, она тебя соблазнять не пыталась?

Цвет лица подчинённого изменил окраску со скоростью опущенного в кипяток рака. Скоробогатов поспешно заговорил:

— Нет, нет, я серьёзно, более чем серьёзно: то, что ты рассказываешь — чрезвычайно интересно. И доказательства тут ни при чём, это недоказуемо. Интуиция в чистом виде. С женским полом не так всё просто. Сева, это тебе не мы: сила есть — ума не надо. Они отсутствие силы хитростью компенсируют, вариативностью ходов, поверь мне, я не то чтобы большой знаток женской психологии, просто живу уже давно, служебная практика истории подкидывала. Ну-ка, ну-ка, давай поподробней.

Мерин покраснел ещё больше.

— Было, Юрий Николаевич, действительно... То есть — не было... я имею в виду... ничего не было, но... в общем... понимаете, она сначала расположила меня, пригладила, мы посмеялись... А потом...

Когда Вера снова появилась в комнате с подносом, заставленным кофейными приборами, Мерин скорее почувствовал, чем увидел какое-то неуловимое изменение в её облике: причёска? макияж? одежда? Нет, вроде всё то же самое...

Он с едва слышным «спасибо» взял протянутую ему чашку и тупо уставился в ковёр: никакая сила не могла его заставить заговорить первым.

— Ну так на чём же мы остановились?

Вера расположилась на диване напротив молодого человека, смело закинула ногу на ногу.

Мерин и тут не проронил ни слова, лишь едва заметно грустно улыбнулся, мотнув головой, мол, тут карьера рушится, жизнь, можно сказать, под откос, а вы — на чём остановились.

Какое-то время она отхлёбывала кофе, не отводя от удручённого следователя острого взгляда. Потом великодушно заговорила.

— Ах, Кораблёв, Кораблёв, кто бы мог подумать, господи, Димка Кораблёв... Я ведь его знаю, — она поставила чашку на стол, закрыла лицо рукой, помолчала, — знала, теперь уже «знала!», невероятно знала Димку, можно сказать, с младых ногтей. Мы учились вместе десять лет, с первого класса. Не поверите — как сейчас перед глазами: открывается дверь, мы уже все сидим за партами, первый школьный день, воспитательница Ольга Степановна ведёт переключку, знакомится и вдруг открывается дверь и входит заплаканный сопливый мальчик. «Здравствуйте, я Дима Кораблёв. Это первый квас „Б“?» Он картавил, вместо «л» говорил «в». Мы хихикаем, Ольга Степановна гладит его по голове: «Садись, „квас“, осталось одно свободное место, будешь сидеть с девочкой?». «Квас» — мы потом его долго так называли — оценивает меня долгим снисходительным взглядом и соглашается: «Вадно, согвасен». «А ты, Вера?» А в меня бес вселяется: такой заморыш и со мной. Я кричу: «Пусть скажет „ЛОДКА“» «ВОДКА», — недоумевает Квас. «А теперь — „ЛОЖКА“». «ВОШКА». Весь класс умирает от смеха, но я не унимаюсь: «В ЛОДКЕ лежит ЛОЖКА». Говорить ему не дают — ответ тонет в восторженных подсказках одноклассников: «В ВОДКЕ — ВОШКА, ВОШКА в ВОДКЕ».

Вера улыбнулась своей знаменитой экранной улыбкой.

— Невероятно, просто не могу поверить. Вы почему не пьёте кофе, Сева? Не так сварила?

Этот её «логический скачок» заставил Мерина вздрогнуть.

— Нет, нет, что вы, всё так. Я слушаю. Спасибо. — Он сделал два торопливых глотка. — Очень вкусно. Очень.

Не скажешь ведь, что он с детства не переваривает этот маслянистый, похожий на горькое лекарство напиток.

— А я, знаете, не могу без кофе. — Вера без видимого повода вступила в полемику. — Если не выпью литр-полтора — считай не просыпалась: весь день клюю носом. А ночью наоборот — ни в одном глазу.

Она прищурилась, закинула руки за голову, при этом её и без того короткое платье мелкими складками устремилось по бёдрам вверх.

Мерин проглотил дыхание, по ногам пронёсся незнакомый озноб. Подумалось, ещё немного и до него дойдёт тайный смысл стихов любимого бабушкиного романса «В крови горит огонь желанья...»

Тем более что неуловимое поначалу изменение внешнего облика киношной дивы обнаружилось теперь отсутствием на ней немаловажных

деталей дамского туалета.

Надо было срочно что-то предпринимать и Сева волевым усилием заставил себя увести глаза в сторону, отметив, правда, что сложность подобных усилий возрастает у него с каждым разом в геометрической прогрессии.

Он «нашёлся».

— У вас нет фотографии Кваса?

Вера потянулась к сигарете, чиркнула зажигалкой, дыхание её долго ещё оставалось сбитым, как после тяжёлой борьбы.

— Какого кваса?

— Ну — Кораблёва в том возрасте.

— А-а-аа. Нет, к сожалению.

— И вот дальше, Юрий Николаевич, после этого нашего «секса», — Мерин силился выдавить из начальника улыбку, но тот слушал его как никогда серьёзно, — дальше началось самое удивительное: вместо того, чтобы спустить меня за такое хамство с лестницы — вряд ли когда-нибудь эту Барби оскорбляли подобным образом, я это не в заслугу себе говорю, просто так вышло, очень, между прочим, удачно вышло — вместо того, чтобы сровнять меня с землёй и пинком за порог, она вдруг поднимается, роется в книжном шкафу и кладёт на стол фотографию Кораблёва и Молиной. Большая, формата открытки, чёрно-белая. Положила и села.

И вот тут-то меня осенило. ОНА ХОЧЕТ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ, ей нужно вложить в меня какую-то информацию. Необходимо! Настолько, что униженное женское самолюбие — тьфу по сравнению с этой необходимостью. Я в этот момент мог делать что угодно: класть ноги на стол, лить на паркет кофе, плевать на ковёр — она всё обратила бы в шутку и всё равно сказала, что хотела. А вот если б я поднялся и пошёл к выходу — вот тут бы она запаниковала — убивайте меня — уверен. Как остановить? Какой повод? Ведь это я умолял её вспомнить что-нибудь из прошлого, а не она меня выслушать её, правда? Уходишь — ну и скатертью дорожка, тоже мне собеседник, слова лишнего не выдавит, женскими прелестями не интересуется, отсутствие нижнего белья его, видите ли, не возбуждает. Пошёл вон, век тебя не видеть. Какой же повод найти, чтобы меня остановить, да ещё так, чтобы я не заподозрил чего, да ещё за такое короткое время — пока до двери иду? Вы не поверите, Юрий Николаевич, у меня прямо пятки зачесались — так захотелось проверить гипотезу.

Мерин вскочил на ноги и, не отдавая себе отчёта в том, что бесстыдно подражает начальнику, забежал по кабинету.

— Но — страшно! А вдруг ошибаюсь? Вдруг не остановит? Идёшь — ну и иди, говно зелёное. Страшно! Так я знаете что сделал? Я замолчал. Ни слова. Смотрю на фотографию и молчу: гони. Я обещал уйти при первом взгляде на входную дверь? Обещал. Ну и давай, смотри на дверь. Что ж ты не смотришь? Знаете, Юрий Николаевич, сколько молчал? Минут десять, честное слово. Не менее. Всё на фотографию тарасился, глаза заслезились. Думаю: фиг тебе заговорю, тебе надо — ты и давай, зачем я буду помогать? А потом допёр: если столько времени не гонит — значит моя правда, сказать что-то хочет. Значит, помочь ей надо не опасаться, что мент заподозрит неладное может, в поддавки сыграть, шашечку зевнуть-подставить. Я и задаю вопрос про Молину с Кораблёвым — их фото передо мной, вроде никакой натяжки, всё естественно.

А она вдруг — точно вижу — обрадовалась.

Мерин положил фотографию на стол, достал платок, вытер слезящиеся глаза. Спросил очень тихо, одними губами, сам себя не расслышал.

— Они тогда очень любили друг друга?

По её молниеносной реакции он понял, что Вера получила наконец то, чего так упорно ждала, получила главное: не она возобновила рассказ, а он попросил её об этом.

И заговорила.

— Это нельзя назвать любовью, на Земле так не любят. Это была страсть. Безумие — так нам всем казалось. Им нужно было жить на другой планете, на необитаемой, чтобы ни один взгляд не мог осквернить завистью их отношения. Говорят, любовь приедается с годами, как надоевшее блюдо. Не знаю, они питались друг другом, сжигали себя, изживали и возрождались вновь, как Феникс. Женька верила, что так будет всегда, я знаю. И то, что с ней случилось, — не её вина. Им по семнадцать, они умирают друг без друга, не дышат, не живут. Назначается свадьба — кольца, наряды, подарки, приготовления — вся школа стоит на ушах — не было ещё такого, чтобы в десятом классе так всех под себя подмять: только и разговоров, что о Ромео и Джульетте — их все очень любили.

Она замолчала, перевела дыхание и тут же продолжила, словно боясь, что её перебьют.

— Представьте: всё по восходящей, всё со скоростью света, ещё немного и они — небожители. И вдруг... Нет, мужчины никогда этого не поймут, вы — это другое тесто, особое, примитивное: дважды два — четыре, хорошо — плохо. Ещё кофе?

И опять Мерин вздрогнул.

— Нет, спасибо.

— Так вот — вдруг за неделю до венчания она улетает в Крым со своим новым воздыхателем: появился у неё такой прыщавый мудака, прости, Господи. Это при том, повторяю, что Кораблёв для неё — всё: жизнь! Димка — красавец, Геркулес, умница — все влюблены явно или тайно — и этот сморчок. Может мужчина понять такое? Никогда! Не простить — сколько угодно. Понять — кишка тонка. По-другому вы, мужики, сделаны, другим напичканы. Другого Миру. Бог у вас — средство потребления: призван следить, чтобы самолюбие ваше драгоценное не страдало. А женщина — она жизнь даёт, отдавать сотворена, всем каждое мгновение — мать. Она, Женька, гриба того поганого тогда пожалела, родила заново, он бы без этого загнулся где-нибудь под забором от любви своей слюнявой, неразделённой.

И всё. Никакой свадьбы. Через десять лет только. Всё! Не могло не случиться то, что случилось. Чужими они стали после Крыма того проклятого.

Оперативная группа во главе с Мериным в полном составе в количестве трёх человек собралась в одном из кабинетов Управления уголовного розыска для подведения итогов дня. Настроение у всех было подавленное: говорить практически не о чем — ни одна из многочисленных версий не находила сколько-нибудь достойного подтверждения.

Вяло хорохорился, и то, видимо, чтобы не изменять себе, только Трусс. У него имелся свой собственный метод анализа, выстраданный за годы службы, не бесспорный, конечно, но, по его утверждению, в большинстве случаев приносящий успех. Когда Анатолия Борисовича просили определить суть его дедукции словами, то звучало это приблизительно так: опровергай всё, вся и всех, даже самого себя и истина всплывёт говном в проруби. Этим он теперь и занимался.

— Интуиция, маленький, хороша при ловле блох: надо угадать, куда они, падлы, прыгнут. Чтоб не искусали. А в нашем деле факты нужны, слышал про такое? Факты. А не гадалки. Что ты пристал к этой Щукиной? Что она тебе сделала? Ну — трахал её твой Кораблев, допустим, хотя со свечкой никто не стоял. И что? Не бывает разве такого? Или завидки берут? Ну — уволилась она с работы, молодец, докопался, хвалю, только что это

доказывает? Может, ей просто надоело по ночам задницу в «скорой» протирать и время, для любви отпущенное, на нездоровых мужиков расходовать? Бабий век — он ведь не век длится, это только мы с тобой да вот Яша ещё, как пионеры, до ста лет: «Будь готов — всегда готов!» Помани только как следует.

Трусс вылил остатки водки в стакан, задержал над ним горлышко бутылки.

— Ещё будет кто? — Ответа не последовало.

— Давай, Сивый, считай капли, займись делом, а то, я смотрю, ты совсем заскучал. Досчитаешь до ста — это минут тридцать — выпьем и по домам. Лады? Кушать очень хочется.

Он прошёлся по кабинету.

— Ну — явится твоя Нина завтра с повесткой, ну — допрошу я её, допустим, с пристрастием, как говорится, и что? Что у меня есть? Чем мне брать? Где хоть один козырёк? Хоть какая семёрочка завалящая? Она наверняка всё будет отрицать — и я в жопе. Нет у нас доказательств против Щукиной.

— Есть.

— Нет.

— Нет есть! — Мерин даже поднял кулак, чтобы ударить по столу, но вовремя спохватился. — Есть доказательства!

Трусс изогнул брови.

— Какие, начальник? Просвети, не томи.

— Я видел её, понимаете, Анатолий Борисович, ви-дел! Она была не в себе, у неё руки дрожали! И разговаривать со мной не захотела...

— Убедительно. Сдаюсь. Наповал, правда, Яша? Молодец, не ожидал. Одна только неувязочка. Говоришь, руки у неё дрожали? Верю, но смотри, видишь — и у меня они дрожат. — Он протянул перед собой ладони. — Так я вчера преувеличил немного, грамм на пятьсот, вот они у меня и ходят ходуном. Может, и она тоже? У медиков, говорят, всегда при себе спирт неразбавленный. А потом подумай, Всеволод Игоревич, если бы у тебя из-под носа любимую девушку увели в совершенно неизвестном направлении — как бы ты реагировал? Никак?

Трусс подсел к Мерину, обнял его за плечи.

— Когда у нас любимых уводят — дрожат не только руки-ноги, но и все остальные члены, уж поверь на слово. Нет? И говорить она с тобой не захотела — тоже понятно: не до того, видимо, было в столь тягостный для неё час. А что мужу бывшему звонила — так он же у неё бизнесмен, равно как и покалеченный Кораблёв. А свой свояка, как известно... и так далее.

Вдруг чего-нибудь да насоветует. Я прав, Яша, ты Щукиным занимался, с блесной ходил на эту щуку?

— Там в его конторе выручку не показывают. Вроде за бугор вывозят. Не наше дело — налоговой. — Ярослав выглядел неприглядней разбитого автомобиля.

— Но ей-то, Щукиной, без разницы — чьё это дело: наше — не наше. У неё умыкнули любовника. Так? Так. Где искать? Куда — звонить? В милицию? Но она, я слышал, не совсем идиотка: раз избили до полусмерти, стало быть, мальчик её не настолько законопослушен, чтобы под стеклянный колпак и на выставку достижений для подражания молодому поколению. Верно? Не хотела она с тобой разговаривать. Не-хо-те-ла — вот и весь сказ. Сегодня у нас какое мая, третье? Вот она третий день и помалкивает и правильно, кстати, делает — что тут непонятного? Вы меня контролируйте, ребятки, я ведь могу ошибаться.

Он повернулся к Мерину, погладил его по голове.

— Не устал считать, маленький? Сколько накапало?

— Тридцать две.

— Ё-моё! Не жилишь? Так мы до утра просидим. Яш, давай ты, начальник — лицо заинтересованное, а мы с тобой люди свободные.

Трусс передал бутылку Ярославу, сделал несколько приседаний, приговаривая: «Загнёшься тут с вами к чертовой матери, чтоб не сказать хуже». Вновь развалился на стуле.

— Ну что призатихли, угрозки? Мне возражения нужны доказательные — иначе я не гений. Не там мы рыбку ловим, поверьте, не туда сеть забрасываем, при чём здесь Нина Щукина?

— Нет, при чём!

— Убедительно. Доказывай.

— Я чувствую!

Трусс сделал вид, что падает со стула.

— Опять двадцать пять! Ну давай всё сначала, давай: маленький, почувствовать ты будешь с барышней в постельке, и то не сразу — потрудиться надо. А здесь твои чувства — мармелад, который мы с Яшей никогда не едим. Читал Чехова? Засунь ты куда подальше эти свои чувства — факты давай. Есть у тебя факты?

— Есть!

— Давай!

Сотрудники предоставили Мерину отсрочку: пока тот заглывал готовый слезами пролиться комок в горле, они выкурили по сигаретке.

— Сто! — сказал Ярослав. — Можно.

Трусс разлил содержимое стакана на две порции.

— Держи, Яша, быстро считаешь, заслужил. Тебе нельзя, — обратился он к Мерину — глаза будут блестеть.

И они с Ярославом выпили на брудершафт.

Мерин начал очень тихо — единственная возможность не выдать своего отчаяния.

— Кораблёв не убивал жену, не сгорал в своей квартире. Он жив, избит кем-то и теперь исчез. Это мы знаем. Кто-то его долго, по тщательно разработанному плану, подставлял, и в случае, если мы заглатываем эту приманку — дело сделано: его нет. На самом же деле он есть, он — человек-невидимка, воскреснуть может только на другой планете. Из этого я делаю вывод, предполагаю, что сценарий этот написан любящей женщиной... Подождите, Анатолий Борисович, дайте мне договорить. — На этот раз Мерин-таки ударил несильно кулаком по столу.

— Да, предполагаю, но чтобы с фактами в руках — надо же сначала что-то предположить, правда? Пред-по-ла-гаю, что это — страстно любящая женщина. Именно — страстно! В этом деле вообще, по-моему, много Достоевщины. Ведь и Евгения Молина, несмотря на все чудовищные выходки мужа — он даже в день их свадьбы провёл ночь с другой женщиной — Евгения Молина его тоже страстно любила, и «сценаристка» знала о её чувстве к Кораблёву. Молина была для неё самой опасной конкуренткой — и она убрала её якобы руками мужа. Первую часть задуманного Щукина осуществила сама: каким-то образом заманила Молину к себе и дальше — дело несложное: тринитроцианид пролонгированный, который в морге выдаётся за моментальный. Вы сами, Анатолий Борисович, это убедительно доказали при допросе хирурга.

— Да это убедительно, у тебя есть доказательства, что Щукина была знакома с Молиной? Согласись, в твоей версии это немаловажно. Любовница — с женой? Что-то я даже в мировой литературе реалистического направления не часто...

— Есть! Вернее — почти есть...

При слове «почти» Трусс, не жалея себя, звучно приложился к собственной ляжке, но Мерин продолжил.

— И я докажу обязательно. Сейчас не об этом речь. Первую часть сценария она исполнила сама, тут сложности не возникло. А вот кто реализовал вторую? Сгоревший на Шмитовском Сергей Слюнькин — а это он, никаких сомнений, результаты лаборатории не за горами: Галя нашёл не до угля сгоревший фрагмент, по которому можно делать выводы — так вот, Слюнькин был сначала убит выстрелом в голову, это установлено точно, а

потом его взорвали: фрагмент этот Галя нашёл на потолке — как он туда мог попасть, если не от взрыва?

— Прости, — очень деликатно поинтересовался Трусс, — кто, ты говоришь, нашёл?

— Галя.

— Понятно. — Он взглянул на Ярослава. — Какая Галя?

— Неважно. Его убили, взорвали, а потом уже сожгли. И всё для того, чтобы исключить возможность идентификации. Теперь ответьте мне: чужому Щукина могла доверить подобное, оставаясь при этом уверенной, что заказ будет выполнен, а сама она не будет выдана ни при каких обстоятельствах? Ни при каких! А только это, как вы понимаете, и входило в её планы — никакой риск тут не имел права на существование, иначе вся затея — прахом.

Рядовые члены возглавляемой Мериным оперативной группы удручённо молчали. Мерин повторил вопрос, медленно растягивая слова.

— Кому она могла доверить реализацию самой опасной части своего сценария?

Ярослав Яшин неуверенно поднял согнутую в локте руку.

— Можно, я попробую? Нина Щукина — сценаристка — могла доверить реализацию самой опасной своей части или режиссёру или исполнителю заглавных ролей...

Трусс его укорил.

— Не сбивай его, Яша. Неужели непонятно: в нашем случае режиссёр и артист в одном флаконе. Да, Сивый?

Мерин снисходительной паузой потушил робкие всполохи юмора.

— Она могла доверить подобное только человеку, патологически в неё влюблённому! В противном случае и киллера надо убирать, а это уже задачка не для скромной труженицы кареты «скорой помощи». Она же не профессиональная преступница. Теперь дальше. Ты говоришь, — Сева ткнул пальцем в сторону Яшина, — Щукин не показывает выручку. А, может, её и нет, выручки-то? Может, он на нуле или в минусе, так что и показывать-то нечего? Может такое быть? Бизнес у него лицензионный, легальный то бишь, а за легальный бизнес после дефолта — сами знаете, никто гроша медного не даст, тем более он «фармаколог», у него Брынцалов в конкурентах, этот не подавится. Может, Щукин-то в разоре стоит, долги платить нечем, на себя заказухи ждёт — носа не кажет? Может такое быть? Дальше. Владимира Сомова, у которого бизнес с Кораблёвым, мы не нашли, правильно, Анатолий Борисович? Отчества его Вера Нестерова нам не сказала — не знает — а Владимир вы сколько в Москве

перебрали? Вот именно. И что? Нет такого бизнесмена Сомова Владимира. Значит дело у него подпольное, криминальное и, надо полагать, не безуспешное, потому что только такого рода «бизнес» после пресловутого дефолта и смог выжить. Правильно? Что же получается...

На этот раз первым оказался Трусс. Он перегнулся через стол и вытянутой рукой стал трясти перед меринским носом.

— Можно я? Можно я, Всеволод Игоревич?

— Попробуйте, Трусс. — Сева был серьёзен. Анатолий Борисович встал по стойке «смирно».

— Получается следующее: гадкая девочка Нина отравила хорошую девочку Женю Молину, потом попросила влюблённого в неё мальчика Витю Щукина убить другого мальчика, Слюнькина, но как бы руками третьего мальчика — Димы Кораблёва, чтобы самой жить с ним половой. Витя согласился, но взамен потребовал от неё заставить Диму поспособствовать в экспроприации процветающего бизнеса четвёртого мальчика, Володи Сомова. Дима согласился, потому что не мог выговорить ни слова: ему набили е...к. А Сомов, жадный, отдавать свой бизнес не согласился. Витя Щукин упёрся: «Не буду убивать даром, я бедный». А Нине хочется жить половой жизнью и она говорит: «Тогда убей сначала Слюнькина, а потом убей и Сомова и некому будет не соглашаться». Правильно, Всеволод Игоревич?

Яшин откровенно хохотал. Сева насторожился.

— Ну — дальше. — Он хорошо изучил Трусса и понимал, что тот ни за что так быстро не сдастся. И не ошибся.

— Дальше? А дальше — больше. Что дальше? Дальше, если в ближайшие дни мы узнаем об убийстве некоего Сомова Владимира, можно смело переводить меня в следующий класс с высшим баллом по логике мышления.

Он по-грузинскому обычаю протянул Мерину ладонь для удара. Тот не принял предложенного тона, чем немало удивил старшего товарища.

— Ладно, проехали — не заметили. — Это прозвучало как-то не потруссовски мрачно. — А теперь слушайте сюда, мальчики, — рядовой член группы выходит на оперативный простор. Включи диктофон, начальник, потом издашь как учебное пособие. Значит так: Нину Щукину брать нельзя — бугры не позволят. Они, суки, доказательства любят, а их нет. Это факт. Далее: почему мы так быстро забыли о весьма привлекательной женщине Светлане Нежиной? Она этого не заслужила: куда прикажете девать мужские швейцарские часы фирмы «Роллекс», виртуозно, Всеволод Игоревич, не без зависти скажу, обнаруженные вами в квартире этой

одиноким женщины? А? Выбросить? Жаль. Не дешёвые. Говорят, неплохо ходят. Уликами мы не завалены, да и наитие это ваше — не совру — одно из самых сильных моих жизненных впечатлений, жалко коту под хвост. Теперь вы, Всеволод Игоревич, если мне не изменяет память, сказали, что «сценаристкой» могла быть только страстно любящая женщина. Предположим. Но как раз именно Нежина как нельзя лучше подходит под это ваше предположение: Кораблёв у этой барышни был первым мужчиной, первый, так скажем, «посетитель». Если я правильно помню ваш рассказ — он её ещё в школе чуть ли не указницей оттрахал. Мог, кстати, и раньше присесть годков эдак на пятнадцать. Но сейчас не в этом суть. Он — первый. А для нимфеток наших первый — это, верьте моей начитанности, не жук на скатерть сделал гадость. Это — страшное дело. Смерть. Вернее, наоборот — жизнь. Новая жизнь. Второе рождение. Другая субстанция — женщи-на! Улавливаете? Не мне вам рассказывать, орлы. Я прав? — Он подмигнул Мерину заговорщически. — Они своих первых как отца с матерью помнят, любят, почитают. Все последующие — ни в каком приближении. Так что, мальчики, пока я жив: хотите, чтобы вас любили, старайтесь как можно чаще быть первыми. Но я, кажется, углубился, как, путая ударения, говаривал один мой президент. Главное: могла ли эта наша Светлана ради своего «первенца» на мокруху пойти? Да как чихнуть при сильном насморке. Далее. Перейдём к Нестеровой Вере. Вы не устали? — Трусс заботливо обвёл глазами обоих. — Тогда вперёд. Скажите мне — кто такой этот самый Туров, или, как его, Тутуров, который якобы сообщил Вере о сгоревшей квартире на Шмитовском? Кто он такой? Я вас спрашиваю, гражданин начальник, кто он такой? Наша уважаемая артистка Вера Нестерова без видимых причин беззастенчиво врёт, вы её в этом — опять же низко клоню голову — уличаете, и... что? Что?! Так врёт она или нет?

Если нет, то и суда нет. А если — да, то зачем? Зачем взрослой женщине врать следователю? Просто начиталась про барона Мюнхгаузена? Сомнительно. Разве это не повод, чтобы оставить несчастную Щукину в покое и переключиться на киношную знаменитость, которая, кстати, тоже страстно души не чаяла в нашем Казанове, если хотела за него замуж? Вы утверждаете — она вас соблазняла. И это тоже не в её пользу: соблазнять она могла для того, чтобы «замазать» следователя. Хотя... — Анатолий Борисович мечтательно вскинул глаза вдаль, помолчал. — Могла и просто из любви к этому занятию: они ведь для этого все как одна и губки красят, брови выщипывают, попки брючками обтягивают. Сколько ей, ты говоришь? Сорок? Да-а. Сверстников не уговоришь-не уложишь: те поди

свежачком балуются. Кто постарше — морока: изведёшься до кондиции доводить. А тут — на тебе: конь необъезженный, только погладь по крупу — дуло в землю упрёт. Такое не часто выпадает. За-хо-те-ла. Не допускаешь? Зря, Сивый, с интуицией у тебя порядок, а с этим делом пробел. Ничего — это наживное. — Трусс помолчал, взглянул на часы. — Ребята, время позднее, вы меня останавливайте, а то ведь я один живу, давно ни с кем не разговаривал. Ладно, поехали дальше. С Верой Нестеровой разберёмся, недаром говорят, что все артистки б...ди. Но нас не проведёшь, Вера Нестерова, мы таких Нестеровых Вер в гробу мно-о-о-о-го, — он с удовольствием сел на букву «о» и долго с неё не слезал, — видели, не на тех напали-с, Вера Нестерова. Ну-ка живо: кто такой Тутуров или завтра же под расстрел. И все дела, разговор окончен. Так что и Нежина Светлана со своим ё...ным салоном и Нестерова Вера со своим Тутуровым и женскими чарами...

Мерину на мгновение показалось, что кто-то выключил электричество: и без того тусклый кабинет погрузился в полную темноту. Трусс продолжал говорить, но смысл его слов до Севы не доходил. Виски ударно чеканили только одну фразу: «Не на таких напали-с, Вера Нестерова...», Вера Нестерова, Вера Нестерова... Ве... Не... Не... Ве...

Чтобы не упасть, он обеими руками ухватился за край стола.

— Маленький, что с тобой? Обиделся? Ты что? Да перестань, не бери в голову, это так только — мысли вслух, не более того, ты же знаешь мой метод: чтобы истина говном в проруби... На-ка выпей, полегчает. Что ж ты взбледнул-то как?

Трусс затряс графином над Севиной головой.

— Кончай, кончай, Сивый, слышь? Посиди, успокойся. Ты молодец. Мо-ло-дец. Я редко хвалю. Скажи, Яш: «Молодец, Сивый, много накопал». Эту Нинку Щукину мы теперь зае...м, не сомневайся, вот фактиков поднадыбим и зае...м. А факты — вообще херня. Главное — интуиция! Факты — дело наживное. Я её завтра допрошу с пристрастием — эту Щукину — и она у нас голенькая на двух лопатках: «Пожалте к зачатию». А мы ей: «Одевайся и сопротивляйся!» Упоение ведь в бою, да, Сивый? Ну что, полегчало?

Он достал носовой платок, смочил его водой.

— На, прижми к затылку. Хочешь — я прижму. Затылок беречь надо, там оба наши полушария. Давай. Во-о-т та-а-к. Эх, Севка, если твои фантазии хоть на пятьдесят процентов сойдутся — с меня бутылка. Да, Яш? Скинемся? Хочешь — прямо сейчас сбегай, начальник? Тебе на воздух теперь — в самый раз.

Он полез за кошельком.

Мерин произнёс очень тихо, чеканя каждое слово.

— Я отказываюсь от всего, что только что говорил. Щукина не причастна к убийству.

«Произнесённые слова поражают как громом всех. Вся группа, вдруг переменив положение, остаётся в окаменении. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается».

Описанное Николаем Васильевичем Гоголем полтора столетия тому назад событие это загадочным образом перенеслось на Петровку, 38 в кабинет следователя по особо важным делам: посередине комнаты Анатолий Борисович Трусс в виде столба с распостёртыми руками и запрокинутой назад головою. За ним Ярослав Васильевич Яшин, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы желая посвистеть или произнести: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

По прошествии полутора минут Трусс сказал:

— О-о-оо-ооо-ооо!

Яшин с ним согласился.

— Я присоединяюсь к вышевыступавшему товарищу.

— Щукина не причастна, — уже спокойней повторил Мерин, — а фантазии мои сходятся не на пятьдесят, а на девяносто девять процентов. Только фамилии у этих фантазий другие. Молину отравили её ближайшие подруги. Её «сёстры». Нестерова. Или Нежина.

Прошло время.

Затем Анатолий Борисович несвойственным ему дребезжащим шёпотом — подобной вкрадчивости от него никто не ожидал — поинтересовался:

— «И»? Или — «или»? А? «Или»? Или — «и»?

Некоторая напевность труссовского вопроса потонула в напряжённой тишине. Наконец Мерин сказал неуверенно:

— Или.

— Понятно. Теперь понятно: в одном строю держать не можно коня и трепетную лань. И всё же, рискуя нарушить хрупкую ткань осенения, спрошу: «Как тебе...»

— «Не... Ве...», Анатолий Борисович, «Не... Ве...» Нестерова Вера или Нежина Светлана.

Мерин выглядел опустошённым, кровь ещё не вернулась к его смертельно бледному лицу.

Настала очередь Ярослава.

— А разве имя Светлана начинается на букву...

Но и ему не суждено было довести мысль до логического конца.

— В школе её звали Ветой.

Наступившую тишину взорвал телефонный звонок — все трое подпрыгнули, как по команде. Первым пришёл в себя Трусс.

— Следователь Трусс слушает. Да, товарищ полковник. Нет ещё, все здесь. Да, вроде... — он помолчал, слушая начальника. — Когда? Понял. Есть — завтра в 8.00.

Аппарат коротко звякнул, обозначив окончание связи.

— Скорый. Завтра в восемь у него. В квартире своей бывшей жены Нины убит Виктор Щукин.

Когда далеко за полночь Людмила Васильевна Яблонская услышала в прихожей долгожданный звонок, она поняла, что у внука большие неприятности.

Она молча открыла дверь, не ответив на традиционное «Привет» шмыгнула в свою комнату, и уже оттуда крикнула:

— Что поздно?

— Задержался.

— Я так и подумала. Всё горячее. Ужинай, пожалуйста. Я сплю.

Она легла на диван и стала прислушиваться.

Выпивать внук начал недавно, понемногу, но уж больно с какой-то подозрительной регулярностью: то день рождения, то праздник, то у кого-то кто-то родился, а то и просто за успех дела или за его благополучное окончание. Всякий раз по звонку в дверь Людмила Васильевна практически безошибочно определяла количество граммов, пришедшихся в этот вечер на каждого собутыльника.

Было несколько поздних приходов с длинными, «нахальными», как она их называла, звонками, когда казалось, что палец провалился в отверстие вместе с кнопкой и высвободить его оттуда удастся только с посторонней помощью. Это означало, что счёт шёл не на граммы, а на бутылки и количество их определялось числом участников застолья. В таких случаях Людмила Васильевна бесстрашно давала волю своему красноречию, которое сходило на нет только с мерным посапыванием внука.

Были приходы с робкими, застенчивыми, как бы извиняющимися звоночками — значит «взято» всего по «166 и 6 в периоде» граммов на брата, то бишь бутылка на троих. Причём всякий раз это старательно

скрывалось, дабы у неё не возникало даже мысли из-за этакой малости проводить воспитательные беседы о необходимости трезвого образа жизни. И Людмила Васильевна «не замечала», помалкивала.

Бывали «признательные» звонки в дверь. Их, как правило, следовало несколько друг за другом. Три, а то и четыре подряд. Это, когда внук как бы не отрицал самого факта возлияния, но и не допускал возможности публичного обсуждения этой темы. Мол — да, выпил, не отрицаю. И что? Будем нюхать? И Людмила Васильевна знала точно: бутылок три, сидели впятером, пили поровну. Сегодня, похоже, случай был наихудший: по 333 и 3333... до бесконечности на каждого — то есть две на троих. Таким образом, вариантов дальнейшего поведения у неё оставалось не так много. Первое: принять снотворное и до утра расстаться с неприглядной действительностью. И второе: воспользовавшись шумом падающей посуды (каковой непременно последует), грозно явить себя в дверном проёме и, начав с неотъемлемого права каждого человека на отдых в ночное время, ненавязчиво перейти к опасным последствиям алкогольной зависимости, незаметно подстерегающей всех молодых людей. Людмила Васильевна по размышлении зрелом склонилась уже было ко второму варианту, как наиболее перспективному, (на кухне к тому времени уже что-то неоднократно падало), как вдруг раздалось неожиданное:

— Людмила Васильевна, вы спите?

Никогда ещё не бывало такого, чтобы обязанный защищаться сотрудник уголовного розыска вызывал огонь на себя.

«Неспроста», — подумала урождённая Яблонская и, не заставляя себя ждать оказалась на кухне.

Внук, бледный, осунувшийся, с воспалёнными глазами, вопреки ожиданию, неподвижно сидел за столом в позе роденовского «Мыслителя». Безумный взгляд его был устремлён в сторону подставки со специями. Не удостоенный вниманием ужин томился на плите. На стенных часах со сломанной минутной стрелкой при определённой сноровке можно было угадать приблизительное московское время: что-то около половины третьего.

— Выпьешь? — Не дожидаясь очевидного ответа внука, бабушка полезла в шкаф за графином.

— Скажите, Людмила Васильевна, из-за любви можно пойти на убийство? — Она качнулась. «Только этого не хватало, час от часу...» Спросила ласково:

— Ты о чём, милый?

— Я говорю — можно убить из-за любви?

Людмила Васильевна не ответила, не успела. Потому что говорить начал Мерин Всеволод Игоревич.

— Они его все трое любили. Ещё в школе любовниками были. Кроме Молиной. Эта в своей любви всех превзошла, потому что не хотела его ни с кем делить. Даже с «сёстрами», понимаешь? Так их называли, но на самом деле они чужие. Хуже чужих — они враги. Жуткое дело. Они её убили, потому что она его очень любила, и он её любил, хоть они и разошлись. Они убийцы. Одна из них. Не... Ве... Они обе НеВе, понимаешь? Но одна — убийца. Я тебе всё объясню. Она отравила её и убила Слюнькина, но как-будто Кораблёва, то есть как-будто это он отравил жену, а потом сторел. И теперь она его спасёт. Спасёт! Увезёт на Луну, потому что здесь ему не жить. Он убил Молину, Слюнькина, Щукина и ещё двоих — Гатарова и... забыл фамилию. Пять человек убил. Так подстроил Тутуров. Он и Щукина убил и ничего не докажешь теперь, он убийца. А она его спасёт. Здесь ему жить нельзя — вышка — они на Луну уедут. И он с ней поедет, хотя давно уже жену любит, а не её, она ему изменила перед свадьбой. И свадьбы не было. Но он поедет, потому что жены нет, а она его спасёт — собой пожертвует — так любит. Ей только это нужно — с ним. Понимаешь? Это что-то — не знаю — страсть? болезнь? патология? Это Рогожин в чистом виде... И Тутуров должен быть Рогожиным, иначе — кто пойдёт на такое? Ему Щукин нужен с бизнесом, а тот не дурак — вот и убили. Я с Ниной Щукиной ошибся. Всё сходилось, но — ошибся. Мне Не... Ве... помогло. Она перед смертью хотела сказать, кто ей яд подсыпал. Нестерова Вера. Или Нежина Вета. Но не успела. А Сомова — нет! Вообще нет!!! Сомов — это Щукин. Я думал — Нина. Тогда Щукин всех убил. А с этой Не... Ве... он не знаком даже, Щукин. Это другой кто-то. Я теперь точно знаю: Сомов — это Щукин. Нестерова меня обманула. Или Кораблёв обманул её. Или Щукин работал с ним под этой фамилией — Сомов. Оба — рыбы, тут и фантазии много не надо. Сомов — это Щукин. А про которого я думал — Сомов — не Сомов, а совсем другой кто-то. Условно — Тутуров. Он в разоре после дефолта. Не... Ве... сдаёт ему через Кораблёва Щукина. А как на того выйти? Надо же на него выйти, правда, чтобы убить? Единственный выход — убрать цепочку, якобы скрысовать, чтобы Щукин сам вышел на Кораблёва. Он вышел — и убили. И выходит — опять Кораблёв. А он жив! Галя нашёл фрагмент Слюнькина, значит Кораблёв жив...

Людмила Васильевна решительно встала.

Раньше внук никогда не обсуждал с ней служебные темы, потому какое-то время она слушала с благодарной внимательностью, хотя течение

его мысли, откровенно признать, периодически ускользало — она долго объясняла это своим возрастом — но последний пассаж с «Галей», который нашёл какой-то фрагмент, неприятно кольнул тревогой: налицо явное переутомление.

Она обняла внука, укротила разметавшуюся по лбу чёлку.

— Севочка, вы втроём выпивали?

— Да, — не сразу сообразил Мерин.

— И сколько, прости?

— Что «сколько»? А-аа, две. А что?

— Нет, нет, это я так. Себя проверяю.

— Ты думаешь — я пьяный?

— Нет, что ты. Иначе я бы тебе не наливала.

— Умница. — Сева придвинул к ней пустую рюмку. — Ты мне только скажи: из-за любви может быть такое? Или нет? Тогда всё рухнет! Всё! Ни одной зацепки! Может или нет?! Только учти, если нет, то и Достоевский весь — так, выдумка, никакая не психология. Ну? Может?

— Севочка, милый, — Людмила Васильевна постаралась ничем не выдать своего волнения, — послушай меня внимательно. От любви может быть всё что угодно. Это одно из самых сильных человеческих чувств. Возможно, даже самое сильное. Оно лишает рассудка, убивает, заставляет совершать не свойственные здоровому человеку поступки и, напротив — поднимает, возвышает, дарит жизнь... НО!

Она перечислила известные ей проявления любви нарочито бесстрастно, как бы не скрывая своего негативного отношения к слишком большому влиянию этого загадочного феномена на судьбы «хомо сапиенс».

Затем, после «НО!», эффектным молчанием заполнила немногие секунды, показавшиеся Мерину вечностью, и продолжила с пафосной расстановкой.

— Но... Она... Проходит! Про-хо-дит, кто бы что ни говорил о вечности Её Величества Любви. И у тебя пройдёт, поверь мне, милый, ты не исключение, хотя и очень самобытная, в чём-то даже уникальная личность. Я не льщу — это так. Пройдёт. «Пройдёт, как с белых яблонь дым...» Ну? Ведь я права? У неё дивные волосы цвета медного таза, а на шее солнечные завитушки? Да?

Особой сообразительностью Мерин никогда не отличался, на осмысление элементарных вещей порой расходовал многие часы, но так мучительно долго и безрезультатно пытаться вникнуть в смысл сказанного ему ещё не приходилось.

— Нет, ты чего-то не поняла, я, наверное, не очень внятно излагаю. —

Он наконец отказался от попытки постичь тайный намёк бабушкиного иносказания. — Это я виноват. Пойми, тут дело не в завитушках. Тут — Достоевский! Могло ведь быть такое в XIX веке? Могло? Было! Почему сейчас не может? Не... Ве... до смерти любит Мышкина, а Рогожин, тоже до смерти — Не... Ве...! Он жив, Мышкин, жив и где-то прячется. Ему теперь до конца жизни прятаться, если я его не найду. А я его найду! И Не... Ве... найду! Она Молину отравила, а у той синяк на теле, гематомы. Откуда? Сегодня у нас третье? — Он глянул на стенные часы, посчитал вслух. — Двенадцать, час, два... Это что — полтретьего? Или полчетвёртого?

— Четвёртого, Севочка.

— Четвёртого. Значит — 4 мая. А гематомы — 1-го, того же дня, когда её отравили. Кто мог избить одинокую женщину рано утром? Сумасшедший отец? Маньяк? Влюблённый Слюнькин?

— Так его же убили. — Людмила Васильевна из кожи вон лезла, чтобы оправдать внуково доверие.

— Кого убили? — Мерин опять ничего не понял.

— Слюнькина. Ты сам сказал: Рогожин убил Слюнькина.

— Какой Рогожин?

— Не знаю. Ты сказал.

Сева закрыл глаза, откинулся на спинку стула.

— Людмила Васильевна, вы ещё немного напрягитесь, ладно? Самую малость. Я скоро закончу и пойдём спать, только не перебивайте. Правильно, Рогожин убил Слюнькина, как будто это Кораблёв. Но Галя нашёл фрагмент и теперь надо понять, кто такой Тутуров. Ну это-то понятно? Тутуров самый главный. Я думал — это Сомов. А Сомова нет. Сомов — это Щукин, его сегодня, то есть вчера, убили в квартире Нины Щукиной, его бывшей жены, у которой прятался Мышкин — он же Кораблёв. Я опоздал на два часа — экспертиза показала, что его задушили около одиннадцати. И Нина опоздала, у них обед скользящий. Я её зря подозревал. У него сотрясение мозга, сам идти не может, а его нет. Значит — увезли. Кто? Тутуров, кто ж ещё — он самый главный, хотя это и очевидно, преступления совершаются вопреки. Тутуров знаком с обеими Не... Ве..., но влюблён в одну, страстно, как Достоевский, то есть, тьфу, как Рогожин, до беспамятства. Не... Ве... нужен живой Мышкин, а Тутурову нет, совсем не нужен. Напрочь. Он его уберёт — не сам, конечно, и не сразу, но уберёт обязательно. Всё так подстроит — несчастный случай — и Не... Ве... — его. Рогожин убил Настасью Филипповну, а этот уберёт Мышкина, потому что это XXI век, а не XIX. Там было, если не мне, то

никому. А сегодня: никому, только мне. Разница! Ну? Теперь, наконец, всё понятно?

— Если честно — не очень, я по ночам плохо соображаю. Давай так, Севуля, хватит на сегодня, договорились? И так уже, по-моему, преувеличили, не находишь? Ложись.

Людмила Васильевна закрутила графинчик притёртой пробкой, чмокнула внука в затылок и закрыла за собой дверь спальни комнаты.

Конечно, она и раньше догадывалась, что работа в уголовном розыске — не то же самое, что фамильное увлечение её предков по отцовской линии — дегустация редких сортов вин многолетней выдержки, но то, что эти профессии настолько полярны с точки зрения затраты нервной энергии, она до этой ночи предположить не могла.

«Возраст, — ещё раз невесело подумала урождённая Яблонская. — Будь я помоложе — мудрёная комбинация его слов обязательно составила бы в цепочки предложений, доступных моему пониманию. А так... Нет, не прав был поэт: молодость и знает больше, и может лучше».

Непривлекательные внешне, даже скорее гадкие Слюнькин с Тутуровым начали было уже расплываться, уступая место симпатичному Гале с его фрагментами, как вдруг однообразные гнусавые звуки мобильного телефона вернули её в сидячее положение. Слух напрягся сам собою, усилий для этого Людмиле Васильевне прилагать не пришлось.

Из кухни донеслось:

— Нина Ивановна? Простите, что так поздно, вернее — рано. Это Мерин из уголовного розыска. Скажите, в тот день у Кораблёва были на руке часы «Роллекс»? А раньше такие часы вы у него видели? Спасибо. Ещё раз простите.

Ответов на эти несложные вопросы в то памятное утро Людмила Васильевна так и не услышала.

Катя, не касаясь лестничных ступеней, летела вниз, боясь опоздать с подтверждением своих экстрасенсорных способностей. «Если не он — значит не он. А если он — тогда...» Она коротко чмокнула дежурную, схватила трубку.

— Сева?!

На противоположном конце долго молчали, ей пришлось повторить вопрос. На этот раз интонация получилась менее уверенной.

— Сева?

— Да. Точно. Угадала. Сева. Тебе что, кроме меня никто не звонит?

Видимо, он ещё что-то сказал, так как в трубке раздался смех, долгий, натужный.

А Кате вдруг совершенно некстати привиделись выпученные глаза Лёни Бязика, злые, подозрительные, как-будто сказано было не о возможном рождении, а об уходе из жизни. Помнится, она выдохнула. «Ты так испугался, я же не о смерти сказала, а наоборот...» Не договорила. Он — как кулаком по лицу, наотмашь: «Тебя что, кроме меня никто не трахал?»

Мерин тем временем старательно заметал свою бестактность.

— Катя, я не то хотел... Катя, ты слышишь? Я хотел... Просто удивительно: второй раз звоню и ты второй раз угадываешь. Может, дежурная мой голос знает? Или путает с кем? Тоже — Севой? У тебя сколько Сев? Кать? Ты слышишь? Катя!

— Что?

— Я говорю — у тебя сколько Сев знакомых?

— Навалом. Не успеваю раздеваться. А ты который, напомни. — Мерин окунулся головой в кипяток.

— Зачем ты... Я из автомата. Два слова: нет — нет... По службе. Как помощь... Если, конечно... Из автомата... Хотел... Вернее — думал... Понимаешь... Карта кончается... Чисто по службе... Из автомата...

Катя его перебила.

— Сева, ты с кем разговариваешь?

— Я? С тобой...

— Да-а-а? А о чём?

— Ну как... В общем...

Он замолчал.

— Ты далеко?

— Рядом. Из автомата...

— Значит так, слушай внимательно: оставь свой автомат в покое, соберись с мыслями и иди мне навстречу. Я отпущу любовника, искупаюсь и выйду. Устроит?

Ответ прозвучал без паузы, с шумным выдохом, как говорят люди, улыбающиеся во весь рот.

— К-хкхонечно!

Она взмахнула крыльями, вылетела на улицу и увидела его на противоположной стороне выходящим из телефонной будки.

Конечно, Мерин понимал всю несуразность своей затеи: не посоветовавшись ни с кем, не просчитав возможных осложнений (хотя, с другой стороны, как можно продумать ВСЕ варианты? Компьютер и тот... но это уж так, для самоуспокоения), не получив благословения Скорого, подвергать операцию такому риску — за это по головке не погладят. Даже при условии удачного исхода — в данном случае победителя будут судить. И строго. Хотя... Разве мало примеров, когда нелепые на первый взгляд импровизации на поверку оказывались единственно правильными, помогающими находить выход из тупиковых ситуаций? Да и не на отклонениях ли от проторенных дорожек держится, как бы громко это ни звучало, прогресс как таковой? Тем более что Катя — тут он мог дать голову на отсечение — «его человек» на сто процентов. Доказательств никаких, виделись всего три раза, знакомы без году неделя, но ведь недаром же установлено, что всякое действие рождает равное по силе противодействие. Не зря же, в самом деле, наука гордится этим основополагающим открытием, а посему, если он (перед собой надо уметь быть откровенным) минимум половину рабочего времени мыслями обращен в сторону этого рыжего буйства закрученных спиральями волос, то и она, очевидно, столько же часов в сутки тратит на вычёркивание из памяти его свисающей на лоб ничем не примечательной чёлки. Это, уважаемый Юрий Николаевич, уже не интуиция, а что ни на есть высшая математика или более того: физика с механикой в одном флаконе.

К тому же она будущая актриса, заставляя толпу верить любому вранью — неотъемлемая часть её профессии, а если учесть, что сказать ей предстоит чистую правду и ещё раз правду, ничего кроме правды, то успех мероприятия вроде как и не должен вызывать никаких сомнений: так, лёгкая прогулка перед многотрудностями предстоящих свершений на ниве искусства.

Они сидели за столиком уличного кафе «Студенческое».

Говорил в основном Мерин.

— Да. Жив. Жив. Кораблёв жив, Катя, без сомнений, это доказано следствием. Я не мог, просто не имел права сказать вам об этом раньше, хотя поверьте, первая, о ком я подумал, когда догадка подтвердилась, были вы.

Как-то незаметно для себя он перестал ей «тыкать», говорил почтительным, несколько даже заискивающим тоном.

— Теперь, наоборот, я не могу вам этого не сказать, потому что нуждаюсь в вашей помощи, никто кроме вас — поверьте, это не просто слова, — только вы можете помочь нам размотать этот криминальный узел. Посвящать вас во все тонкости следствия я, увы, опять-таки не могу, да вам и неинтересно, — он выдержал паузу в ожидании бурных возражений и, убедившись, что таковых не последует, продолжил. — Но есть одна не бог весть какая задумка, осуществить которую, повторяю, можете только вы.

— Почему?

Катя, наконец, раскрыла рот и Мерин, к этому моменту уже отчаявшийся услышать от неё хоть один членораздельный звук, не сразу понял.

— Что — «почему»?

— Почему только я?

— А-аа-ааа, почему только вы? Ну как... потому что... Вы ведь... Вы... Ну как? Вы, в общем...

Он неожиданно замолчал, не без удивления для себя отметив, с каким трудом даётся ему ответ на этот вопрос.

— Просто, понимаете, дело в том, что... Вы же... В ту ночь... Ну, как бы... Кораблёв и вы...

— Смелее, Сева. Вы хотите сказать, что мы с ним трахались? Да, верно. Но ведь по этому поводу вы меня уже допрашивали.

Мерин густо покраснел и так замахал руками, что едва не опрокинул на скатерть бокал с вином.

— Нет-нет, что вы, у меня и в мыслях этого... Зачем?! Я говорю, в тот вечер вы и Кораблёв... В общем... Ну-у... В общем...

— Да и в общем и в частном — всё так и было, Сева: трахались, трахались. Мы с вами это выяснили три дня назад, правда, в общих чертах. Теперь, я так понимаю, в интересах следствия вам нужны подробности? Извольте, дайте только вспомнить, с тех пор столько воды утекло. Значит вечером, вернее ночью, когда мы приехали, вроде у нас ничего и не было. Вернее сказать — всё, конечно же, было, но... как бы это поточнее... неубедительно что ли. Объясню! — Она как-то по-пороссячьи взвизгнула, решительным выпадом ладони упредила Севину попытку прервать её и через короткую паузу повторила уже спокойно.

— Объ-яс-ня-ю. Очевидно, факир был настолько преувеличенного мнения о своих возможностях, что обязательный в таких случаях ритуал освобождения от одежд, хотя бы частичный, посчитал необязательным, вследствие чего довольно долго не мог понять, почему не случается то, что обычно происходит без особых хлопот и как бы само собой, с его-то

опытом.

Она перевела дыхание, отпила глоток вина, брезгливо поморщилась.

— А когда все препятствия для свободы действий были устранены настолько, что и усилий-то никаких не требовалось, чихни только и вот она, цель достигнута — выяснилось, что факир не только пьян, но и спит. Сон, помнится, не был настолько глубоким, чтобы напрочь лишить его мужских проявлений при осязании обнажённой женской натуры. Но и сказать, что Морфей совсем не мешал ему выглядеть в глазах этой самой натуры на высоте положения, тоже было бы преувеличением. Поэтому я и сказала «неубедительно». Хотя, может быть, на самом-то деле в ту ночь так ничего и не случилось, а просто я желаемое приняла за действительное. Женщинам иногда свойственно желать, пусть это для вас и прозвучит неожиданно. Не знаю, врать не буду. Я и на суде повторю — не знаю. Не помню. Зато наутро — ооо-о!

Казалось, она получала истинное удовольствие от этих воспоминаний, и только неестественно белый цвет лица выдавал напряжение, с которым ей приходилось справляться.

— Утро, как известно, вечера мудренее. Утром отдохнувшая плоть требует нагрузки, а застоявшаяся кровь — выхода...

— Очевидно, я перед вами очень виноват. Даже несомненно виноват, если при каждой встрече вы меня унижаете. Только зачем? Мы ведь не на допросе. Более того — я прошу у вас помощи. Нет — нет. Вы свободны поступать, как считаете нужным. Самое простое: встать и уйти. Зачем так много слов?

Сева произнёс эти фразы так тихо и так невыразительно, что Катя невольно прислушалась. Бескровные её полуоткрытые губы замерли, недоговорённая фраза завяла, повиснув уродливым словом, лицо приняло некрасивую асимметричную форму.

Потный в красной косоворотке официант поставил перед ними два замысловато сложенных подгоревших омлета.

— Что ещё, клиенты?

«Клиенты», глядя в упор друг на друга, молчали.

— Я говорю — что ещё будем? Не понял, старики? Тогда я рисую цифры: два по двести сухого французского — 670, омлет фирменный, сложный, два раза — 620, булочки сырные с кунжутом... Водичку брали? Не бра-а-ли. Итого...

Он углубился в подсчёты. Мерин полез за бумажником.

— В столбик что ли считаешь? — Интонация у Кати получилась почти ласковая.

— Не врубился, мадам?

— А ты напрягись, «мосьё», тут всё просто. Не врубаётся он! Тысяча двести девяносто, я тебе без столбика скажу. Правильно? Да правильно, правильно, не сопи так громко. Три мои месячные стипендии. Теперь зачеркни свою писанинку, вытри потные руки и слушай внимательно. Берёшь эти две горелые блевотины, несёшь на кухню и угощаешь шеф-повара или мэтра своего. Телефон неотложки знаешь? Рот закрой. Знаешь? Запиши — понадобится обязательно. Вот это, — Катя ткнула в стоящие на столе бокалы мизинцем, — вот это синее, мутное, с мякотью — никогда больше вином не называй, тем более французским, если не хочешь международного скандала. А то ведь французы народ темпераментный, могут и просто морду набить. Потеряешь профессию. Булочки сырные вместе с кунжутом засунь себе в задницу. Сказала бы более определённо — в жопу, но боюсь оскорбить слух моего тонко чувствующего спутника. Ты всё понял, маленький? Успеха тебе.

Она поднялась, ленивым движением утянула вниз забравшуюся складками мини-юбку.

— Пойдём, Сева.

Официант заржал.

— Не слабо, в натуре. Ты мне потом напиши маляву эту, лады? Я выучу. — И обратился к Мерину уже без улыбки, как к существу разумному. — Ты её недотраhal, старик. Так нельзя. Им в такие минуты опасно на люди: звереют. Тысяча двести девяносто с тебя.

И, понизив голос, добавил.

— Хочешь, я д...бу? Не задолжаю.

Короткий, без замаха, сверху вниз удар пришёлся в ту часть лица, которую опытные боксёры оберегают с особой тщательностью во избежание нокаутов.

Официант, стараясь сохранить равновесие, шумно попятился, цепляя, опрокидывая столики, стягивая на себя скатерти с остатками еды и недопитыми бутылками.

Посетители повскакивали со своих мест, дамы отчаянно завизжали.

С любопытством наблюдавший за развитием событий метрдотель, выказав недюжинную реактивность, покинул своё укрытие и повис на Мерине.

— Остыли, остыли, всё, всё, всё, остыли, вы — гость, остыли, гость всегда прав, вот так, гостям мы рады, отдыхаем, все отдыхаем, всё-всё-всё, остыли...

Он, не переставая улыбаться и как заклинание повторять «остыли»,

животом оттеснял Мерина к выходу.

— Вы посмотрите, что он принёс! Посмотрите! Вы будете это есть? — Катя пыталась дотянуться тарелкой с омлетом до лица человека в красном смокинге. — Посмотрите — где тут «сложность»? В чём «сложность»? Горелые тухлые яйца — вот вся сложность! Понюхайте! Вы будете это есть?!

— Не буду, ни в коем случае, нет-нет, не буду и вам не позволю, ни-ни. Накажем, будьте уверены, так не пройдёт, накажем, рублём ответит, рублём, негодяй. Отойти отсюда, я сказал — отойди отсюда, — завизжал он вдруг и, повернувшись, вцепился в грудь не пришедшему ещё в себя официанту. — Отойти, я сказал! — И убедившись, что тому ещё далеко до осмысленных телодвижений, вернулся к Мерину.

— Ни копейки с вас. Ни цента! Ни-ни-ни! Вы — гость, гостям мы всегда рады. Ни цента! Вы, главное, заходите, будем рады. А его завтра же. Не беспокойтесь, завтра же... Обнаглели. Не уследишь. Сегодня же... Не беспокойтесь. Позвольте счётик. — Он ловким движением выдернул из меринских пальцев выписанный официантом счёт. — Кланяюсь и ждём, мы гостям всегда рады, ещё раз прощения просим, доброго вам здоровья, молодые люди, такие красивые молодые люди, сильные и такие горячие, не дело, давайте — шагайте, шагайте, не ровен час — милиция, кому это надо, давайте...

Ему наконец удалось вытолкать «дорогих гостей» на тротуар.

Какое-то время они шли молча. Потом Катя взяла Мерина под руку, прижалась грудью к его локтю, спросила вкрадчиво:

— Тебя что — учили драться?

— Да нет. Сам. Невелика наука.

— Не скажи, я бы так не смогла.

— А тебе зачем?

— Как? Не всегда же ты рядом? — И поскольку Сева молчал, она повторила вопрос. — Ведь не всегда?

— Не я — другой кто. Какая разница?

— Это точно. — Катя рассмеялась чуть громче, чем требовала ситуация. — Ну так что с задумкой твоей делать будем? Чем помогать? Каким местом? Не тяни, а то ведь я и вправду птица вольная — улечу — не поймать, обещаю.

— А я со своей стороны обещаю впредь не звонить и не обременять просьбами. Первый и последний раз.

Катя остановилась, высвободила руку, сказала одними губами, Мерину показалось, что половину слов он не расслышал.

— А вы, Всеволод Игоревич, «со своей стороны», — она особо выделила эти слова, — чудак на букву «м». Слыхали такое? На конкурсе чудаков первого места никогда не займёте. Потому что чудак.

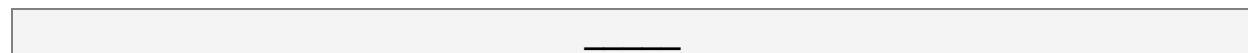
Сотрудник уголовного розыска, возглавляющий следственную бригаду, повёл себя по меньшей мере странно: «Я муда-аа-а-аак!» — заорал он вдруг благим матом, так что испуганные пешеходы как по команде, заинтригованные таким откровением, повернули головы в его сторону.

Катя же, стоявшая рядом, от неожиданности подпрыгнула и шарахнулась в сторону. Мерин счёл это удачным поводом ухватить её за плечи.

— Куда?! Я же ещё не рассказал о своей задумке. Поможешь? Задача непростая. Кроме тебя, клянусь, никому бы. Ну что —поможешь?

— Бедный уголовный розыск, с такими недоумками сотрудничать приходится. — Она вяло высвободилась из объятий.

Потом они долго сидели на бульваре. Со стороны — ни дать ни взять — любовная пара банально настраивает усыплённые долгой зимой инстинкты на весенний лад.



Дверь открыла хозяйка.

— Привет, Филя, очень рада тебя видеть, проходите, пожалуйста. — Она подставила Феликсу щёку. — Здравствуйте, Катя, если не ошибаюсь? У меня хорошая память на имена. Рада. Прощу. — Широким театральным жестом Светлана Нежина повела в сторону гостиной. Чёрные, гладко зачёсанные волосы удачно оттеняли белизну высокого лба. Припухлые веки узили и без того раскосые глаза. Утрированный макияж выдавал общую одутловатость лица.

— Сегодня, понятно, веселья не обещаю, но тем более рада. Спасибо, что зашли. Раздевайтесь. Соня вам поможет.

Пожилая со скорбными губами женщина в белом фартуке проворно захлопотала возле пришедших, поочерёдно стаскивая с них пальто.

— Давайте, давайте, я отнесу к себе, а то она обвалится, вон сколько навесили. Сегодня вас как никогда, идут и идут. Чем кормить? Вы голодные?

— Нет, нет, не беспокойтесь, — Феликс укоризненно глянул на спутницу: говорил ведь — поздно, надо было настаивать. — Мы сыты, ненадолго.

— А-а, ну и ладно. А то всё поели, только пьют теперь. Ладно. — Она растворилась в полумраке длинного коридора.

Огромная комната напоминала зал для приёмов почётных гостей небедного государства: вдоль стен — диванчики, оккупированные напудренными старушками и их сверстниками; под ногами — неустойчивый длинноворсовый ковёр ручного приготовления; над ним — три замысловатые, разных эпох и стилей люстры. Основной народ с тарелками, бокалами, рюмками в руках без видимого передвижения в силу отсутствия необходимого для этой цели свободного пространства толпился в центре. Судя по возбуждённому гулу, то и дело перекрываемому всполохами нервного хохота, по звону стекла и выстрелам откупориваемых бутылок, вечеринка началась давно и теперь пребывала в стадии, близкой к апогею. Пианиста, неспешно извлекавшего из концертного «Стейнвея» монотонные аккорды баховского реквиема, мало кто слушал. На вошедших Катю с Феликсом никто, кроме витиевато подстриженного пуделя, не обратил внимания.

— А я утверждаю — убийство. Никаких сомнений быть не может. Зачем — это уж другой вопрос, когда-нибудь, возможно, узнаем. Но то, что убийство — никаких сомнений. Это в духе времени, это теперь высокая мода — убить. Из всех щелей только и слышим: тут убили, там убили, того, этого, по телевизору, по радио, газеты, журналы, в кино — одни убийства. Вы за последние десять лет видели хоть один фильм, чтобы не убили, не изнасиловали, без стрельбы и крови? Нет, не видели. И в жизни то же самое.

— Ну это разные вещи...

— Да не разные, а то же самое! Мне уже в голову вбили, чтобы жить нормально — не бомжевать там, не просить на паперти — надо обязательно кого-нибудь убить. Обязательно. Славик, налей мне, пожалуйста. Спасибо. Без этого ни один фильм...

— Тут совсем другое дело, Марина...

— Нет, не другое, Юрочка, именно, что не другое...

— Димка уже года два не работал, Марина...

— И что? При чём здесь это?

— Он в бизнесе...

— А бизнес — это что, не работа?

— В криминальном...

— А у нас нет другого.

— Ну почему...

— Вот и я говорю — почему?

— Ты про кино...

— Нет, я не про кино, я про убийства, Юра. Убить стало легче, чем в носу поковырять. Даже как-то неприлично, если ты до сих пор никого не убил, как-то ты не вписываешься, выпадаешь...

— Марина...

— Не спорь, Юра, ничего я не преувеличиваю. Помолчи лучше. Зарылся в своей мастерской и молчи, если совсем не в курсе. Славик, там есть ещё? Капни, пожалуйста. Спасибо. Отойди, Юра, я сама знаю, когда мне хватит. За собой следи.

— Господа, послушайте, это же Бах всё-таки...

— Закуска на кухне, там что-то должно быть. Соня!

— Она не ангел, ваша Молина, поверьте мне, она при живом Кораблёве ещё двоих держала...

— Что значит «держала»? Идиот!

— А то и значит. Думаешь, они разошлись, она что — год по монастырям ходила? Это только в сказках бывает про Белоснежку и семь гномов. А в жизни знаешь, что бы с ней было?

— С кем?

— С Белоснежкой.

— Идиот.

— Она бы с каждым гномом по семь раз на неделе.

— Ну и что? Сразу убивать, что ли?

— Почему сразу? Он год терпел.

— Да ладно, слушайте его, он по себе всё: каждой бабе под юбку норовит...

— Не надо делать мне рекламу...

— Идиот.

— Слушайте, можно потише наконец? Это же Бах всё-таки. И Гелевич, между прочим, тоже не последнее говно.

— Соня, я просила пожрать что-нибудь! Нет?

— Пора тебе, Ветка, передислоцироваться — не умещаемся.

— Не говори. Куда только? Колонный зал, разве что?

— А между прочим — не вижу юмора: не самые плохие люди встречаются, скажи, Коль...

— Не место красит человека...

— Это что-то из жизни кошек?

— Сенечка, ну что — удалось?

— Господа, какая рифма к «времени»?

— «Времени»? Минуточку... Темени. Семени. Бремени...

— Помолчи лучше.

В углу под пальмой кто-то громко заплакал. Компания притихла на время, только стройная дисгармония баховских аккордов продолжала заполнять пространство вырывающимися наружу всхлипами.

— Димочка! Дима-а-а! Господи, что же это, за что, Дима-а! — доносилось из угла.

— Кто это?

— Не знаю.

— Она с кем пришла?

— Соня! Со-ня!! Там в розовом холодильнике валерианка, принеси, пожалуйста.

— Надо как-то помочь, может быть — доктора?

— Окстись — доктора. Нормальная истерика: ей, видите ли, хуже всех. Лекарство изобретено до нашей эры: не обращать внимания.

— Альтман, ну что, написал?

— Да вроде...

— Я объявляю. Внимание. Минуту внимания. Прошу тишины. Семён Альтман — на смерть Дмитрия Кораблёва!

И опять зал затих, на этот раз выжидающе-почтительно. И снова великий композитор оказался кстати: аккорды сопровождали слова, поднимая их над обыденностью и унося в вечность.

Неизбывное Время Пространства
В Никуда уходящий скит
Всемогущее мёртвое ханство
Одиночества и Тоски.

Запрети противбожье насилие —
Богом данное коротить.
Запрети услаждать слабосилье.
Слабоволие запрети.

О Пространство! Раздайся на время.
Поглоти злополучный курок.
Дотяни нежеланное бремя.
Добезумствуй отпущенный срок.

Только нет ни Пространства, ни Времени
Ни покаяться никому:

Ни Добру. Ни Безмерью. Ни Мере.
Ни Вседержителю самому.

Аплодисментов не последовало, только кто-то, не совладав, очевидно, с эмоциями, в полной тишине коротко сказал: «Браво!» И тут же в углу заходила ходуном пальма.

— А-ааа-аа-аааа! Ди-ии-ма! Пустите меня, пустите, я хочу к нему, туда, а-аа-ааа! Ди-маа-аа!

Общество пришло в движение, ещё несколько человек ощутили в себе непреодолимое желание очутиться где-то не здесь, а там, поднялась даже некоторая паника и Катя поняла, что это тот самый момент.

— Послушайте! Але, эй! Але-ооо-ааа! Послушайте-ее-еее!!!

Не без труда ей наконец удалось подчинить себе толпу: все как один развернулись в её сторону, за исключением Гелевича, который вместе с Иоганном Себастьяном Бахом невозмутимо продолжал свою медитацию.

— Послушайте! Какая смерть? Какое убийство? О чём вы говорите? Он жив! Жи-иив! Кораблём жив! Понятно? Это уже доказано! Я из Угроза знаю, у меня друг там работает!

— ...Господи, Сева, что тут началось! Я не могу тебе передать. Сначала все в один голос молчали. Можно так сказать?

— Даже красиво.

— Вот. Потом заорали — тоже в один голос, как резаные. Один на меня с кулаками: клянись, объясняй, доказывай... Жуть. Спасибо Филе — у него вот такой синяк под глазом — он повалил этого психа, тот его ногами. Тарелки, рюмки, бутылки — всё на полу в куски. Еле растащили. И опять все ко мне: как так — жив? Почему — жив? Мне даже показалось, что многие расстроились, что значит «жив», если столько выпито за упокой!

— А Нежина?

— Эта начала меня трясти — чуть голову не оторвала. Вцепилась, глаза бешеные, пальцы острые, как гвозди, и трясёт.

Катя с отчаянной ловкостью растегнула на спине молнию, закатала блузку себе на голову, смело обнажила утыканную веснушками спину.

— Смотри, какие синяки. Видал? Потрогай!

Мерин уважительно погладил несколько синеватых припухлостей, спросил зачем-то:

— Больно?

— Ты прямо как врач. Ну — больно, ну и что теперь?

— Может, помазать чем?

— Ага. Слюнями. Застегни.

Этого Мерину делать никогда ещё не приходилось, наверное, поэтому какая-то часть дальнейшего Катиного рассказа прошла мимо его сознания. Пришлось даже переспрашивать.

— А Нежина-то что?

Катя возмутилась.

— Ты что, совсем что ли оглох, Сева? Я же тебе говорю: она меня трясёт и кричит: «Где он? Где он? Говори — где он?» Я говорю: «Не знаю». А она: «Не ври! Где он?» И всё сильнее трясёт — сильная такая, я чуть не упала. Потом толкнула меня в стенку и бегом через толпу: «Пустите меня, пустите меня!» — к телефону. Я за ней — я ведь на задании, да, Сева? Теперь говорю дословно... Ты слышишь меня?

— Да, да, конечно.

— Нащёлкала какой-то номер — цифры я не успела заметить, только последняя — ноль, это точно. И говорит — дословно: «Вера, это Светлана. Дима жив. Это Вета, Вета Нежина». Помолчала, и опять: «Да, да. Тут баба какая-то, его знакомая. Говорит — от милиции знает. Точно».

Она перевела дыхание, смешно надула щёки.

— Вот всё. Запомнила слово в слово.

— Всё?

— Всё. Она трубку бросила, Нежина. Нет, потом она много ещё говорила. Плакала. Кричала. Ещё звонила кому-то — я ничего не могла понять: все орут. То — тихо, то — орут все: «Кто? Как? Почему?» Я чуть с ума не сошла — все ко мне: «Где Кораблёв? Кто убил? Где Молина? Как? Почему? За что? Кто сгорел?» Ужас! Даже музыканту этому досталось: стащили со стула — «Заткнись, — кричат, — со своим Бахом, из-за тебя ничего не слышно!» Но я, как ты велел: ни в зуб ногой. Упёрлась рогом — ни гу-гу. Не знаю и всё. Ничего больше не знаю. Молодец?

Она тщетно боролась с возбуждением — лицо покраснелось, ноздри раздувались и подрагивали, как у только что выигравшей забег лошади.

— Молодец, конечно. Спасибо. С меня причитается. Называй.

— Ладно. Сочтёмся. Купи мне автомобиль, а то до общежития ездить далеко, ухажёры прохода не дают.

Она коротко хохотнула, затихла.

— И всё-таки, Катя, как тебе показалось — для неё это было неожиданно?

— На сто процентов, Сева. Так не играют. Или она Ермолова.

— А это исключено?

— Теоретически — нет. — Какое-то время они шли молча.

Неожиданно Мерин почувствовал, как в нём закипает злость: чего он добился? Осуществил свой сомнительный план, подвергнув при этом почти незнакомую девушку опасности? Ещё неизвестно, чем закончится эта авантюра: если она что-то знает — а именно это она заявила в «салоне» у Нежиной, — её могут начать шантажировать, даже наверняка не оставят в покое. Кто поверит, что она действительно ничего больше не знает? Начнут преследовать, угрожать... Чёрт бы побрал его совсем. Вот уж, как говорится, если Бог хочет наказать, прежде всего лишит разума. И потом — ну хорошо, ей показалось, что «так не играют». Допустим. И что? Вычеркнуть Светлану из списка подозреваемых? Нет, конечно. Надо ещё проверять и проверять. Трусс прав: «Роллекс» просто так не выкинешь, да и любовные отношения Нежиной и Кораблёва говорят о многом.

Тогда зачем?! Зачем, вопреки (теперь-то уже ясно — вопреки) здравому смыслу он поддался этой никчемной и, главное, опасной идее? Неужели только ради?..

Ладони моментально стали влажными.

Горло сдавило жарким охватом, стало трудно дышать.

Они подошли к главному входу ВГИКа. Катя остановилась.

— Мне сюда. Если отпускаешь без наручников — я пойду. — Сева взял её за руку.

— Катенька, у вас есть мой мобильный?

— Нет, пока, — и добавила, широко улыбаясь: — Севочка.

— Запишите.

— Я запомню.

Он продиктовал номер телефона.

— Обещайте: кто бы вам ни позвонил с просьбой о встрече, вы первым делом сообщите мне. Обещайте.

— Зачем?

— Обещайте!

— А если третий — лишний?

— Катя, это очень важно. Обещайте.

Она плеснула в него рысёй зеленью глаз: Мерину показалось, что он увидел взметнувшиеся вихри искр, вялую теплоту гаснущих угольков, едва уловимую тревогу и, наконец, холодную благодарность.

— Хорошо. Обещаю. Но учтите — это насилие. Я дала показания под давлением. На суде имею право отказаться. Разрешите идти?

И она волшебным образом исчезла, как рыжая полевая оса: висит неподвижно на одном месте и — нет её.

Мерин вдруг явственно ощутил, что он видит Катю в последний раз.

Звонок нарушил тишину кабинета.

— Кроме тебя, кто знает?

У председателя совета директоров ООО «Досуг» Аликпера Рустамовича Турчака перехватило дыхание.

— Люба?!!

В трубке молчали. Нет, он не мог ошибиться.

— Ты?! Это ты?

— Я вопрос задала.

— Что «знает», Люба? — Молчание.

— Что жив? Да? Я. И ты. Всё. Ещё рабы. Но они не в счёт.

— Уверен?

— Как в себе. Они в розыске оба.

— Милиция знает.

Этого Аликпер Рустамович никак не ожидал.

А неожиданностей он не любил. Жизнь давно научила — только то, что сам спланировал, аукнул, выверил, до ума довёл — твоё. Не подведёт. Откликнется как надо. А сюрпризы — для дошкольников, первая ступенька в волчьей разборке: пройдёшь — повезло, живи до следующей. А он давно уже на вершине лесенки из мно-о-гих ступеней-то, давно уже не такими масштабами мыслит — как узнать да как опередить. Связи до самого верху — выше некуда — кручёной стали прочней, на долгие годы вперёд не рублями проплачены. Личный самолёт в низком старте команды ждёт, на разных побережьях домики не все ещё — напряжёнка со временем — посещением удостоены, цифирки в банках с нулями-бубликами — сразу и не сочтёшь, собьёшься, начнёшь сначала — глазам больно станет. Вот его уровень! Не бог весть, конечно, бывает круче, но, как говорится, курочка по зёрнышку, не всё сразу. Главное — сам, без добрых тётей-дядей, своим умом и талантом. С нуля начинал. Даже, можно сказать, с минуса: из условного срока карьерную дорожку мостил — вымостил. Кум королю теперь — никому не должен. Так что — какие неожиданности? Всё до запятой заранее доложат, предупредят, обесточат. От любой облавы прикроют, ковровой дорожкой — чтоб ступать мягче — чёрный ход выложат, под ручки проведут, да ещё в плюсе оставят: чтобы делиться чем было.

Всё так. И вдруг — «милиция знает».

— Точно?

В трубке молчали.

Конечно, вопрос был неуместен: Люба звонила редко, только в крайних случаях и уж если что-нибудь сообщала — в достоверности можно было не сомневаться. Видимо, он не на шутку растерялся, если допустил такую оплошность. Нужно было срочно исправлять ситуацию. На это оставались доли секунды.

«Значит милиция знает, что Кораблёв жив и теперь самое главное — где он. опередить во что бы то ни стало и предъявить любимой, иначе всё полетит к чёртовой матери и не видать ему вождя сомовского бизнеса как своих ушей, а он успел уже к нему привязаться, как к родному сыну. Но главное — не в бизнесе дело, пропади он пропадом».

ЛЮБА!

Вот кого не видать ему до гробовой доски.

— Забудь. Разберусь. Узнала как?

— Феликс. ВГИК. Сценарный факультет. Екатерина — актёрский. Что документы?

— Обижаешь...

— Послезавтра — последний срок.

И короткие гудки отбоя знаком нескрываемого бешенства.

Так.

Удачно начавшееся дело с какого-то момента затрещало по всем швам.

То, что родная милиция не потянула за любезно протянутую Аликпером Рустамовичем ниточку, его ничуть не расстроило. В глубине души он, признаться, на это даже и не надеялся и теперь испытывал нечто похожее на уважение к доблестным правоохранительным органам: есть ещё порох в пороховницах, противник, что называется, щи хлебает не лаптем. Жив — значит будут искать. Найдут — можно ставить свечи и до конца дней благодарить Создателя за покровительство. Как ни крути — пять мокрых дел — это пожизненно.

Сомов в морге — весь бизнес, все 100 % — его, Аликпера Турчака. Люба сдержит слово.

НО!

Если удастся опередить ментовку.

Найти эту падаль. Эту мразь. Это ничтожество.

Ах, суки, б...ди недоношенные, ведь была установка: придушить. Чтоб до прибытия «Скорой» — не рыпнулся. Пятая мокруха и с поличным. Всё. Дальше дело техники. И он, Аликпер, в шоколаде: и конкурент

ликвидирован пожизненно, и перед богиней чище ангела — всё сделал, что в силах «хомо сапиенс». (Он уже и легенду сочинил — как отбивал от ментов Кораблёва, как схлопотал пулю смертельную, но чудом выжил, придётся самострел пальнуть — не проблема — за неё и умереть готов).

А теперь — хлопот не оберёшься: посылай амбала в Лондон, а затем изволь другом семьи мчаться на берега туманного Альбиона к безутешной вдове, нашедшей суженого своего в шахте лондонской подземки или под колёсами пригородного поезда — несчастный случай, все мы под Богом ходим. А дальше — время. Время! И терпение.

Но и это всё, если удастся опередить ментуру. Найти этого выродка.

Но самое страшное — ПОСЛЕЗАВТРА!

Паспорта — вот они — красные брезентовые корочки со скипетром и державой в когтях отвратительной двуглавой птицы, визы, билеты — число проставь и прощай родина. Он сдержал своё слово!

Но — послезавтра!

Эх, Люба, Люба!

Она не простит. Никогда!

А это — конец.

Сердце привычно уже заныло, но он не стал принимать мер, подумал горько: «Зачем? Если что — Люба не простит — умереть лучше». Нажал кнопку селектора.

Секретарша внесла в кабинет лайковую мини-юбку, топик с жарким вырезом, в мелкую клетку колготы. Плеснув парфюмом, застыла знаком вопроса.

— Задиктуй. Первому. ВГИК, сценарный факультет. Феликс. Екатерина — актёрский. Пусть приведёт обоих — в гости приглашаю.

— Когда?

— Через год!! — Он сделал попытку вскочить, но сердечная боль лишь глубже вдавила в кресло. Поморщился. Закрыв глаза, помолчал. — Прости. — Сказал еле слышно. — Немедленно. Из-под земли! — Секретарша налила в стакан воду, достала таблетку.

— Выпей.

Он послушно проглотил лекарство. Сказал тихо:

— Второму. Сомова убрал Кораблёв. Поэта в свидетели.

— Кого?

— По-э-та! Дальше — не твоего ума. Не перепутай.

— Хочешь, — она не поняла задания, — скажи сам, они в приёмной.

— Если я их сейчас увижу — убью обоих. Посадят. Без работы останешься. Давай.

Движением руки он отправил её за дверь.

Люба — живая потугами художника Шилова — во всю стену в золотой раме смотрела ласково. Улыбалась.

— Ах, что же это? За что? Убей лучше, да. Без тебя нет жизни. Нет. Нет. Нет.

Неожиданно Турчак услышал чей-то голос. Вздрогнул. Больно ударился затылком о спинку кресла. Застонал жалобно. Он понял, что разговаривает вслух.

Поворот от Возрождения к XVII веку в мировоззрении и психологии людей — это переход от безграничной веры в человека, в его силу, энергию, волю, от представлений о гармонически организованном мире с героем-человеком в центре сначала к разочарованию, отчаянию или скепсису, к трагическому диссонансу человека и мира, а затем и к новому утверждению человека как частицы огромного, бесконечно разнообразного и подвижного мира. Человек как бы вновь обретает своё место, но уже не как средоточие мироздания, а в сложном соотношении со средой — природой, обществом, государством...

Катя слушала снотворного лектора вполуха, едва сдерживая слёзы: какое к чёрту «средоточие мироздания», если с человеком происходит что-то совершенно непонятное, почти неприличное и никто, ни одна душа в мире не удосужится объяснить — что с ним. Отчего так незнакомо-истомно ноет в груди, отчего болит всё тело, точно по нему прошли тяжёлыми сапогами? И почему которая ночь кряду обнимает забвением лишь с рассветом и теперь голова гудит, как Садовое кольцо в часы пик, и никакое «средоточие» никакого «мироздания» в ней не укладывается?! Реветь хочется беспричинно — два платка уже мокрые — не рукавом же нос вытирать?

Что с ней?

Однажды показалось: нет умней и красивее Кости-парикмахера. Низом живота почудилось — судьба. Всплакнула даже от ревности: много возле него кошёлочек разных на всё готовых увивалось. А победила — тот, бедняга, голову совсем потерял, обещал жениться, из семьи уйти — и что? После грязной перины той гостиничной долго в сторону мужиков смотреть не хотелось.

Лёшка Большой? Здесь даже намёка на любовь не было. Ни ревности,

ни слёз. Ничего. Полный штиль: ему хотелось до потери пульса — и ей не жалко. Даже интересно: что там у него, такого маленького — метр пятьдесят в шапке-ушанке — может быть?

Феликс? Что-то такое... Вроде бы... Кажется... Хотя... Скучнее только индийские фильмы. Ему сценарий написать проще, чем снять с любимой трусики. Недаром она, что называется, из-под тёплого одеяла ушла от него с артистом этим.

Бязик Лёнька — да. И ночи напролёт не спала. И над телефоном как дура висела. И на рельсы вниз с моста в спасительной надежде поглядывала. Всё было. Только и это оказалось так, самолюбие уязвлённое, не за себя страдала: залетела, хотела оставлять, а он сбежал. Испугался. Освободилась — как от насморка избавилась: ни слёз, ни угрызений совести. Теперь мимо проходит — хоть бы кольнуло что. Год почти тёрлись-притирались — немалый срок, а на поверку выходит — и не было ничего. До сих пор, вон, звонит, ширли-мырли предлагает. Только больно уж долго вспоминать надо — кто это. Какой Лёня? А-а-а, Лё-ё-ня. Привет. И поговорить можно. И посмеяться, если смешно. И — ничего. Мимо. Сосед по купе. В очереди когда-то вместе стояли.

Катя отвернулась от окна, зажмурилась — май своей прозрачной солнечной зеленью слишком будоражил её душевную маету. Улыбнулась, дура душой, ты ещё Сперанского вспомни. Арнольда Николаевича. До постели, слава богу, не дошло, но дяденька сильно рассчитывает.

Бог с ними со всеми. При чём здесь это?

Речь о другом: почему сердце ноет? Озноб по телу насильником хозяйничает? Слёзы — моргни лишь — ручейками, минуя все препятствия...

А тут ещё...

...Ренессансный герой юный, пылкий Ромео не колеблясь вступает в бой с, казалось бы, неодолимыми силами — традициями средневекового феодального мира; его гибель становится его победой, под телом Ромео рушатся вековые предрассудки, извечные запреты отступают перед правом человека на счастье. Главными качествами героя становятся умение зорко видеть диссонансы и противоречия мира и духовная стойкость, позволяющая в любых невыносимых для человека условиях оставаться героем...

Катя громко вздохнула, опять устремилась навстречу маю: чушь собачья. Гибель — не победа, гибель — всегда поражение. Как это: «право на счастье мёртвого человека». На том свете, что ли? Полюбил человек, понятно вам? По-лю-бил. Жизнь готов отдать за любимую. И отдал, а они

— «умение зорко видеть диссонансы». Бред какой-то. Бред сивой кобылы...

Катя вздрогнула: кто-то тронул её за плечо.

— Тебе.

— От кого?

— Не знаю.

Множественно сложенный листок. Сверху: Кате Елиной. Корявый незнакомый почерк: «Мерин ждёт тебя в МУРе. Выходи, я подвезу». И враз исчезли все вопросы. Стремглав мимо обескураженного профессора к выходу.

— Девушка, это как понимать? Девушка!

А никак не понимать.

Понимай как хочешь, «средоточие мироздания».

Она выбежала на улицу, огляделась.

Из припаркованного напротив жигулёнка вышел не по сезону легко одетый человек, махнул ей.

— Сюда, сюда.

Катя перелетела дорогу, спросила задыхаясь:

— Это вы мне записку?..

— Я, я, садись!

И заметив, что она насторожилась, увидев на заднем сидении ещё одного широколицего пассажира, добавил:

— Знакомьтесь, это лейтенант Мудякин. Нам по дороге. Не обидит. — Он заржал.

Машина рывком тронулась с места.

Испугаться Катя не успела.

Железные тиски охватили её шею, сплющили гортань. Она услышала: «Не задуши, мудякин». «Ты мне, б...дь, за мудякина сглотнёшь».

И потеряла сознание.

Поднятые Ярославом Яшиным на ноги оперативники к десяти часам утра, казалось, обошли весь Тёплый Стан: больницы, таксопарк, магазины, конторы, офисы, киоски, детские сады и даже ясли. Все жители корпуса 1 по Берёзовой аллее, 16, и прилегающих к нему домов были опрошены самым подробным образом. Со всеми, кого не оказалось дома, говорили по телефону.

Вместе с Ниной Щукиной Ярослав был на опознании в морге 77-й

больницы, куда «скорая» отвезла тело Щукина. Экспертиза ещё раз, после более подробного анализа, подтвердила вчерашние показания: убийство совершено посредством удушения охватом гибким предметом шеи со стороны спины с последующим разрывом сонной артерии. Смерть наступила приблизительно в 11 с небольшим. Звонков в службу «Скорой помощи» с Берёзовой аллеи, 16, зафиксировано два: в 11.15 и 11.20. Оба с телефона, принадлежащего хозяйке квартиры Щукиной — такова запись дежурного санитаря.

Шофёр санитарной машины показал, что за время отсутствия врачей из подъезда выходил один человек, по внешнему виду сильно пьяный или, скорее, наколотый, так как водкой от него не пахло. Якобы обратился к нему с просьбой подвезти до центра. Он ему вежливо объяснил, что находится при исполнении и посоветовал поймать машину, что тот и сделал — остановил чёрную «Волгу». Номер «Волги» он не заметил, как тот гражданин был одет — не обратил внимания.

Есть ещё несколько показаний людей, видевших, возможно, этого человека. Один из врачей «скорой» при входе в подъезд столкнулся с мужчиной, показавшимся ему то ли больным, то ли под сильным воздействием наркотика. Между ними произошёл короткий диалог: врач уточнил, на каком этаже находится 19-я квартира, тот ответил, что на пятом. По словам врача, это был пожилой человек с одутловатым лицом, в тёмной одежде.

Женщина, Галина Львовна Левина — она куда-то опаздывала, — тоже ловила машину, но «этот нахал её опередил». «Я даже хотела поскандальить, мужики пошли ни к чёрту, но он с таким трудом залезал в салон, что я подумала: инвалид — пусть его. Как выглядел? Немолодой, хоть и стройный, высокий. Но уж больно лицо страшное, мне даже показалось — в синяках. Какая машина? „Жигули“, кажется. В моделях я не разбираюсь. Какого цвета — белая, это точно».

Есть ещё мальчонка 10 лет, Лёша, возвращался домой из школы — выгнали с урока. Видел, как к водителю «скорой» подходил пожилой дядька, очень пьяный. «Водитель послал его на три буквы, на „х“ начинается, ну вы знаете. Потом он в чёрную „Волгу“ сел. Номер не видел — далеко отошёл. Оглянулся — он садится и к нему тётка бежит. И он уехал».

— Вот всё, что удалось нацедить. Небогато, согласен. Но пахали как звери. — Яшин изобразил скорбное лицо, виновато опустил голову. — Есть, правда, ещё один экземпляр, но этот не про мою честь, сказал, что будет говорить только с начальником не ниже полковника. Я обещал, когда

подъедет — доложить. Докладываю: живёт в башне напротив, подъезд 2-й, этаж 10-й, квартира 87-я. Зовут просто: Бальмонт. Всё. Разрешите идти, товарищ полковник?

Он вяло хохотнул, приобнял Мерина за плечи.

— Не красней, старик. Терпи: начальник — штука непростая. А я, по правде, валюсь с ног, ты меня загонял. Я не ложился, поеду, а то засну на допросе. Что ей передать от тебя-то? Небось соскучилась.

— Ладно, поезжай, конечно, как считаешь...

Мерин не знал, что говорить в таких случаях: действительно спрашивают его разрешения или просто ставят в известность.

— А мне что — идти к этому, как его, ты говоришь...

— Бальмонту? Конечно! А почему нет? Он, правда, по-моему, с небольшой при...дью, но а вдруг? Чем чёрт не шутит. Из любой мухи надо слона делать. Скорого школа.

— Его случаем не Аристархом зовут?

Этого Яшин не знал, сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Глотнёшь? — Он достал из кармана небольшую обтянутую кожей фляжку.

После вчерашнего и особенно утреннего «сухого французского» Мерину от одной мысли об алкоголе стало не по себе. Но Ярослав понял его нерешительность по-своему.

— Да ты пей, пей, чего ты. У меня ещё есть. Не стесняйся. Пей. Вижу ведь — надо.

И он пошатывающейся походкой побрёл к станции метро.

Почти год назад, в самом начале мая Аристарх Николаевич Бальмонт почувствовал себя очень плохо: заныла спина в области левой лопатки, липкая набегающая слабость долго держала тело в горизонтальном положении. А главное — он давно уже не мог спать по ночам, не мог ни на час отключиться, сознание, было похоже, объявляло забастовку и отказывалось следовать раз и навсегда заведённому порядку. Не помогали ни успокаивающие капли, ни снотворное, ни любимые сто пятьдесят с кружкой пива под огурчик.

Девятого мая, как всегда, под гром победного салюта он с друзьями отметил свой день рождения. Дата выдалась серьёзная, поэтому сидели долго, по-крупному, «матерной» компанией — женщины по традиции в

этот день в дом не допускались. Оголодавшие в безденежье товарищи скупыми тостами перечисляя достоинства юбиляра, много и с удовольствием ели, громко смеялись, по-мужски, с примесью солдатчины острили. Все сходились в одном: старый конь борозды не портит.

А уже через два дня, в понедельник, его вызвали к начальству, преподнесли букет плохо распустившейся подмосковной сирени и деликатно недвусмысленно намекнули, что шестьдесят, конечно, не возраст, но нельзя всё время о стране да о стране, надо наконец и о себе подумать и если уж государство столь гуманно, что при нищете своей готово человеческим фактором озаботиться, то грех не воспользоваться его, государства, широтой и щедростью, надо подлечиться и пожить исключительно в своё удовольствие. Аристарх Николаевич прослезился, пожал протянутую начальником шершавую, закалённую службой в органах МВД руку и обещал завтра же уладить отношения с отделом кадров.

Тогда-то и началась бессонница.

Поэтому, когда через месяц примерно его, теперь уже бывшего кадрового работника, пригласили в замызганный, на краю Москвы, кабинетик и предложили за весьма серьёзное вознаграждение иногда выполнять несложные, ни к чему не обязывающие поручения, напрямую связанные с его бывшей деятельностью, он согласился не раздумывая. Сбережений Аристарх Николаевич не удостоился, а перспектива существования на пенсию его устраивала не в полной мере.

...Они сидели в крохотной, почти без мебели кухне, Мерин, не перебивая собеседника, внимательно слушал, иногда для важности делая в блокноте пометки, Бальмонт, вдохновлённый ответственностью момента, распалялся.

— ...а всё началось в 6.35 утра — или тридцать шесть, тридцать семь — за минуты не ручаюсь, часы старые, на пятидесятилетие ещё дарили, но по-серьёзному ни разу ещё не подвели. Не всё старое в архив надо, согласитесь, а то с водой и, как говорится, ребёнка недолго — того, — он не стал договаривать, хмыкнул только, как показалось Мерину, обиженно. — Я почему о времени говорю — не спалось. Устал с боку на бок переваливаться, мысли невесёлые в голову лезут — встал, занавеску отдёргнул — светло уже. На часы глянул: полседьмого. А рассвет выпал — чудо: небо красное в розовое с белым переходит, крыши — накануне дождичек прошёл — чистые, сверкают, тени от домов длиннющие, чёрные, а трава, где солнце — как дорожки ковровые, тоже красная... — Бальмонт на мгновение замолк, прищурился от удовольствия, спросил с надеждой: —

Я, простите, не лишнее говорю?

— Нет, нет, очень хорошо, как можно подробнее.

— Да. И я залюбовался. Не часто, знаете ли, природа таким утром балует. — Получив благословение молодого «полковника», Аристарх Николаевич заметно оживился. — Спим мы, самую красоту пропускаем: солнце тонкими лучиками ночной воздух просушивает, листочки деревьев — на каждой капельки росы — алмазиками сверкают, паром исходят, кроны дымкой окутывают. Ни ветерка, ни звука какого — в центре столицы нашей такую тишину и представить нельзя...

Не скрывая восторженного интереса к описанию восходящего дня, Мерин оглядел кухню: стандартная малогабаритная, рассчитанная в лучшем случае на семью из двух бездетных лилипутов. Мойка. Плита «Терек». На стене три пластмассовые полки, проткнутые ржавыми шампурами газовых труб. В углу на гвоздике грязное посудное полотенце. Стол. Две табуретки. Всё. Ни тебе разделочной досочки завалящей, ни ножичка-вилочки-чашечки-ложечки, ни кастрюльки хотя бы алюминиевой. Всё убрано в шкафчики? Но если такой аккуратист — почему полотенце век не стирано? А если грязнуля — где посуда немытая?..

— ...ни звука, повторяю, ни движения какого — всё замерло в предвестии чего-то таинственного. У меня, поверите, аж дух захватило: рай, не иначе. В раю, подумалось, таком вот, если допустят, грехи свои замаливать станем...

Мерин невольно вспомнил труссовскую азбуку: «Если клиент говорит много — сразу бей в е...ник, он или издевается или воду мутит, следы перцем посыпает, сука, чтоб с толку сбить».

— И что, даже с собаками никого? — Сева со всей доступной ему деликатностью попытался перевести поэтически настроенного собеседника на другую тему.

— Ни единой твари. Ни единой! В том-то и дело! Иной раз — шести нет — будят-тявкают. А тут — никого. Вообще-то они около восьми выходят. От восьми до одиннадцати примерно их время. Все точно по расписанию. Первым Гера выходит, Геракл сенбернар, восемь лет уже, старик, на пенсию скоро. У них ведь, говорят, год за семь? Затем Дора с Клавдией Николаевной — тоже не девочка, по паспорту без породы, но что-то явное от колли, симпатяга, морда длинная, ушки торчком, но низкорослая в родне, видно, таксом кто интересовался, шустрая, два раза в год, как течка начинается — вокруг неё хоровод — кобели в кровь передерутся, она выбирает в сторонке, долго так выбирает, хотя самой — видно — невтерпёж, никогда себя кому попало не доверит, капризная. Два

бульдога тоже до восьми гуляют, их Сашка перед школой выводит, так эти, бывало, не успеют присесть — лапу поднять — он их домой тянет. И что вы думаете — они его перехитрили: теперь только из подъезда — и к дереву. По часам замерял — минут по пятнадцать стоят, не сдвинешь, пока всё не выльют, не выложат. Добродушные уроды, с виду как будто морду кто кирпичом разбил, глаза красные, слюни текут, а ведь есть обаяние, согласитесь, никого не трогают, пуделей только не переносят, особенно серых, они их с мышами, должно, путают...

Мерин поймал себя на том, что с каждой минутой доверие к этому не старому ещё, вполне интеллигентного вида человеку идёт на убыль. Что-то неуловимо фальшивое было в этих его кинологических откровениях.

— Скажите, у вас все окна в одну сторону выходят?

— Окна? — Бальмонт от неожиданности вздрогнул. — Все. Так их три всего: там два и тут. Все. — Он замолчал, вопросительно глядя на Мерина.

— Ну, ну, продолжайте. И что же убийца?

— Убийца? А, да, конечно, убийца. До главного-то никак не доберусь. Старость, знаете ли, не радость. Поболтать — это хлебом не корми. Но — не с кем. Один как перст. Правда, не с каждым в беседу можно... Бывает, и не расположен... к беседе, я имею... то есть... — Он закашлялся. — С приятелем вот вашим не стал, извините, не показался он мне. Извините. Давайте, говорю, начальника, с ним свидетелем буду. А вы давно в руководстве, прошу прощения, молодой такой?

— Давно. Третий день.

— Давно-о. — Бальмонт без улыбки согласно кивнул, продолжил, как показалось Мерину, с большей уверенностью в голосе. — Убийца вышел из подъезда вон того дома, он один тут такой остался, хрущёвка, не успели снести, из моего окна его видно как на ладони — первый справа подъезд, извольте взглянуть.

Аристарх Николаевич вставая, повернулся на табуретке, отодвинул клетчатую шторку. И на мгновение замер. Спыхватился вдруг суетливо.

— То есть, почему — убийца? Это я предполагаю только, а уж вам решать, как мои слова себе в пользу употребить, я не претендую, вам видней. Убийца, нет ли, а только зачем в шесть утра из дома бегом с такой скоростью? А? Куда? Я так думаю.

— Правильно думаете. А он бегом бежал?

— Опрометью, как сбrehоватый какой. Так нерассудительно только от страха бегают.

— Аристарх Николаевич, постарайтесь вспомнить, как выглядел этот человек. — Мерин мог поклясться, что описание совпадёт с Кораблёвым.

— Запомнил. Очень запомнил. Наблюдал. Потому как один во всём дворе — всё замерло, а этот движется, движение всегда привлекает. Высокий, худой, лет эдак за тридцать с хвостиком, волосы русые короткой стрижки. Синяя куртка джинсовая, брюки такие же...

— Никаких особых примет не заметили?

— Нет, высоко, знаете. Никаких. Остановил машину, сел и уехал.

— Номер не запомнили?

— Высоко.

— Марку?

— Не разбираюсь. Кроме «Жигулей» разве что. Иностранная, длинная.

— Цвет, может быть?

— Светлый цвет. Светлая. — Глаза Бальмонта слезились напряжённой правдивостью.

Мерин удовлетворённо закивал, не спеша занёс в блокнот драгоценные показания. «Нет, дорогой товарищ однофамилец (или родственник? Всякое случается), нет, дорогой, не светлая была машина, а чёрная, чернее не бывает. И не признать гордость отечественного автомобилестроения, наречённую в честь великой русской реки, впадающей в Каспийское море, может разве что пришелец из предыдущей эпохи времён каботажного, как единственно существующего, средства передвижения».

Он вдруг неожиданно громко зевнул, закинул за голову утруженные писаниной руки, широко улыбнулся.

— Аристарх Николаевич, а не выпить ли нам кофейку, что-то в сон заклолило? Не сочтите за наглость.

— Да, да, конечно. Сам должен был... Извините. Сейчас, сейчас.

Он засуетился, открыл стенной шкафчик, застучал кастрюлями, стаканами, металлическими банками с крупой...

К этому моменту Мерин знал уже как минимум три вещи.

Он знал, что Кораблёв не имеет никакого отношения к убийству Щукина.

Что сидят они в кухне квартиры, которая Бальмонту не принадлежит. (Теперь — работа Трусса: допросить с пристрастием, выяснить, кто подсунул эту поэтическую дезу.)

И, наконец, если бы этого свидетеля не было, его непременно следовало выдумать.

Мерин достал мобильный телефон, набрал Катин номер, спросил с опозданием у суетящегося в поисках кофе Бальмонта.

— Позвольте, я позвоню.

Сначала Катя услышала шум загромождённой машинами улицы, милицейские свистки, скрип тормозов. Потом откуда-то издали донеслись слова.

— ...проверь — живая?

— Пошёл на х...й.

— Проверь, говорю!

— Как её проверишь?!

— Пальчиком пошали в штанишках — очнётся. Умеешь?

— Пальцем нет.

— Ну и мудак.

Катя почувствовала, как кто-то расстёгивает на её груди плащ. Она откинулась на сидении, открыла глаза, спросила:

— Куда вы меня везёте?

— О! Оживела! — обрадовался водитель. — А говорил — не умею. — И повернувшись через плечо, долго смотрел на Катю. — На свидание везём, не бойсь, рыженькая. Любишь свидания-то? Лю-ю-бишь. Все вы это дело любите, только целок из себя строите. Щас приедем — посвиданькаемся, довольная будешь, обещаю.

— Вперёд смотри, дриппер.

— О! Ревнует Мудякин. Влюбился. Он у нас влюбчивый — с утра сегодня ещё никого не любил, застоялся. Да, Вань?

— Сглотнё-ё-шь!!!

Шофёр заржал.

В кармане плаща заиграл телефон. Катя хотела достать трубку, но сидящий рядом Мудякин перехватил её руку.

— Тихо сиди. Не дёргайся.

Какое-то время ехали молча.

Она посмотрела в окно, мимо проплывали мутные, подстриженные под одну гребёнку многоэтажки.

Очевидно, проезжали через какой-нибудь спальный район Москвы.

Запоминать дорогу было бесполезно: Катя и центр-то знала плохо — так, Красную площадь, Тверскую, Арбат ещё да несколько улочек вокруг ВГИКа.

Думать ни о чём не хотелось.

По вискам стучали молотком, рвотные позывы комками подступали к горлу.

Ей казалось, что она не спит, но резкий мужской голос заставил её вздрогнуть.

— Слышь, рыжая, тебе говорю. Приехали. Развалилась.

Они шли долгими грязными коридорами — ноги то и дело обмякали, сопровождавшим её амбалам приходилось проявлять непривычную для себя галантность.

— Не ложись, тёлка, рано ещё. Щас придём. Потерпи. — И ржание.

После вонючей коридорной темноты комната показалась Грановитой палатой (Катя была там недавно — искусствоведка всем курсом водила их в прошлом месяце в Кремль): две огромные хрустальные люстры, сверкающий каток пола из набранного паркета, диваны, кресла, на стенах картины... За гигантских размеров письменным столом, заставленным малахитовыми предметами, терялся восточного типа черноволосый бледнолицый человек.

Как только за сопровождавшими Катю амбалами захлопнулась дверь, человек этот поднялся, вышел на середину комнаты и заговорил с лёгким кавказским акцентом.

— Меня зовут Александр. Надеюсь, мои сотрудники не очень вас угнетали? Они без университетского образования, о хороших манерах знают понаслышке. Но в своём деле профессионалы, смею вас заверить, за это и держу. Садитесь, пожалуйста, я вижу, дорога вас утомила.

Он придвинул Кате кресло, сам сел неподалёку на диване.

— Кофе? Чай? Сок? Может быть, что-нибудь покрепче? Не стесняйтесь, я с удовольствием разделю с вами компанию.

Катя молчала, не мигая глядя на черноволосого Александра. Тот потечески добро улыбнулся.

— Ну хорошо, нет — так нет. Я, собственно, вот почему попросил вас о свидании. Не далее как вчера — если что-нибудь не так — тут же меня остановите — вы на вечеринке у Светланы Павловны Нежиной, устроенной в память о вашем общем с ней знакомом Кораблёве Дмитрие, заявили во всеуслышание, что тот якобы жив. Чем повергли собравшихся в некоторое, мягко говоря, недоумение. Так? Скажите, на чём основано это ваше заявление, можете ли вы каким-либо образом подтвердить его или это всё только на уровне предположений? — Он выдержал паузу, и поскольку Катя молчала, продолжил. — Я бы никогда, поверьте, не позволил себе удручать вас неприятными вопросами, но дело в том, что Кораблёв Дмитрий подозревается в совершении тяжких преступлений, он разыскивается правоохранительными органами, и вы могли бы, за вознаграждение, разумеется, и немалое, можете мне поверить, могли бы

помочь следствию. Ведь наобум, согласитесь, ради красного словца такие заявления не делаются. Речь идет о жизни человека. Или его смерти. Так ведь? Что подвигло вас на это признание? Не отмалчивайтесь, Екатерина, вы действительно можете помочь обезвредить опасного преступника и обеспечить свою жизнь на многие годы вперед.

Он замолчал.

Катя по-прежнему не издавала ни звука, только до побеления сжимала кулаки, скрипела зубами и громко сопела.

Лёгкое подобие улыбки, до сих пор блуждавшее на губах чернявого Александра, неожиданно исчезло.

— Я опираюсь на ваши же слова — ничего нового от вас не требуется. Вы сказали, вам известно о том, что Кораблёв жив, от милиции. Так? Ответьте, так или нет? Ну хорошо. От кого конкретно? Кто послал вас к Нежиной? Что вам ещё известно? Где в данный момент находится Дмитрий Кораблёв? Где? Не могу поверить, что вы этого не знаете. Где? Где?!

Следующее «ГДЕ?!» прозвучало так, что хрустальные подвески на люстрах мелодично зашевелились, а бледное доселе лицо хозяина Грановитой палаты обрело пунцовый оттенок.

Катя зажмурилась. Подумала, вот и всё, сейчас начнутся пытки, а она не может терпеть, даже когда берут кровь из пальца, не говоря уже о зубной боли. Только под наркозом. Попросить что ли общий наркоз? Жаль, что Мерин никогда не узнает, какая она Космодемьянская.

Между тем никаких раскалённых утюгов и игл под ногти не последовало. Обретший первоначальный белый цвет лица черноволосый человек поднялся с дивана, сел за свой необъятных размеров стол и занялся, по всей видимости, неотложными повседневными делами.

«Конечно — это бандиты, тут и гадать нечего, а никакие не следователи. — Катя разжала кулаки: пальцы затекли и теперь пронзались колючими искрами. — Сева предупреждал: никому, и она, молодец, молчит.

Но как они её вычислили? Откуда узнали, что она была у Нежиной, да ещё почти дословно — что говорила? Вот это загадка».

Не дозвонившись по Катиному мобильному телефону, Мерин набрал номер общежития.

— Будьте любезны, если вас не затруднит, не сочтите за труд позвать из 17-й комнаты Елину Екатерину. Очень нужно.

В трубке помолчали.

— Не сочту. Буду любезна. Не затруднит, раз нужно.

Мерин выругался про себя, что это он, совсем что ли спятил, в самом деле? Не хватает только «отнюдь» и «вашими молитвами».

Ответ его расстроил: «Нет дома. С утра с самого. Плохо глядишь, коли очень нужно».

Он набрал Петровку.

— Анатолий Борисович? Мерин. За мной заехать надо. Не на метро же. И никаких разговоров, заезжайте.

Трусс разинул было рот, но всё же спросил:

— Не можешь говорить, что ли?

— Разумеется.

— Братъ будем?

— Именно.

— Ордер на руках?

— Отставить разговорчики.

— Понял. Бригадку прихватить?

— Управимся.

— Еду, начальник.

Бальмонт, так и не обнаружив на полках кофе, что-то бубнил в своё оправдание, но Мерин его не слушал. На всякий пожарный проверил себя.

— Телефончик далеко у вас?

— В спальне... Там не убрано...

— Не страшно, номерочек продиктуйте.

Аристарх Николаевич неуверенно назвал семь цифр, ни в каком приближении не совпадающих с данными Галеонкаранта Месхиева.

«Ну вот, давно бы так. А то — кинолог! Теперь можно не сомневаться, этот „поэт“ послан им не иначе как самим Провидением, и действовать следует решительно, не боясь ошибиться».

Сева захлопнул блокнот и, не в силах сдержать самодовольной улыбки, повернулся к «хозяину» квартиры спиной.

Ломило затылок, ныли затёкшие суставы, лапаная амбалом шея не позволяла повернуть голову.

Ручные часики показывали без четверти три. Прошло два часа с тех

пор, как черноволосый Александр пересел с дивана за письменный стол и занялся своими делами. Из закрытой портьерой двери много-разно («Можно так сказать? Конечно. Даже красиво», — Катя улыбнулась) много-разно входила длинноногая модель с чаем, бутербродами, бумагами, минеральной водой и коньяком. Дважды по стойке «смирно» у стола возникали широкоплечие захватчики.

«Почему у них у всех такие одинаковые расплющенные носы? Ну, шеи нет — понятно, поперёк себя шире — тоже понятно — накачались. А носы-то?» Теперь она эти лица никогда не забудет.

Ей вдруг стало холодно. Она поняла: её отсюда не выпустят никогда. Слишком много она о них знает. Убить, может, не убьют, но не выпустят — это точно.

А пусть и убьют — всё равно она не скажет ни слова.

Катя достала из сумочки носовой платок, высморкалась с шумным вызовом.

И услышала негромкий голос чернявого: не поднимая головы, разглядывая лежащие перед ним бумаги, тот, казалось, заговорил сам с собой.

— Почти два часа прошло, вы напрасно играете в молчанку. Мы всё равно найдём его — есть у нас такая возможность: не вы, так Феликс, не Феликс, так Нежина или кто-нибудь из её постоянных гостей. Не в этом дело. Дело в том, что он нужен нам сейчас. Понимаете — сей-час. И не минутой позже. До того, как его найдёт Мерин и отправит на виселицу за многочисленные убийства. Видите, я с вами откровенен. Вы уйдёте отсюда тотчас же, как только назовёте адрес. Где он?

Говоривший поднял, наконец, голову и долго, не мигая, смотрел на Катю.

— Мы, конечно, и так вас отпустим, никакие ваши рассказы кому бы то ни было не будут иметь юридической силы, мы не убийцы и не бандиты, мы официальная организация, вот наша лицензия, — он махнул рукой на висевшую за его спиной бумагу в тёмной рамке, — если мои помощники вели себя в отношении вас недостаточно, э-э-э, так скажем, вежливо — будут наказаны, обещаю, но... Я не люблю, когда молодые, красивые девушки упрямятся и не выполняют моих просьб. Поэтому...

Он дотянулся до стоявшей на краю стола склянки с прозрачной жидкостью, поднял её, повертел в руках. Спросил:

— Вы в школе хорошо учились? Слышали что-нибудь про так называемую «царскую водку»?

Катя смотрела на него исподлобья. Она, конечно, знала, что такое

«царская водка», проходили в десятом классе по химии, но никогда не могла понять, почему эта жгучая смесь так странно называется. Чернявый продолжал:

— Это соляная кислота, разбавленная серной, в пропорции один к одному. Замечательная, по-своему, смесь: одна капля её, попадая к примеру, на лицо, прожигает мягкие ткани до кости. Вы, если не ошибаюсь, собираетесь пополнить ряды кинематографических див? Не думаю, что после случайного попадания на ваше очаровательное личико этой смеси — повторяю, совершенно случайного — вам удастся продолжить осуществление вашей мечты. Выбирайте.

Он встал из-за стола, взглянув на часы, буркнул:

— У вас уйма времени, ровно час.

И вышел из комнаты.

Когда раздался звонок в дверь, Бальмонт заметно обрадовался.

— Это за вами, за вами. Надо же, как быстро. А путь неблизкий. Похвально.

Не объяснять же ему, что ехали с мигалкой и под красный свет. Трусс вошёл хозяином, протянул Бальмонту руку.

— Трусс.

Тот не понял.

— Простите?..

— Это фамилия такая: Трусс с двумя «с» на конце. А можно и с одним — как удобней. Я не обижусь. — Он обаятельно улыбнулся. — Позвольте, доложу начальнику оперативную обстановку? Мы в комнатку зайдём, идёт? Секретная служба, будь она неладна.

Оставшись один, Аристарх Николаевич продолжил поиски проклятого кофе. Неудачно получилось. Хорошо, начальник молоко с губ недавно только стёр, опытный-то наверняка заподозрил бы. Да и с восходом он напорол, пердун старый, надо в дальнейшем быть поосмотрительней. И вслух обрадовался: «Да вот же он! Эк — память стала...»

— Ну что, папаша? Как жизнь молодая? Рассказывай — не таись. — Трусс включил электрический чайник, щедро насыпал в кружку растворимого порошка.

— Нашёлся кофеёк-то? Молодцом. Сам выпьешь?

Бальмонт замахал руками.

— Ни-ни-ни. Давно уже. Давление. Не полезно. Потому и забыл, куда сунул.

— Понятно. Сколько в шкафу пиджачков-то?

— Что, простите...

— Я говорю, сколько пиджачков?

— Где?

— В письме, где. В шкафчике.

— В каком, простите?..

— А в комнатке.

Трусс поискал на полках сахар, отсчитал шесть кусков, сказал с виноватой улыбкой:

— Люблю сладкое, грешен. Ну так как насчёт пиджачков?

Аристарх Николаевич с надеждой перевёл глаза на Мерина: выручай, мол, спасай от нахала.

Трусс от души расхохотался.

— Не-е-ет, он не подскажет. Подсказывать нехорошо, этому его в школе научили, правда, Сивый? — И испуганно спохватился. — Ой, простите, товарищ начальник, сорвалось. Ну так я слушаю: пиджачко-ов мо-и-их в моём шка-а-фчике... ну, ну... Цифирки, цифирки называйте. А заодно и про цвет постельного белья расскажите, как оно у вас — в горошек, в крапинку, в рисуночек какой? Сейчас целые сюжеты на простынях устраивают, затейники. Недавно купил, а там порнушка, всю ночь вертелся-разглядывал. Не то, что раньше — белые и никакой фантазии...

— Документы покажите. — Голос Бальмонта звучал глухо, так что Анатолию Борисовичу пришлось уточнять.

— Документы, говорите, я не очень расслышал? Вот это правильно. Бдительность и ещё раз бдительность. Мне и тёща всегда говорит: «Не открывай дверь никому, особенно Мосгазу, такие падлы попадаются».

Он достал удостоверение сотрудника МУРа, раскрыл, помахал перед носом Бальмонта.

— Очки наденем или так разглядывать будем?

— Я вас слушать не хочу. Прошу освободить помещение...

— И правильно, нас слушать и не надо. Мы молчать будем, да, Сивый, э-э-э, товарищ начальник? Ни слова. Это мы ВАС слушать будем. А вы нам рассказывать. Где работаем? Сколько получаем? Чья квартира? И главное — кто дезу заказал, сука?!

— Попрошу выйти...

— Я тебе выйду, сексот ё...ный. Думаешь, на простачка напал, никто

тебя не раскусит, козёл старый? А Сивый у нас в отличниках ходит, таких как ты пачками колет, да, начальник? Говори, орех гнилой! Мне некогда, тёща на борщ позвала. Ну!!

Аристарх Николаевич молчал.

— Так. Терпение на исходе. Тогда извольте в машинку и с ветерком по столице нашей Родины до Петровочки. Слыхали про такую улочку?

— Это арест?

— Именно. Догадливый.

— А ордер...

Кулак Трусса пришёлся Аристарху Николаевичу в подбородок, точнее — в левую его половину. Бывшего работника МВД вознесло над полом сантиметров на двадцать и ударило в вертикальную стойку отечественного оконного переплёта, который, к счастью для него, потрещал малость, но в конечном итоге выдержал неожиданное испытание на прочность.

— Это тебе ордер на арест, подонок. — Трусс помассировал пальцы, плеснул в кружку закипевшую воду, разметал растворимый кофейный порошок. — Хлебнёшь, Сивый? Халява, не стесняйся, дедушка угощает. Я правильно излагаю? — Он повернулся к прильнувшему к отопительной батарее Бальмонту. — Замёрз? Сейчас кофейку попью и согрею.

Мерин, затаив дыхание, до предела растопыренными глазами взирал на происходящее. Такого поворота событий он, как, по всей видимости, и Аристарх Николаевич, никак не ожидал.

— А теперь слушай меня внимательно. Сядь на стул, как человек, что ты к полу-то прилип, мне неловко, всё-таки постарше будешь, свидетель х...ев. Вот так. — Трусс за грудки поднял совсем раскисшего Бальмонта, ткнул его в табуретку. — Бить тебя я права не имею, за это меня с работы уволить могут, а работу свою я сильно уважаю и из-за всякой мрази лишаться её не собираюсь. Но бить тебя я буду, и очень больно, пока ты не расскажешь нам вот с начальником моим всё, о чём мы спросим. И никто об этом не узнает, что ты бит — ни одна душа в мире. Никто! Мы с тобой не в Швейцарии, где, я слышал, законы чтут, дураки. В комиссии по правам человека мы тоже не состоим, верно? Или ты правовед? А? Не слышу. Ну помолчи пока, ладно. Я, дяденька, тогда законы соблюдать начну, когда с вами, бл...ми, покончу, не ранее того. А то вы о них вспоминаете только когда за жопу возьмут, а до того у вас свои законы. Не швейцарские. Не так? Вот и у меня свои, отеческие. Один ордер на арест я тебе предъявил, верно? Но это начало только, так сказать, разминка. У меня их, ордеров-то — мно-о-го ещё. Не сосчитать.

Анатолий Борисович допил кофе, вытер рот носовым платком.

— Ну — всё, дяденька, увертюра закончилась. Да, да, да. Что глазками-то хлопаешь? Давай, вступай: ваше слово, товарищ маузер. Параграф первый, кто тебя послал сливать дезу? Фамилия. Имя. Отчество.

Следующие секунд тридцать прошли в гнетущей тишине.

Затем Трусс отклонился корпусом к газовой плите, коротко хмыкнул и Мерин так и не понял, почему Аристарх Николаевич опять оказался на полу: момент удара он заметить не успел...

...Когда они спускались в лифте, опытный сотрудник уголовного розыска обнял за плечи своего младшего товарища.

— Согласись, Сивый, душа радуется, когда удаётся добиться правдивых показаний законным порядком. Чувствуешь себя полноценным гражданином правового государства. Нет? Рука только побаливает. Ну — это ничего, как говорится, издержки профессии.

— И что он сказал? — Сева чувствовал себя виноватым.

— Ты зря вышел, начальник, много интересного пропустил. Дедуля поупрямился малость — это ты видел — я его вежливо попросил, дедушка, мол, помоги следствию, а то ведь убью на х...й, и он внял — не совсем мудаком оказался — позвонил и сказал, что всё в порядке, задание выполнено. Ему больше и сказать нечего — его же иначе убьют заказчики. «Задание выполнено — менты занюхали ложный след, теперь бегут по нему борзыми». И мы в шоколаде: адресок конторы я вежливо выпрошу у этого педераста, думаю, он не менее сообразительный, чем дед наш, всё подробно расскажет, а нет — дождёмся, когда рука подживёт, правда, тебе опять придётся выходить из комнаты. Так что верти дырку для ордена, «Счастливец». Хотя — нет. Скорый скуповат на такие жесты. Ну, ничего, молодо-зелено, у тебя всё впереди. Теперь давай распределять обязанности: я, как инвалид труда — он пошевелил распухшими пальцами правой руки — на Петровку. Звоню и встречаюсь с этим ублюдком-заказчиком, он мне популярно, надеюсь, разъяснит, кому и зачем понадобилось вводить в заблуждение наши с тобой любимые органы. А в три у меня, если не забыл — по твоей просьбе — свидание с дамой, по слухам, не без привлекательности, я же человек холостой, нетерпеливый, сам понимаешь — надо выглядеть достойно: сон, завтрак, душ, одеколон — а как же, нельзя в грязь лицом, а ты — ножками, ножками — куда интуиция поведёт. Лады? Кстати, в связи с успехом предыдущей операции, не передумал без санкции в закрытые двери ломиться? По жопе не боишься схлопотать?

— Нет.

— Ну что я могу сказать: молодец. Вылитый я в молодости. Похвально. Только учти, Трусс ничего не знает, а то — не дай что —

групповуху пришпандорят. Уразумел? Ну и ладно. Тогда могу подвезти. — Он услужливо распахнул дверцу потрёпанного жигулёнка.

Мерин улыбнулся всё ещё белыми от пережитого напряжения губами, чуть дольше положенного задержал в своей ладошке протянутую Труссом руку, произнёс еле слышно:

— Спасибо.

И бегом устремился к метро.

Как только Катя оказалась одна в огромной, давящей своей роскошью комнате, её охватила паника: бежать во что бы то ни стало. Пусть стреляют, пусть ранят, даже убьют, всё что угодно, только не то, о чём говорил этот внешне мало похожий на изувера черноволосый человек. ЗАЧЕМ ТОГДА ЖИТЬ? С ТАКИМ ЛИЦОМ?!

Она вскочила со стула и не сознавая, что делает, не контролируя себя, спотыкаясь и опрокидывая мебель, подбежала к массивной дубовой двери. Несколько раз рванула на себя бронзовую ручку. Дверь не шаталась и не скрипела.

Катя бросилась к окнам, откинула тяжёлые бархатные шторы — сквозь крупные клетки металлических решёток в глаза ей острыми ножами вонзились лучи майского солнца.

Телефон у неё отобрали. На столе лежало несколько мобильных — один, другой, третий — нет, или их отключили, или она в отчаянии не может справиться с незнакомой техникой.

ГОСПОДИ, ПОМОГИ!

Остаётся дверь, за которой исчез Чернявый.

Отдавая себе отчёт в полной безрассудности своих поступков, она всем телом наваливалась на эту неприступную крепость, много раз, до костяного хруста, разбегаясь, ударяла плечом, била в неё кулаками, кричала.

Потом она вернулась на прежнее место и разрыдалась.

...Ручные часики показывали без двадцати час.

Прошло сорок минут.

Осталось двадцать.

Неужели она потеряла сознание?

Нет, только она, она сама, Екатерина Елина, не Катя-Катюша, а Яблоня и Груша может помочь себе выбраться из этой могилы.

Однажды, очень давно, в детстве, она одна поплыла на лодке удить рыбу. Вырулила на середину реки, зацепила якорь, бросала донки, удочки, спиннинг — это было её любимым занятием — и когда (о счастье, впервые в жизни!) огромная, как ей тогда показалось, рыбина забурлила, забуравила воду, пытаясь уйти с крючка, Катя с отчаянием камикадзе бросилась за борт, лодка перевернулась и она оказалась в стремнине полукилометровой ширины реки. Помощи ждать было неоткуда, и тогда она сказала себе: Груша, если не ты сама — никто тебе не поможет, давай, если хочешь ещё когда-нибудь половить рыбу.

И она выплыла, что было почти чудом.

Катя закрыла глаза, до боли сдавила пальцами голову и попыталась заставить себя отключиться от эмоционального восприятия произошедшего. Только реальные факты. И, по возможности, спокойно. Значит так — что, собственно, случилось? Её не взяли в заложницы, не увезли в Чечню и не бросили в яму с голодными крысами — о такой изощрённой пытке недавно рассказывал ей кто-то из сокурсников. Её привезли в весьма уважаемую, судя по антуражу, контору, может быть, и не государственное, частное, но явно не подпольное учреждение и хотят узнать не какие-то невероятные, совсекретные сведения, а простейшие, на первый взгляд, вещи: кто велел ей сообщить в салоне Нежиной, что Кораблёв жив? Это первое. И второе, где в данный момент находится этот самый Кораблёв, лицо которого Катя, конечно же, прекрасно представляла — известный артист, Ален Делон, такое незабываемо — но вот как она оказалась в ту ночь в его постели, увы, помнила смутно — очень уж кружилась голова, всё представлялось в нереальном розовом свете.

Ответить на второй вопрос не составляло труда: «Не знаю». И все дела. Это была чистейшая правда и потому Катя с лёгким сердцем отмела этот вопрос, как не достойный на серьёзное к нему отношение. Спрашивайте у тех, кто знает, а она тут ни при чём.

Что же касается — кто велел? — тут всё гораздо сложнее.

Даже если бы Мерин не просил её помалкивать о его поручении, Катя без труда догадалась бы, что за этим стоит что-то не совсем обычное. Если обратились к ней, случайному, в общем-то, человеку, значит действительно другого выхода у этого смазливового недоумка не было. Значит таится здесь что-то секретное.

Это раз.

А во-вторых — подобное посвящение в святая святых всемогущей, известной на всю страну организации — разве это не свидетельство

полного и безоговорочного доверия к ней, Кате Елиной? Разве не признание её абсолютной неподкупности и честности?

И вообще, если называть вещи своими именами, разве это не завуалированное, пусть и столь неуклюже, признание в любви?

Она достала из сумочки зеркальце: красные, опухшие глаза, размазанная по щекам тушь, на выбеленном до синевы лице отвратительная яркость ненавистных веснушек. Подумала: «И кому может понравиться такое уродство? Пусть себе — „царская“ — так „царская“. Какая разница? Сейчас главное — набрать в рот побольше воды и молчать».

«Ты что — воды в рот набрала?» — часто говаривала ей бабушка, когда она упрямилась и не отвечала на вопросы.

Господи, когда это было?! А теперь...

Недавняя готовность к сопротивлению вдруг исчезла, уступив место вязкой апатии. Всё тело разом обмякло, потяжелело, уснуло.

Голос донёлся откуда-то издалека, Кате показалось даже, что обращались не к ней.

— Ну что, надумала?

Она открыла глаза — амбал по фамилии Мудякин склонился к самому её уху.

— Я говорю — надумала? Где этот Кораблёв? Где, я спрашиваю? ГДЕ?!

Ответить на этот вопрос не составляло труда: «Не знаю». И всё тут.

И это была бы чистейшая правда, но Кате почему-то и этого говорить не хотелось. Она уже набрала в рот воды.

Амбал поднёс к её лицу банку с прозрачной жидкостью.

— Отвечай, сука, б...дь, по-хорошему спрашиваю. ОТВЕЧАЙ!

И случилось то, чего она ждала и боялась больше всего: холодная влага больно ударила ей в лицо, обожгла лоб, щёки, шею...

«Молодец, что закрыла глаза», — успела похвалить себя Катя, прежде чем потеряла сознание.

Раздражение Аликпера Рустамовича Турчака приближалось к своей наивысшей отметке и вот-вот грозило перерасти в бешенство: ни на что не способны эти проклятые мордовороты, ни одно задание выполнить по-человечески не в состоянии. Полдня прошло, а воз и ныне там: подонки как

сквозь землю провалился. Казалось бы — ну куда ему, полуживому, деться, тем более что все больницы, госпитали и прочие лечебные заведения для него отныне и навсегда заказаны. Остаются друзья-товарищи-подруги. Вот они, все его служебные связи, давние и недавние, б...ди-любовницы, школьные, институтские и прочие знакомые-раззнакомые — вот они все как один перед Аликпером Рустамовичем на листочке: не далее как вчера только по этим самым бумажкам нашёл он до сердечной боли ненавистного ему Кораблёва на квартире у Нины Шукиной. План, тщательнейшим образом разрабатываемый год без малого, выполнен процентов на 90: король фармакологии если ещё не кормит червяков, то в ближайшее время делом этим обязательно займётся; полный пакет акций (предлагали же половину — нет, жадность обуяла, а ведь ещё один хитрый еврей, помнится, наставлял — делиться надо) — вот он, полный пакет акций, не где-то на горизонте маячит сомнительной приближённостью, а в кармане почти, в осязаемой доступности, так что обеспеченные миллиардами долларов раскрашенные бумажки ждут и вот-вот дождутся своего нового хозяина в лице Аликпера Турчака (извольте тогда, господа, совсе-е-ем другому любить и жаловать). Всё — не без трудностей, разумеется, не без седых волос и сердечной недостаточности, рисковать здоровьем пришлось и не раз, без этого большие деньги в руки не даются, так вот — всё как нельзя лучше в результате сложилось, всё, казалось бы, в его власти и заветная цель — смысл всей жизни — вот-вот (хватило бы только терпения) — откроет ему свои объятия. И вдруг — по вине каких-то двух тупорылых бандитов он может навсегда лишиться Любы. ЕГО ЛЮБЫ! НЕТ!!!

Турчак так стремительно бросился к входной двери, такой силы ударом ноги распахнул её, так молниеносно исчез из приёмной, что длинноногая секретарша с ужасом подумала об очевидном приближении конца их мирной, налаженной жизни — таким шефа она ещё не видела никогда.

Председатель совета директоров знал за собой грех: в моменты кипения разума — к счастью, с ним это случалось нечасто — он готов был на самые крайние поступки, вплоть до безрассудства. Конкуренты и прочие доброжелатели, которым несть числа, знали об этой его ахиллесовой пяте и всякий раз умело обращали необузданность темперамента московского Хозяина игорного бизнеса в свою пользу. Много примеров тому, когда из-за патологической горячности судьба его висела на волоске. Он очень хорошо знал за собой эту, как он называл, «национальную болезнь», сколько себя помнил — боролся с недугом и даже с годами, казалось, преуспел...

Но, видимо, где-то в самой глубине сознания затаилась родовая инфекция, терпеливо дожидаясь своего часа для взрыва, если очередное помутнение разума опять с неудержимой силой толкало его на столь откровенно необдуманные поступки.

Руки дрожали, кнопки телефона-автомата сливались в один мутный квадрат.

Прошло немало времени, прежде чем он услышал в трубке басовитый мальчишеский голос: «Да, я слушаю. Слушаю. Кто говорит?»

«Детский сад какой-то, — подумал Аликпер Рустамович. — Или не туда попал, или врёт мобильник этой рыжей б...ди».

— Мне нужен Всеволод Мерин.

— Да, это я. Слушаю вас.

Турчак почувствовал, как у него вспотели ладони. Он зажал нос пальцами, начал негромко:

— Я буду краток. У меня находится ваша знакомая Екатерина Елина. Через час после выполнения моего условия она будет свободна. В противном случае она исчезнет. Вот моё условие: ровно через десять минут при следующей связи ты мне сообщаем о местонахождении Дмитрия Кораблёва. Сейчас четырнадцать двадцать две. Варианты исключены.

Он швырнул трубку, на рычаг.

Звонок анонима застал Мерина в лифте дома Светланы Нежиной и спутал все карты.

На провокацию это мало тянуло, тем более что номер его мобильного могли узнать только через Катю.

Значит Катя действительно в опасности и надо немедленно что-то предпринимать.

ЧТО?

Значит Кораблёва никто не увозил из квартиры на Лесной улице, он, вопреки утверждениям Нины Щукиной, ушёл оттуда самостоятельно. КУДА? И КАКИМ ОБРАЗОМ?

Значит избили Кораблёва не те люди, которые подставляли его под убийства.

КТО?

Значит Кораблёв кому-то нужен живым, иначе его убили бы вместе с Виктором Щукиным.

КОМУ?

Десятки подобных «значит» в доли секунды промелькнули в меринском сознании, но ничто, кроме — «Через десять минут она

исчезнет» — не могло заставить его мозг начать воспринимать происходящее.

Он выхватил из внутреннего кармана трубку мобильного телефона, нащёлкал Петровку.

Анатолий Борисович Трусс занимался своим любимым делом: неспешно, с допустимой долей иронии беседовал с задержанным, участие которого в преступлении было ему заранее известно, а доказательство виновности (в данном случае в виде аудиокассеты) приятно наполняло чувством снисходительного превосходства. Перед ним сидел типичный, как их называли муровцы, бык: накачанный, татуированный, за плечами которого — можно на что угодно спорить — не одна ходка — уголовник. «Колоть» таких, не имея на руках, опять же по выражению сыскарей, «веских отпечатков» — что ссать против ветра: неприятно, но приходится. А тут — санаторий, тёплый клозет с подогретым полом — не хватает стакана «Смирновской» и бочкового огурчика.

Он уже рассмотрел мятый, в жирных пометах паспорт на имя Алексея Петровича Чумакина, сличил неохватную физиономию его владельца с маленькой, замазанной чернилами фотографией — что-то смутно знакомое промелькнуло в памяти — надо проверить розыск — задал пару ни к чему не обязывающих вопросов.

Добродушный с виду увалень отвечал охотно, обстоятельно, даже позволил себе улыбнуться, когда Трусс, как бы между прочим, поинтересовался его «девичьей» фамилией.

— Это как?

— Ну — как, как. Как отца-то фамилия?

— Чумакин, как.

— Точно?

— Ну.

— Ладно, верю. Жив отец? — Ответ последовал не сразу.

— Помер.

— Давно?

— Лет пять.

— Ясно. Мать?

— Что мать?

— Жива?

- Живая.
- Не женился чего?
- А зачем?
- Тоже верно. Работаешь?
- Сторожем.
- Хорошая халява. Через двое на третьи?
- Чего?
- Сутки.
- Нет. Ночь работаю, ночь отдыхаю.
- Сурово. Платят хоть нормально?
- Да вроде.
- Это хорошо. А сторожишь...

Треск мобильного прервал его на полуслове. Он в сердцах схватил трубку, горькой улыбкой пригласил собеседника к сочувственному пониманию: не дадут поговорить по душам, суки, да?

— Трусс слушает.

Какое-то время выражение его лица не менялось и только хорошо знавшие Анатолия Борисовича люди смогли бы уловить признаки постепенного возникновения в глазах некоего, присущего всем охотникам нездорового азартного блеска: Мерин сообщал о звонке анонима, дело осложнялось, надо было предпринимать что-то кардинальное, иначе можно не успеть.

Так и не проронив ни слова, он отключил телефон, откинулся на стуле, похрустел сцепленными пальцами. Закурил.

- Я говорю — что сторожишь-то, не секрет?
- Нет. Секрет.
- Не понял: да или нет?
- Секрет.

— Ясно. А теперь, — Трусс заглянул в лежащий на столе паспорт, — Алексей Петрович... или как там тебя? Не слышу. Ладно, подождём. Так вот, теперь слушай сюда, как говорят в Одессе-маме. Смешной город. Бывать не приходилось? Ну — правильно, помолчи пока. Я поговорю. Но учти — не долго. Я больше слушать люблю.

Анатолий Борисович встал из-за стола, неторопливо прошёлся по кабинету, ещё раз отметил про себя необъятность размеров посетителя, подумал — будь сейчас на его, Трусса, месте хоть Майк Тайсон — справиться в одиночку с этим орангутангом тому удалось бы разве что путём откусывания уха.

Он вернулся на своё место. Голос звучал очень расстроено.

— Чумакин, мне сейчас сообщили — ты в розыске? И не Чумакин ты, и не Алексей Петрович. Это правда? Как тебе не ай-я-яй? Почему не пришёл с повинной? А-а-аа, ты небось, подумал — когда найдут — статья может потянуть на пожизненное? Подумал? Хорошо ещё — вышку отменили, хотя неизвестно, что лучше. Не согласен?

Он, не мигая, смотрел на своего визави.

Тот, напрягшись бугристым телом, мучительно силился понять причину столь разительного изменения настроения ненавистного мента. Казалось, ещё немного — и пудовые гири его безмятежно покоящихся на коленях кулаков найдут себе достойное применение.

Трусс, звериным чутьём уловив, что его ни на чём не основанный, спонтанно родившийся блеф счастливо угодил в хорошо унавоженную почву, продолжал ковать горячее железо.

— И потом — что значит — найдут? Тебя уже нашли: вот он ты. Верно? И искать не надо: заходи и бери под белые руки. Человек ты опытный, тёртый, в мокроте по колено, пугать тебя — не запугаешь, всего повидал. Бить — можно, конечно, никто за это не осудит, ты наши законы знаешь: их нет. Но и это себе дороже: убьёшь, а толку — ноль. Я тебе вот что предлагаю.

Он надолго замолчал.

На кону была слишком большая ставка, чтобы, не продумав до мелочей все возможные варианты развития событий, поддавшись магии свалившейся с потолка удачи, лететь на волнах куража.

— Я тебе вот что предлагаю, — повторил он, переходя на шёпот и всеми доступными способами демонстрируя посетителю переживаемую им мучительную борьбу между долгом и совестью. — Помоги мне! Век по свободе ходить будешь — лично прослежу. На. — Он положил перед посетителем трубку мобильника. — Звони и гуляй. Прямо сейчас. И чтоб я тебя, Алексей Петрович Чумакин, до конца света больше не видел.

Тот сидел неподвижно.

Трусс ловким щелчком придвинул к нему помятый паспорт.

— Прячь ксиву свою, никому не показывай больше и испорти е...ник тому, кто её делал.

— Куда?

— На кудыкину гору, куда. Шефу. Ничего не надо — только как есть: вышел с Петровки, ментура колонула Бальмонта. Всё! И домой баиньки. Ну?

Трусс смотрел на «Чумакина» красными от напряжения глазами. Тот, набывчив шею, внимательно разглядывал грязные половицы муровского

кабинета. Сказал негромко:

— Тебе, начальник, в яслях сраки от говна чистить, а не в уголковке работать. Х...вит контора. Раньше умнее мазали. — И, отвернувшись к окну, добавил: — Я всё сказал.

Светлана Нежина, казалось, совершенно искренне силилась понять, чего от неё требует этот перекошенный волнением молодой человек.

Она попеременно то нервно сводила брови к переносице, то очаровательно расширяла глаза, выявляя на лбу незаметные дотоле морщинки.

— Клянусь вам, я ума не приложу — где он может быть. Я только вчера узнала, что он жив — ваша знакомая, Катя по-моему, сказала и я была уверена, что милиции всё известно. Это ужасно. У него не так много друзей, я их практически всех знаю, всех обзвонила — никто ничего. А ведь к шапошному знакомому не пойдёшь, правда? Ужасно! Вы хотите, чтобы я что — помогала вам искать Диму? Я готова, но как? — И поскольку Мерин молчал, она повторила. — Научите — как?

— А Нестерова?!

— Что Нестерова? Она недавно только звонила — тоже в ужасе.

— Светлана, сейчас зазвонит мой телефон, я включил динамик. Внимательно послушайте — постарайтесь узнать голос говорящего. Вы наверняка знаете голос этого человека.

— Почему вы думаете?

— У меня есть основания так думать.

Они стояли посреди просторной прихожей: Нежина, скрестив ноги и целомудренно поправляя на груди отвороты ярко-зелёного с розовыми разводами халата; Мерин, сжимая в вытянутой перед собой руке мобильник, не отводил напряжённого взгляда от её лица.

Несколько минут прошли в молчании.

— А кто должен позвонить?

— Сейчас услышите.

— Если хотите, я пока могу сварить кофе.

— Не надо!

Ответ прозвучал излишне резко, но пожалеть об этом Мерин не успел — в то же мгновение телефон, как бы исправляя его оплошность, заявил о себе мелодичной трелью.

— Пожалуйста, Светлана, послушайте внимательно. Для Кораблёва это очень важно. Очень!

Он нажал кнопку соединения.

— Да, я вас слушаю.

На противоположном конце молчали, затем раздалось негромкое:

— Это я слушаю.

— Повторите ваши условия. Что я должен сообщить?

— Не тяни, я ждать не буду.

Повисла долгая, показавшаяся Мерину бесконечной, пауза. На какое-то время он растерялся — ему было важно во что бы то ни стало заставить анонима говорить. Самое верное — отключить связь: шантаж — не способ общения с милицией. Видимо, заинтересованность в Кораблёве настолько сильна, что вынудила кого-то пренебречь этой прописной истиной, и повторные звонки не должны заставить себя ждать слишком долго — неизвестному не останется ничего другого, как ещё раз озвучить условия выдачи заложницы. И тогда Светлана сможет...

А если нет? Не позвонит?

Этого он себе никогда не простит.

Молчание катастрофически затягивалось. Тупые удары в виски эхом отдавались на противоположном конце связи.

Он решился.

— Вы говорите с сотрудником уголовного розыска. Мерин моя фамилия, Всеволод Игоревич. — Он безуспешно силился придать голосу равнодушную интонацию. — По первому вашему звонку, если я правильно понял, вы предлагаете мне на определённых условиях передать вам разыскиваемого нами Дмитрия Кораблёва? Я прав?

В трубке молчали.

— Но я должен быть уверен...

— Да!!

По тому, как прозвучал ответ, Мерин понял, что диалога не получится: звонивший был, очевидно, слишком опытен и осторожен. Он взглянул на Светлану — та пожала плечами и отрицательно мотнула головой.

Действительно, по коротким междометиям узнать голос говорившего было практически невозможно. Но другого выхода, кроме как продолжать разговор, у Мерина не было.

— Какие гарантии, что после выполнения ваших условий заложница будет на свободе?

Опять долгое молчание.

И жёсткий, громкий, почти выкрик: «Никаких!!»

Интуиция подсказывала, что это именно тот момент, когда для сохранения инициативы за собой необходимо рисковать и выходить из переговоров: шантажист, по всей вероятности, находясь на грани нервного срыва, выставлял непомерные требования, ничего не предлагая взамен. Другого такого случая может не представиться.

Умом он это понимал.

Но бесчинствующая в мозгу фраза «Через десять минут она исчезнет» парализовала волю и он, почти уже бессознательно надеясь на чудо, не мог сопротивляться цепким объятиям инерции.

— Но Кораблёв опасный преступник, на нём не одно убийство, я рискую слишком и должен быть уверен...

И в этот момент случилось то, чего Мерин опасался больше всего: его опередили. Он проиграл. В трубке раздались короткие гудки отбоя.

Подобную непрекращающуюся дрожь во всём теле Всеволод Мерин испытывал только в самом раннем детстве, когда перепуганная бабушка укутывала его всеми имеющимися в доме подручными средствами, одеялами, пальто и даже подушками, а он продолжал подпрыгивать на своём диванчике и зубы азбукой Морзе отбивали тире и точки. Тогда у него случилась фолликулярная ангина с температурой сорок градусов и нарывами в горле.

Теперь же никакой температуры не было — его просто трясло и он ничего не мог с этим поделать.

С момента звонка на Петровку прошло сорок семь минут. Ещё тринадцать и закончится это мучительное ожидание — а в успехе труссовских методов добывания необходимой информации Мерин не сомневался ни на один миг. Бывали случаи, когда он внутренне осуждал своего старшего товарища, даже иногда во всеулышание выражал несогласие с его способами воздействия на подследственного — недалеко ходить: разговорчивость Бальмонта была достигнута путём не вполне праведным, но в данный момент он безоговорочно склонял голову перед мужеством, мудростью и кулаками Анатолия Борисовича Трусса, только так можно и нужно разговаривать с бандитами и дай ему Бог преуспеть и на этот раз.

Иначе быть не должно.

И всё же...

Он заметил, что встречные прохожие обходят его стороной — тряска продолжалась, как будто тело обмотали оголёнными электрическими проводами.

Чтобы отогнать дурные мысли и хоть как-то справиться с нервами, Мерин призвал на помощь воображение — говорил же поэт: «Живописцы, окуните ваши кисти...» Часы на петровском фасаде показывают без нескольких минут три — конвоиры выносят из кабинета Трусса почти бездыханное тело заказчика дезинформации.

3.00 — усталый, но счастливый Трусс докладывает Скоробогатову об успешно проделанной работе;

3.00 — Скоробогатов не в силах скрыть благодарной улыбки, старательно морщит лоб;

3.01 — Вера Нестерова минует проходную, заказывает пропуск, мажет взглядом по отвратительной роже Каждого и поднимается на второй этаж;

3.02 — она же неслышно скользит по бесконечному муровскому коридору, разгоняя раскачивающимися бёдрами его потную атмосферу;

3.03 — она же царапает ногтями дверь и в воздухе повисает едва уловимое придыхание «можно войти», окрашенное интонацией скорее интимного приглашения к действию, нежели вопроса — только так может вести себя в данный момент эта наделённая плотью Барби...

Нет, сменяющие друг друга картинки вызывают разве что тошнотворное головокружение.

Если допрос заказчика окончен — почему не звонит Трусс?

А если...

Всё! Без пяти три.

Дрожащими пальцами Мерин не без труда надавил семь цифр труссовского мобильного.

— Анатолий Борисович, Мерин...

— Я занят. — Короткие гудки в трубке красноречивее слов прояснили ситуацию: допрос продолжается и пока безуспешно.

Опять тупо заколотило в висках: значит без малого два часа «фирменной обработки» бальмонтовского заказчика не дают результата и единственный шанс предотвратить катастрофу с каждой минутой необратимо исчезает.

Господи, что же делать?

Он прислонился к стене и несколько минут стоял с закрытыми глазами.

Нерешительностью Аликпер Турчак, сколько себя помнил, никогда не отличался. Напротив, склонность к скоропалительным, без долгих раздумий выводам и моментальная ответная реакция часто зло обходились с ним, ставя под угрозу, казалось, уже выигранные ситуации.

Если нужно было чего-то добиться, если он сам ставил перед собой задачи любой сложности — преград для него не существовало: обман, подлоги, кровь, трупы — всё шло в дело и цель неизменно оправдывала средства. Так он жил, и только так понимал законы выживания: природа раз и навсегда определила на этой планете власть Сильнейшего и нет никакой разницы между тварями, её населяющими — будь ты хоть тварью ползущей или венцом творения.

И теперь, сидя в удобном кресле своего роскошного кабинета, стараясь удержать в груди рвущееся наружу сердце и размышляя на эти вечные темы бытия, он вдруг неожиданно для себя отчётливо понял, КАК должно действовать. Наконец-то! Никаких сомнений или там, не дай Аллах, угрызений совести. Никакого страха! Так и никак иначе!!!

Председатель совета директоров ООО «Досуг» вытер носовым платком скользкий мрамор лба и звучно ударил ладонью по столу. НИКАКОГО СТРАХА — ничто не может быть страшнее утраты Любы! Не терять ни минуты. Ни секунды! Так и только так!

Он надавил укрытую от посторонних глаз клавишу, шторы на противоположной стене медленно поползли в стороны, открывая взору совершенной красоты портрет молодой женщины.

Аликпер Рустамович широко раскинул руки, жарко охватил виртуальный предмет своего вожделения и, презрев нереальность, стал покрывать темперное изображение возлюбленной сладострастными поцелуями.

Анатолий Борисович Трусс какое-то время пребывал в состоянии растерянности. С одной стороны, в том, что перед ним «розыскняк», можно было теперь не сомневаться, и это, как выражался вождь мирового пролетариата, удача архибольшая, можно сказать — грандиозная удача тянула по звездёнке на оба плеча или на худой конец побрякушку на грудь.

Надо только ни в коем случае не торопиться — поднять висяки, освежить в памяти забывчивого гражданина его подлинные Ф.И.О., его приговор, поднакопить факты, дать товарищу созреть и только потом рапортовать начальству о героической поимке опасного беглого каторжанина.

С другой стороны, сведения от «Чумакина» нужны были немедленно, на кону человеческая жизнь, а последняя произнесённая этим орангутангом фраза красноречиво свидетельствовала о том, что экземпляр попался матёрый, так просто, с кондачка, как, к примеру, Бальмонта, его взять не удастся.

Задача со многими неизвестными.

Трусс ходил по кабинету за необъятной спиной посетителя, стараясь ни на мгновение не упустить его из вида.

Часы показывали без пяти три. Мерин, поди, начал уже заикаться от страха за свою рыжую красавицу, а сообщить ему было решительно нечего — воз и ныне там.

Идиотская трель мобильника не на шутку рассердила Анатолия Борисовича.

— Я занят.

Он сел за стол, швырнул в ящик «чумакинский» паспорт, нажал кнопку конвоя. Скомандовал:

— Наручники. В одиночку. Быть за дверью, я вызову.

Когда милиционер вышел, Трусс после короткой паузы негромко заговорил:

— Старик, у меня нет другого выхода: приглашение в качестве подозреваемого я переквалифицирую на обвинение. Посидишь, отдохнёшь, подумаешь. Бить тебя бесполезно — удар ты держишь. Убивать глупо, — ты мне нужен. Я поступлю проще: через пятнадцать минут, — он глянул на часы, — в три двенадцать тебе в жопу вколят снотворное, усыпят как бешеного быка и отрежут яйца. Проснёшься кастратом. А потом всё равно нары за прошлые грехи. Видишь, я с тобой откровенен. Так что выбирай. Повторяю, мне нужна самая малость: телефон или адрес твоего шефа.

Анатолий Борисович был уверен, что обладает отменной реакцией — подтверждений тому было не счесть — и в очередной раз не ошибся, когда кулак величиной с перезревшую тыкву опустил на его голову, он успел-таки подумать: «Как же так?»

Дальше произошло то, что на Петровке называют «матхари». Никто не берётся сказать, откуда взялся этот странный термин: то ли от хари, которая изъясняется исключительно матом, что затрудняет взаимопонимание со следователем, то ли по созвучию с Матой Хари, не больно жалуемой

преступным миром по половому признаку, а, может быть, по аналогии с японским «харакири» — самоубийством особо извращённым способом, но нападение подследственного на представителя власти во время допроса считается одним из самых тяжких преступлений и карается беспощадно.

Отечественная история криминалистики не знает ни одного случая, когда бы потерявший над собой контроль и решившийся на подобное безрассудство бедолага не получил наивысший срок наказания, предусмотренный приписываемой статьёй. А чаще статьи таких «смельчаков» переqualифицируются на более тяжкие — например «нападение с целью убийства работника правоохранительных органов» и сомнительное удовольствие двинуть ненавистного ментюгу по физиономии оборачивается внушительным сроком лет эдак на пятнадцать.

Весь уголовный мир как таблицу умножения знает эти негласные установки, и потому «матхари» случается исключительно редко и как любое экзотическое явление притягивает к себе всеобщее внимание и вызывает неподдельный интерес. В доли секунды известие о случившемся непостижимым образом разносится по управлению с самого низа, чуть ли не с первого этажа, с уборщиц и мудака Каждого, до верха — выше некуда — и с этого момента весь многотысячный коллектив серьёзного заведения начинает быть движим одной страстью: как можно скорее узнать мельчайшие подробности произошедшего и, главное, фамилию (а ещё лучше — увидеть воочию) несчастного, которому не далее как назавтра предстоит нешуточная выволочка у большого начальства, а, может быть, и увольнение из уголовки: подобные промахи прощаются сотрудникам (невзирая на регалии) редко и не забываются никогда.

Второй удар пришёлся Анатолию Борисовичу в левый висок, но уже не прямой, а скользящий, съехавший в сторону уха, что, с одной стороны, уберегло его как минимум от сотрясения мозга, но с другой — лишило на время такого важного органа, каким является орган слуха.

И, конечно, если бы не счастливое детство, проведённое вместе с комплексом «Готов к Труд и Обороне» и последующее увлечение физической культурой и спортом (вплоть до сегодняшнего утра), то и третий, может быть, последний, роковой удар не заставил себя ждать и о беспримерных подвигах майора Трусса безутешные товарищи вынуждены были бы говорить в прошедшем времени.

Но!..

Но чёрт действительно оказался не так уж страшен: стоило победителю школьных спартакиад в беге на короткие дистанции, драчуну и храбрецу Труссу включить в дело свою искромётную реакцию, как

увеличившийся в размерах от соприкосновения с его головой и без того немалый кулак озверевшего противника пришёлся точно в стену. Удар был настолько силен, что разлетевшаяся в разные стороны штукатурка в образовавшейся воронке обозначила кирпичную кладку, а хруст переламывающихся при этом суставов навеял Анатолию Борисовичу воспоминание о счастливом артековском детстве и незабываемом потрескивании сухих веток разгорающегося прощального пионерского костра.

Оказалось, орангутангу ничто человеческое не чуждо: он утробно взвыл, скорчился от боли и, прежде чем основную ответственность в продолжении побоища перенести с правой, вышедшей из строя руки, на левую, на какое-то мгновение зажмурил глаза.

Этого оказалось достаточно.

Знаменитая, известная на весь МУР «труссовская» реакция в очередной раз оказалась на высоте положения: только что она спасла оперативника уголовного розыска от неминуемой гибели, позволив тем самым праздновать пусть небольшую, локальную, но всё-таки победу, а теперь и того пуще — доли секундной заминки противника хватило Анатолию Борисовичу, чтобы трубить окончательную викторию: он извернулся нечеловечески, ткнув каблуками ботинок собственный затылок, вытянулся в струну, ладошкой обшарил внутреннюю поверхность столешницы письменного стола, нащупал-таки, надавил кнопку тревоги и в кабинет, грохоча прикладами, ворвались два вооружённых охранника.

Впоследствии, когда все неприятности, связанные с «матхари» благополучно закончились, Анатолий Борисович так живописал любопытствующим коллегам картину произошедшего: «Ну что вы, братцы, какая взь...ка, о чём вы говорите? Представлен к ордену. И звание досрочно. Я же, не забывайте, „розыскника“ взял, на нём семь мокрух, три года всей страной искали-маялись. Вот так».

Происхождение лиловых яйцевидных гематом в области виска, глаза и носа, а также причину увеличения левой ушной раковины по самым скромным прикидкам в два раза по сравнению с правой ушной раковиной, без пяти минут подполковник уголовного розыска предпочитал не комментировать.



Катя открыла глаза и не увидела ничего: со всех сторон её окружала

густая непроглядная темнота. Не было даже её самой, Кати Елиной, студентки первого курса актёрского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии. Если потрогать, то была — были руки, ноги, коленки вот, была голова, туловище... всё это находилось на своих обычных местах и размещалось в горизонтальном положении на чём-то очень твёрдом и неудобном, но перед глазами стояла только сплошная чёрная пелена, ничего, абсолютно ничего не было видно.

«Может быть, я в гробу?» — с ужасом подумала она и только тут память ударила наотмашь: «царская водка».

Нет, больно не было, лицо не жгло, куски кожи не прилипали к пальцам, лоб, нос, верхняя губа, нижняя, подбородок, шея — всё, вроде бы, как всегда в своей природной последовательности. Не было только глаз. Вернее, глаза были: ресницы, веки, под ними перекатывались круглые, упругие как хлебные шарики глазные яблоки, но они отказывались видеть.

Она ослепла!

Никогда больше, до конца жизни она ничего не увидит!

Никогда!

Катя шумным всхлипом глотнула воздух и так долго его не выпускала, что чуть было опять не потеряла сознание.

Она забыла про то, что нужно дышать, не помнила, как это делается.

ОНА НАВСЕГДА ОСЛЕПЛА!

Мерин понимал очевидную несвоевременность своей затеи: ни Кораблёв, ни Нежина с Невежиной, или как там её — Нестеровой, ни Трусс, ни даже Скоробогатов с бабушкой Людмилой Васильевной его сейчас не интересовали. Если через короткие минуты Провидение не подскажет выход из создавшейся ситуации — может случиться непоправимое и он, непосредственный виновник страшной трагедии, будет не в силах её предотвратить. Беспомощность тупила сознание, стеной вставала на пути вялого движения мысли.

Он понимал всю несвоевременность этой, потерявшей в связи со звонком анонима свою актуальность, затеи, но сейчас ему необходимо было хоть что-то делать, двигаться, пусть даже просто привычно передвигать ногами, лишь бы не поддаваться вцепившемуся в мозг отчаянию, приближавшему его к состоянию полного паралича.

И Мерин двигался.

Ноги сами, без каких бы то ни было усилий с его стороны, подчиняясь набранной инерции, вели сотрудника Московского уголовного розыска знакомым, однажды уже пройденным маршрутом.

Он потянул на себя тяжёлую дверь подъезда, пешком поднялся на седьмой этаж.

— Можно войти?

Вопрос прозвучал требовательно и в то же время настолько интимно, с таким нетерпеливым придыханием и недвусмысленно откровенным приглашением к адюльтеру, какового строгим стенам главного пенитенциарного учреждения страны слышать доселе не приходилось.

Не отошедший ещё от бешеной ярости, вызванной предыдущим допросом, Трусс застыл, как будто на него надели смирительную рубашку. Он долго стоял неподвижно, слегка приоткрыв рот, и, казалось, не мог понять, что происходит и откуда, с каких небес снизошло на него это абсолютно неземное явление.

Дар речи возвращаться не торопился, во всяком случае, прежде чем заговорить, он успел многое передумать и переосмыслить в своей не слишком долгой, но достаточно разнообразной жизни.

«Боже мой, — говорил про себя только что жестоко избитый оперативный уполномоченный, — какой ужас! Несчастливая женщина! Ведь она, может быть, и умна, и добра, и отзывчива, может быть, склонность к состраданию, чуткость, внимание к ближнему — самые яркие черты её незаурядной натуры, правдивость, искренность и чистота помыслов — суть основные составляющие её характера, она может быть прекрасной хозяйкой, тонко разбираться в живописи и музицировать на двадцати струнных и стольких же клавишных инструментах, читать в подлинниках Шекспира, Шолом-Алейхема, Шварца и Ширвиндта, но кому(!), какому мужику(!) хоть какое-нибудь дело(!) до этих её незаурядных добродетелей, если первое и единственное желание, возникающее при взгляде на это совершенство, — постель, постель и ещё раз постель. Причём — немедленно! Бедное, несчастное, заслуживающее глубочайшей жалости существо, навсегда лишённое радости простого человеческого общения.

Красотой можно восторгаться. Красоте можно поклоняться. В конце концов, красота даже, говорят, может спасти мир... Но всё должно же быть в разумных пределах!»

— Можно, входите. Я сейчас. Извините. Садитесь. — пролепетал Анатолий Борисович.

Он отошёл к окну, достал оказавшийся не безукоризненно чистым носовой платок, вылил на него воду из графина, приложил к лицу.

Руки дрожали то ли вследствие не вполне удачно сложившегося для него допроса, то ли в силу увиденного...

Приглашение его, тем не менее, прозвучало с опозданием, так как Вера Нестерова давно уже вошла и теперь сидела на краешке стула, всем своим видом показывая, что долго находиться в этой тесной, давно непроветриваемой комнатухе с металлической решёткой на окне в её планы не входит.

— Я приехала вовремя, поверьте, но меня к вам не пускали. Это у вас так принято — выдерживать гостей в отстойниках? Не позволили курить, не предложили кофе. Сторожили... Я чувствовала себя преступницей... Вы меня слышите?

Трусс медленно отошёл от окна, сел за стол, убрал от лица платок.

— Я вас слышу.

Вера ахнула.

— Господи, что у вас с лицом? — Она казалась по-настоящему испуганной.

— С лицом? — переспросил Трусс. — Ничего страшного, последствия вчерашней операции. Брали банду: их шестеро — нас двое.

— Как «брали»? — Ещё больше ужаснулась Вера.

— Ну как берут? Обыкновенно. Ломали дверь, крутили руки, отбирали оружие, лицом на пол и по одному в машину... Сейчас они отдыхают.

— А это... — она мотнула головкой в направлении труссовского уха.

— А-аа, это. — Анатолий Борисович скромно улыбнулся, стыдливо прикрыв ладонью размером с бильярдный шар часть природного слухового аппарата, неблагозвучно именуемую мочкой. — Это один из фигурантов неосторожно мотнул головой, когда я надевал на него наручники. Бывает. Потом извинился.

— Какой ужас. — Масштаб повреждения лица следователя не позволял ей адекватно реагировать на его ироничный тон.

— Не берите в голову, я его простил. А вот вы меня расстроили своим рассказом: не ожидал такого негостеприимства от коллег. Кофе, правда, у нас в дефиците, да вы, поди, и не стали бы растворимый-то, а вот покурить предложить были обязаны. Заведение у нас для курящих — это вы по устоявшемуся запаху, должно, заметили. Ну что сказать? Попеняю. Непременно попеняю. С кадрами у нас сложно — текучка. Курите.

Он протянул ей пачку «Житана».

— Спасибо, это для меня крепковато.

Вера открыла миниатюрную в цвет туфелек сумочку, достала длинную замысловатую сигаретку, благодарно воспользовалась протянутым Труссом огнём.

Какое-то время они молча курили, не таясь разглядывая друг друга. Анатолий Борисович продолжал играть роль стеснительного недоумка, для которого и взглянуть-то на сидящее напротив природное достижение было делом нелёгким, не говоря о том, чтобы осмелиться с ним заговорить. Вера, привыкшая к поклонению, напротив, в очередной раз не без удовольствия праздновала победу. Она жеманно поёрзала на скрипучем стуле, волшебным образом преобразовывая его в трон афинской повелительницы, неспешно закинула ногу на ногу, предоставив тем самым своему визави возможность любоваться небесным цветом своего нижнего белья, и для усиления эффекта растянула губки в знаменитой, всех, вне зависимости от пола, наповал сражающей улыбке.

— Ну так с чего начнём? — Вера решила взять инициативу в свои руки. — Меня пригласили, насколько я понимаю, хотя, если признаться честно, я мало что понимаю, а я привыкла понимать происходящее со мной, так, извините, воспитана, вы уж на будущее, если таковому суждено случиться, потрудитесь учесть это обстоятельство, договорились, а то обидно, когда тебя держат за существо слабомыслящее, недостойное понимания ваших мужских раскладов... да? так вот — пригласили меня в связи с трагедией моих близких людей. Кораблёвых Димы и Жени, я не ошибаюсь? Но всё что могла, я уже рассказала вашему сотруднику, вы, должно быть, в курсе — приходил ко мне милый такой мальчик, произвёл на меня очень приятное впечатление — вежливый, внимательный, даже, мне показалось, не лишённый чувства сострадания, признаться, не ожидала от нашей милиции — о вас разные слухи ходят, не всегда положительные, да вы поди и сами знаете, что я вам рассказываю, а этот — просто на удивление: так умно и ловко меня расположил, что я — всё, как на духу, всё, что помнила и помню, что знала — как хорошему старому знакомому...

Трусс внимательно изучал поверхность выщербленного письменного стола, изредка бросая робкие тинэйджерские взгляды на собеседницу, и силился понять не столько смысл произносимых ею слов, сколько причину такой неожиданной словоохотливости. Опыт подсказывал — тому есть не один десяток объяснений — и теперь предстояло из этого беспорядочного вороха не спеша отобрать единственно верное — торопить события не

входило в его планы.

— ...хотя какое — «старому знакомому» — это я желаемое за действительное — он мне в сыновья годится, этот мальчик. — Вера кокетливо потупилась, коротко помолчала, требуя категорического с ней несогласия и, не дождавшись такового, продолжала. — Я даже, знаете, расплакалась — со мной такое не часто, актёрская профессия учит управлять нервами — но уж больно наотмашь ударила меня эта трагедия, ведь с Димкой мы с первого класса, десять лет, я уж не говорю о Жене — как родная была... Господи, «была». Ужасно. — Она достала кружевной платок, без надобности потерела им покрасневший носик. — Вы не поверите, как мы дружили! Всегда вместе, всё общее, вплоть до... вплоть до, знаете, самого дорогого... духи там, туфли, платья... Ну да я всё уже рассказала вашему мальчику, всё без утайки...

— Вот тут вы ошибаетесь, Вера Артемьевна, — как можно нежнее произнёс майор Трусс, хотя деликатность как таковая не была самой сильной стороной его многогранной натуры.

Он решил прервать грозивший затянуться монолог, то, что она имеет какое-то отношение к произошедшему, становилось для него очевидным: барышня, сама того не подозревая, красноречиво доказывала это его убеждение назойливым многословием, успокаивающим всполошенные вызовом на Петровку нервы. Так что дальше тянуть и выслушивать фантазии белокурой бестии было пустой тратой времени. А вот какое именно отношение к кораблёвскому делу столь неумело силится скрыть эта наделённая трагической красотой женщина — непосредственное, злое или ничего не значащее, случайное, косвенное — этого из её дальнейшего добровольного словотворчества выудить не удастся. Дамочка серьёзно обуреваема желанием во что бы то ни стало отвести от себя любые подозрения и здесь больной необходима помощь, и не абы какая, а радикальная, хирургическая. Ну так что ж, уважаемая лягушка-соблазнительница, в таком случае соблаговолите закрыть на время ротик и раздвинуть лапки — приступаем к операции.

— Тут вы решительно ошибаетесь.

Трусс не сомневался, что скальпель угодит в цель — Вера Нестерова отнесёт это его утверждение на счёт своих слов — «всё сказала без утайки» — и не ошибся.

Она вскинула на него вмиг затянувшиеся чёрными тучами небесные глазки и почти прокричала:

— Вы мне не верите?!

— Да что вы, Господь с вами, как можно, просто вы не в курсе дела: он

отнюдь не «мальчик», как вы неоднократно изволили выразиться, я даже не сразу понял, о ком идёт речь. Выглядит молодо — это правда, а так — ему под сорок, мой непосредственный начальник. Семь пулевых ранений, не говоря о ножах — он их царапинами называет. От одной такой еле выжил — в миллиметре от сердца. Мы чуть с ума не сошли, думали — всё, а он из госпиталя и опять под пули. Гордость отдела.

— Вот как? — Вера заметно повеселела. — А мне говорил, что первое самостоятельное задание...

— Скромность. Нечеловеческая скромность. Мы сами все удивляемся. Не поверите — Звезду Героя даже по праздникам никогда не наденет — стесняется: «Какой — говорит — я герой. Вот Гризодубова с Покрышкиным — это да! А я...» И только рукой махнёт.

— Поразительно!

— Не то слово! Был случай, убийца взял в заложницы девушку, пистолет к затылку и требует — не помню точно что, но что-то невыполнимое. Так мы все залегли, а он поднимается и идёт на него. Тот кричит: «Убью!» А он идет. «Стреляю!!» А он идёт! «Не подходи-и-ии!!!» — кричит и ещё матом немножко. А Всеволод Игоревич подходит к нему, спокойно отбирает пистолет и ведёт в машину. Так бандит с перепугу из штанов себе под ноги, извините, напачкал. А наш и бровью не повёл — белый только, как простыня. Мы все были в шоке. Что вы. Гипнотизёр!

Трусс сознательно перегибал палку, человек душевно покойный, не несущий за собой вины никогда не поверил бы даже малой толике сказанного. Напротив же, «рыльце в пуху» обязывает сосредоточиваться исключительно на собственных проблемах и тут уж не до препарирования собеседников. Таких обмануть, как правило, большого труда не составляет.

Нестерова, похоже, искренне верила каждому сказанному Анатолием Борисовичем слову, открывала ротик, мотала в знак невероятности услышанного головкой — другими словами, была самым что ни на есть благодарным и доверчивым слушателем.

«Или наивна до патологии, или по уши в говне. Третьего не дано. Или же я не гений, что практически исключается».

И майор с удвоенным энтузиазмом двинулся дальше.

— А интуиция какая! Никому даже близко в голову не войдёт — быть такого не может — а он настоит на своём, всё скрупулёзно проверит — точно. Прав на все сто. Экстрасенсы отдыхают, ей-богу.

Трусс закурил новую сигарету, восторженно помолчал, как бы в очередной раз отдавая дань меринским достоинствам, и перешёл к главному.

— А проницательность!! Ну это просто непостижимо! Знаете, как мы его между собой называем? — Он глянул на дверь и перешёл на доверительный шёпот. — Детектор. Ага. Детектор лжи. Его обмануть невозможно. Пробовали — битый номер. Глазищи в тебя упрёт — как сквозь стену проходит: «Это правда, верю, это тоже правда, а вот это — ложь!» И ведь прав, чертяка! Всегда прав! Да что я рассказываю, вы и сами поди на себе испытали, когда встречались, не так ли?

Он в упор, не мигая, уставился на сидящую напротив красотку и, то ли желаемое намного опережало действительность, то ли действительное подтверждало желание, но ему показалось, что последний пассаж с «проницательностью» произвёл на Нестерову неблагоприятное впечатление. Она вдруг беспричинно посерьёзнела, отвела зашторенные ресницами глазки в сторону и на простой вопрос следователя ответила с труднообъяснимым запозданием, так что тому даже пришлось её подогнать.

— Нет? Я не прав?

— Почему? Правы, наверное, вам видней... Просто мне он показался совсем другим... нежели вы... его... Каким-то робким даже, неуверенным, неопытным...

— Во, во, во! Именно. Он всяким может быть. И робким, и жёстким, и злым, добрым, нежным, глупым — каким угодно, в зависимости от обстоятельств — в том и гениальность. Психолог. Вас он расположил к себе «неопытностью», правильно, вы, женщины, народ сентиментальный, пожалеть, по головке погладить — ваш хлеб. А когда он на оперативке докладывал высокому начальству — вас описал в превосходнейших тонах, уж поверьте мне, Вера Артемьевна, красок не жалел, хотя восторженность не самая близкая его подруга, ему, скорее, сдержанность свойственна. «Она, — говорит, — неоценимую информацию предоставила следствию, а уж искренность её, — говорит, — граничила с самопожертвованием». Так и выразился.

У Трусса от долгого немигающего взгляда заслезились глаза и, дабы не обнаруживать не первую свежесть своего носового платка, он, извинившись, встал и отошёл к окну.

Расслабить, снять напряжение и, главное, заинтриговать расфуфыренную модель, похоже, ему удалось.

Пора было проводить очередной, многократно не без успеха проверенный приём. В греко-римской борьбе это называется «захват с подсечкой».

Анатолий Борисович вернулся к столу, произнёс необъяснимо громко:

— А почему я, по его настоящему требованию, попросил вас

заглянуть к нам сегодня на огонёк — так это исключительно опять же его пресловутая интуиция. Упёрся — «Информация предоставлена неоценимая, но она отрицательная. Ни слова правды. Ложь от начала до конца. Разберитесь». А Мерин, повторяю, не ошибается.

Он толкнул ногой входную дверь, вышел в коридор и уже оттуда, не оборачиваясь, добавил:

— Продолжим через пять минут. Отдохните пока.

С замком задержки не было — несколько выверенных движений отмычкой и тяжёлая, обитая малиновым дерматином дверь, не оказав сопротивления, бесшумно поползла в полумрак прихожей. Этому искусству Мерин научился ещё в милицейском техникуме у бывшего виртуоза-«медвежатника», под конец жизни отошедшего от дел и по сей день щедро делящегося своим мастерством с молодым поколением правоохранительных органов. Учеником он оказался способным, к премудростям проникновения в чужие квартиры подошёл творчески, не только усвоив преподанное, но и внеся в сей небезопасный процесс свою (и немалую) лепту.

Практика милицейской жизни за недолгое время службы уже не раз подбрасывала ему трудноразрешимые задачи и всякий раз он с неизменным успехом выходил победителем в решении замочных головоломок, чем обратил на себя благосклонное внимание высокого начальства.

Но чтобы вот так — без санкции, без совета с кем бы то ни было — такого не только не бывало, но ещё вчера ему и в голову не могло прийти, что когда-нибудь он решится на подобное служебное преступление. А в том, что это именно преступление, можно было не сомневаться, как себя ни уговаривай и как ни оправдывай целесообразностью и благородством цели. Нарушение закона о неприкосновенности личной собственности — есть воровство и карается подобное деяние со всей строгостью, предусмотренной уголовным кодексом. И Мерин понимал, что даже при наилучшем стечении обстоятельств серьёзнейших последствий ему не избежать — в данном случае «победителя» будут судить и судить очень строго.

Но — странное дело — мысль об отступлении ни на секунду не посещала его. Другое мутило сознание:

— расколоть заказчика бальмонтговской дезинформации Труссу не удалось, теперь это уже очевидно;

— до главаря, захватившего в заложницы Катю (а это он звонил, в этом не было никаких сомнений), теперь можно добраться только в том случае, если его, Мерина, предположения насчёт причастности Веры Нестеровой к преступлению хоть в какой-то степени окажутся верными;

— а убедиться в этом, чтобы затем с козырями в руках вынудить её заговорить, можно только обнаружив неопровержимые улики;

— и на законопослушность времени нет, дорога каждая минута, может быть, даже секунда, на кону — жизнь.

Мерин неслышно переступил порог нестеровской квартиры.

С лёгким щелчком захлопнулась дверь.

Полумрак окружил его недавно виденными предметами прихожей: большое до пола зеркало, круглая извилистая вешалка, карельской берёзы столик со множеством в беспорядке разбросанных по нему газет и журналов.

Он прислушался — нет, ничего: шум улицы, доносящийся из открытых окон гостиной, вобрал в себя все остальные звуки.

Память в одно мгновение путеводителем провела его по лабиринту комнат: направо — коридор и кухня, прямо — большой, густо заставленный разностильной мебелью зал, где вчера они мирно беседовали с хозяйкой, отсюда же дверь, по всей видимости, в спальню. Напротив полузакрытый лиловыми шторами кабинет с виднеющимся углом компьютерного стола...

Он неслышно прошёл по ковру коридора, открыл стеклянную дверь кухни. Искать здесь то, что он надеялся найти, было более чем неразумно, но непонятная звериная ярость толкала его в спину. Да и какая разница — с чего начинать, если все его поступки, начиная с момента анонимного звонка, не подчиняясь воле разума, совершались как бы сами по себе, без участия сознания.

Он сомнамбулически, поочередно, один за другим открыл все шкафчики кухонной стенки, осмотрел все полки, ящики, подоконники, проверил содержимое холодильника, мусорного ведра, заглянул под стол, обшарил все углы — ничто, ни одна вещь не наводила ни на какие размышления, разве что патологическая чистота и отсутствие нефункциональных предметов красноречиво свидетельствовали о незаурядном эгоизме и самовлюблённости владелицы этого домашнего пищеблока.

Мерин почувствовал, как в нём закипает неудержимая, незнакомая ещё

доселе злоба.

Он едва сдерживал себя, чтобы не разбить, не превратить в крошевое месиво всё это стерильное, выстроенное в стройные ряды убожество чашек-тарелок-ложек-вилочек...

Никогда в жизни ему не было ещё так надрывно страшно от собственной беспомощности.

Какое-то время, чтобы унять головокружение и не упасть, он постоял с закрытыми глазами, держась за спинку стула, затем подробнейшим образом исследовал малахитовую ванную комнату, коридор. С книжными стеллажами пришлось повозиться — надо было вынимать и водворять на место каждый том, а их было много и в большинстве своём книги стояли в два ряда.

Ничего!

Он перешёл в кабинет — такая же удручающая чистота и аскетизм в обстановке: стол с невыключенным компьютером, кресло белой кожи, небольшой диван, застеклённый шкаф с замысловатыми игрушками...

На столе изящной формы чёрная дамская сумочка.

Господи, какое же это омерзение — копаться в чужих вещах, перебирать, разглядывать, прощупывать то, что долгими годами составляло тайну чьей-то частной жизни, тщательно и любовно собиралось, хранилось и, надо думать, приносило немалую радость владельцу.

Содержимое сумки не отличалось оригинальностью: зеркальце, полупустой флакон «Шанели», маникюрный набор, вышитый кружевной платок, коробочка компактной пудры, миниатюрная записная книжка...

Мерин не мог отделаться от ощущения причастности к какому-то грязному, преступному действию, липкие ладони болезненно горели, жгло пальцы, пот заливал глаза, казалось — ещё немного и воспламенится всё тело. Ему не хватало воздуха. Он задыхался.

Окна кабинета выходили во двор, здесь было тихо, шум улицы поглощался тяжёлыми шторами, поэтому внезапный характерный металлический звук, донёсшийся, по всей вероятности, из прихожей, не оставлял сомнений: кто-то открывал входную дверь.

Доли секунды вобрали в себя короткие молнии мыслей: Нестерова на допросе у Трусса, до звонка тот её не отпустит, в этом можно не сомневаться, живёт она одна — это известно доподлинно, никаких родственников у неё нет, воспользоваться превосходством фактора неожиданности — можно, но выигрыш ли это — удастся ли в этом случае узнать цель прихода посетителя в чужую квартиру в отсутствие хозяйки...

Мерин расстегнул кобуру, взвёл курок и шмыгнул в дальний угол

комнаты к окнам, успев про себя добрым словом помянуть владелицу апартаментов за столь малообъяснимое, но очень дальновидное решение использовать для штор такую плотную, непросвечивающую, казалось, пуленепробиваемую ткань.

Увидеть что-либо не было никакой возможности, поэтому, затаив дыхание, работник уголовного розыска обратился в слух.

Ясно было одно: вошедший (или вошедшая?) не таился, не проявлял особой осторожности, напротив, входную дверь захлопнул шумно, щёлкнул выключателем и напрямик направился... в кабинет.

В какое-то мгновение Мерин почти физически ощутил, как отдёргивается штора и посетитель утыкает ему в висок дуло пистолета. Он до боли в суставах сжал рукоятку своего «табеля», перенёс телесную тяжесть на опорную ногу, приготовился к прыжку.

Нет.

Вошедший остановился где-то в районе письменного стола — Сева хорошо представлял себе географию помещения — и затих. Потом едва уловимое шуршание — на слух определить, с каким действием оно связано, не представлялось возможным, и вдруг...

И вдруг до него донёсся еле слышный шёпот.

— Вы меня слышите?

Первое, что пришло в голову — это с улицы. Но он тут же отмёл спасительное предположение: шёпот повторился и стало понятно, что с говорившим его разделяет оконная штора.

— Меня здесь не было. Вы на верном пути.

Короткое время висела звенящая тишина, затем он услышал совсем непонятное: «Не забудьте спальню», и шаги стали удаляться.

Всё ещё не дыша, Сева раздвинул щель между шторами — дверь в гостиную была прикрыта. Он ступил из укрытия, на цыпочках пересёк кабинет.

Слышны были только тупые удары больших напольных часов — шум улицы перекрывал все остальные звуки.

Доведённые до белого каления нервы из последних сил сопротивлялись холодному рассудку: ждать! ждать! ждать! хотя ноги сами, вопреки сознанию, несли его в гостиную.

Мерин замер, кровь пунктирами забила в виски: если посетитель захочет вернуться в кабинет — спрятаться он не успеет.

Едва различимые, перекрываемые часовым маятником шаги проследовали в прихожую.

Щелчок выключателя.

Мягкий лязг импортного замка.

Входная дверь воспроизвела звук закрываемой дверцы дорогой иномарки.

И всё стихло.

Минут десять он добросовестно, до стона барабанных перепонки напрягал слух, затем ногой оттолкнул дверь, влетел в гостиную и держа оружие перед собой двумя руками, стал движущимся веером прицеливаться в воображаемого противника. Счастье в этот момент оказалось на его стороне — рядом не было ни Трусса, ни мудака Каждого — иначе ему потом долго пришлось бы находиться в шкуре муровского посмешища.

Чёрная дамская сумочка, слегка изменив положение, по-прежнему в гордом одиночестве возлежала на столе...

...слегка изменив положение...

...изменив положение...

И по-прежнему её содержимое не отличалось оригинальностью: полупустой флакон «Шанели», кружевной платочек, маникюрный набор, миниатюрная записная книжка...

Пол неожиданно качнулся, стол накренило и он поплыл на Мерина своей выпавшей из фокуса пёстрой бесформенностью. Держаться было не за что, Мерин похватал перед собой воздух и чуть не рухнул на ковёр. На какой-то миг ему показалось, что он теряет сознание. Ощущение себя исчезло, его вдруг не стало.

Правая рука суставным скрежетом сжимала небольшую, до половины наполненную прозрачной жидкостью тёмного стекла склянку с притёртой пробкой.

Некоторое время Мерин находился в состоянии неподвижного оцепенения, шум улицы, законный солнечный свет — всё вдруг замерло и погасло. В наступившей тишине, попадая в такт височных ударов, тупо долбили отдалённые звуки часового маятника.

Неожиданный отчётливый скрип, донёсшийся из соседней комнаты, показался настолько неправдоподобным и неуместным, что подумалось, у страха уши велики — слуховая галлюцинация.

Когда через секунду звук повторился — сомнений не осталось: в спальне кто-то испытывал на прочность выдавшие виды и, видимо, отслужившие своё матрасные пружины.

Не медля более ни секунды, стараясь быть неслышимым, Мерин пересёк гостиную, надавил на массивную медную ручку и толкнул дверь.

На широкой двуспальной кровати, беспомощно свесив руки и

испуганно глядя перед собой, сидел пожилой сгорбленный человек с изуродованным одутловатым лицом.

Трусс вернулся в кабинет, неспешно закурил, глянул на бескровное лицо посетительницы.

Время шло, а ситуация, в которую загнал его Мерин, не прояснялась. Мало того, что глаз продолжал оплывать, он уже плохо видел, всё лицо болело и по своей бесформенной округлости постепенно начинало напоминать не лицо вовсе, а страшно подумать — что; мало того, что теперь минимум неделю, если не весь месяц, он обречён являть себя объектом насмешек, издёвок, и вынужден будет выслушивать наглые соболезнования сотрудников, так ещё эта полная неизвестность с меринской заложницей, что б ей век не видеть свободы. А что прикажете делать с этой нимфой? Отпускать нельзя, пока не объявился Сивый, это понятно... А чем занять, чтобы дама не соскучилась? Будь здесь двуспальный диван — какие вопросы, а так...

Трусс заметно нервничал, хотя внешне это никак не проявлялось. Напротив, не знавшие его могли подумать, что майор пребывает в прекрасном расположении духа: он с удовольствием острил, громко реагировал на свои шутки, был галантен и предупредительно вежлив.

— Простите великодушно, вместо пяти отсутствовал добрых пятнадцать. То ли часы спешат, то ли я опаздываю. — Он беспричинно хохотнул. — Не скучали? А кофе так и не принесли? Ну это уже ни в какие ворота. Лично предупредил. Вот извольте с таким контингентом. Один момент.

Он несколько раз прокрутил диск местного телефона.

— Элеонора Меликовна? Голубушка, Трусс беспокоит. Мне два кофе, пожалуйста, и покрепче. Нет, нет, арабики не надо, колумбийский смешайте с новозеландским и чуть-чуть кенийского сырца...

— Не надо, не утруждайте себя.

Реплика Нестеровой прозвучала негромко, с плохо скрытой ненавистью. Трусс прикрыл трубку ладонью.

— Что вы, не расслышал? Вспомнили адресок?

Вера искренне удивилась.

— Какой адресок?

— А «бомжа» вашего.

- Какого «бомжа»?
- Тутурова.
- Кого?!
- Так друга детства.
- Вы хотите сказать — Турова?
- Именно, его.
- Не помню, мы давно не виделись.
- И как давно, если не секрет?
- С детства.
- И с тех пор вы не общались?
- Нет.
- С детства, ага, понятно.

Трусс на короткое время замолчал, с головой ушёл в загибание пальцев. Потом недоумённо взглянул на собеседницу.

— Вы, простите за нескромность, какими годами окончание своего детского возраста определяете?

Вера натужно молчала.

— Хорошо, поставим вопрос по-другому: когда вы почувствовали, что детство счастливое ваше неумолимо переходит в отрочество? Не помните. Ну ничего, не страшно. Я попробую предположить, не без риска, правда, вас обидеть, но говорю заранее: неумышленно. Детство у «хомо сапиенс», как правило, заканчивается лет эдак в 9-12, а вам теперь... — он невинно улыбнулся, — я смотрел ваши документы, поэтому, от тридцати одного отнять двенадцать — получается ровно девятнадцать. Правильно?

Ответа не последовало.

— Правильно, правильно. Не сомневайтесь. И вы, Вера Артемьевна, хотите нас уверить, что после девятнадцатилетней разлуки друг вашего далёкого детства, едва узнав о пожаре в доме на Шмитовском незнакомого ему человека бросился к телефону, чтобы первым сообщить вам об этом? Ах как жаль, что между вашим представлением об умственных способностях представителей правоохранительных органов и действительностью лежит такая непреодолимая пропасть. Так не хотите кофе? Жаль, отличный напиток. Элеонора Меликовна, — он заговорил в телефонную трубку, которую всё это время держал в руке, — Элеонорочка Меликовна, виноват, отбой с кофейком, у нас изменились планы.

Он откинулся на стуле, заложил руки за голову.

— Что же мы так непостоянны в своих желаниях, а? То хотим, то не хотим. Или это прерогатива всех женщин?

Вера молчала. Трусс поспешил истолковать её молчание по своему

усмотрению.

— Слово «прерогатива» означает исключительное право кого-либо на что-либо...

— Что тебе от меня надо? — На следователя смотрели уродливые белёсые глаза.

— Во-оо-ооо-от, это-то мне и надо. — Трусс не смог сдержать радости. — Именно это, Вера Артемьевна. Мне нужна вы подлинная, какая вы есть на самом деле. А то пыжите из себя голубую кровь, а она у вас, извините, совсем другого цвета. Помните, как у поэта: «...и вы не смоете всей вашей чёрной кровью поэта праведную кровь». Не помните?

— Неужели ты думаешь, что тебе всё это сойдёт с рук, подонок?

Анатолий Борисович выдержал паузу и недобро улыбнулся.

— С рук мне, деточка, сойдёт всё, будьте уверены. — Он добился от собеседницы желаемого проявления и резко сменил балаганный тон. — Я занимаюсь раскрытием убийства ни в чём не повинной молодой женщины, а вы мне помогаете, мягко говоря, не в достаточной степени, если не сказать определённое — не помогаете. И это удивляет и настораживает. В ваших же интересах озаботиться пониманием серьёзности ситуации: вы приглашены для дачи показаний по уголовному делу пока в качестве свидетеля. Пока. У нас к вам несколько конкретных вопросов, от ответов на которые будет зависеть степень необходимости переквалификации вашего вызова на Петровку в качестве подозреваемой. И потрудитесь при этом в ваших ответах соблюдать выражения, приличествующие в добропорядочном обществе, они, за малым исключением, ненамного отличаются от общепринятых милицейских.

Анатолий Борисович достал из мятой пачки сигарету, щёлкнул зажигалкой, глубоко затянулся.

— Итак, вопрос первый: имя, фамилия и адрес вашего друга детства. — И поскольку Вера молчала, он продолжил. — Я жду. Поймите, вы играете с огнём.

Повисшая напряжённость достигла степени перетянутой струны, казалось — тронь колок и она со звоном разорвётся, поэтому, когда труссовский мобильный телефон заявил о себе неожиданной трелью, оба вздрогнули.

— Следователь Трусс.

Следующие по меньшей мере минут семь в кабинете висела зловещая тишина, изредка прерываемая не отличающимися разнообразием труссовскими междометиями: «да», «ну», «ну», «да»...

Затем Анатолий Борисович в сердцах захлопнул мобильник, швырнул

его на стол и поднялся. Заговорил негромко:

— Дайте ваш пропуск, я его подпишу. Вы свободны.

Вера оживала медленно, как боксёр после тяжёлого нокаута: сначала вернулась лёгкая загарность лица, затем глаза обрели осмысленное выражение и только после этого руки замелькали привычной подвижностью. Она достала из сумочки мятую бумажку, бросила на стол.

Трусс безропотно разгладил ладонью пропуск и пометил его короткой закорючкой подписи.

— Прощу прощения за причинённые исключительно в интересах следствия хлопоты. Повторяю — вы свободны.

Клетка распахнула дверцы, но находящаяся в неволе дикая птица отказывалась верить в возможность обретения долгожданной свободы и, забившись в угол, выпустила когти.

— Оставьте свой лепет о моей свободе при себе. Разговор для вас на этом не закончен, как я уже говорила, он будет продолжен в другом месте, но, надеюсь, уже без моего участия, надеюсь, в дальнейшем я буду освобождена от необходимости лицезреть вашу бездарную физиономию. Вы требовали от меня каких-то признаний? Признаюсь, общение с вам подобными никак не стимулирует к положительному восприятию российской милиции.

Она картинно миновала кабинет, двумя пальчиками, брезгливо наморщившись, потянула на себя ручку двери и забарабанила каблучками по коридору.

Анатолий Борисович снял телефонную трубку.

— Бюро пропусков? Майор Трусс. Нестерова Вера Артемьевна. Задержать на два часа. Паспорт доставить в мой кабинет.

Окно было занавешено розовыми с зелёным рисунком шторами, сквозь которые в комнату рвалось взбесившееся солнце. Глаза слезились — было нестерпимо больно смотреть, как две эти примитивные тряпки, меняя цветность, извиваясь и рискуя воспламениться, героически противостоят натиску раскалённого светила.

На полу возле кровати валялись перевёрнутые женские тапочки. В правом углу под потолком, прячась за старинным окладом, недобрым, укоризненным взглядом из вечности застыл почерневший лик. Асимметричное, в форме кляксы, зеркало отражало несколько ярких,

похожих друг на друга картин. Овальный, о трёх изогнутых ножках стол с причудливыми фигурками по краям. Поверх — тончайшей медной вязи клеть с живым аляповато-пёстрым хохластым пленником африканской национальности...

Всё было когда-то видено, прочувствовано, знакомо и неудержимо притягивало к себе бесконечной недавней удалённостью. Для ощущения полнейшего счастья недоставало разве что небезызвестных райских кущей, а предлагающие себя взамен многочисленные комнатные растения до таковых, при всём желании, недотягивали.

Господи, не откажи в услуге — как он сюда попал?!

КАК?

КОГДА?

И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ за эти бесконечно долгие годы?

И Господь услышал его мольбы.

Дмитрий Кораблёв лежал на широкой кровати поверх пухового одеяла. Впервые за последние сто лет сознание его, утрудившись, очевидно, автономностью существования, не отказывало памяти в совместных усилиях.

...струнная натянутость мёртвых ног. Зеркальный блеск изящных полуботинок... Сомов... Щукин...

Потолок угрожающе качнулся и завис над Кораблёвым, грозя поглотить его своей мутной белизной. «Ну же! Ещё чуть-чуть, Господи! Я так редко прошу тебя. Господи!»

Он из последних сил упёр кулаки в готовый раздавить его надвигающийся потолок и тот дрогнул, застонал предсмертно и неясными картинками стал уплывать:

...похмельное утро...

...Звонок Сомова...

...рыжая незнакомка...

...Женька...

...неподвижные глаза Женьки.

...Не... ве, Не... ве...

...«Скорая помощь» и раскачивающаяся мёртвая Женька у ног.

...морг...

...пятна крови на зелёном халате...

...удар: «Отравление ядом моментального действия»...

Дальше провал.

Он закрыл глаза и неожиданно почувствовал острую боль в спине. На него со всех сторон сыпались удары — по голове, по печени, по лицу...

Слов не разобрать, но что-то остервенело злобное. Кому-то он не угодил.

Но кому? И чем?

Ещё раз: утром звонил Сомов. Утром звонил Сомов. Утром...

Замелькали, налезая друг на друга: небритое лицо таксиста, освещенный пламенем дом. Нинкина дурацкая улыбка...

Утром звонил Сомов...

Сомов...

...его мёртвые ноги в до блеска начищенных ботинках. То есть — мёртвый Сомов с ногами в ботинках... Стоп... Стоп.

Кораблёв сел на кровати — пружины оглушительно закричали — и прислушался. Совсем рядом кто-то царапал железом по железу, послышались осторожные шаги, потом опять всё стихло.

Нервы. Галлюцинации. Ничего страшного. Зато теперь он всё помнит: Женька умерла — её убили или она покончила с собой.

Его тоже хотели убить, это без сомнения.

Квартира его сгорела — он это видел собственными глазами.

Утром звонил Сомов, назначил встречу в «Славянском базаре».

Человек с фотографии мутным пятном — «четверть суммы пеплом по Енисею».

Сомов.

Щукина и Сомов... Однажды лебедь, сом и щука... Нет — рак и щука...

Сомова убили в квартире Щукиной.

Сомова убили...

Короткий металлический щелчок заставил Кораблёва вздрогнуть. Он взглянул на дверь: массивная бронзовая ручка беззвучно поползла вниз.

Крикнуть он не успел. Дверь отделилась от стены.

В образовавшемся проёме с направленным на него дулом пистолета стоял... Сомов.

Машина остановилась возле крошечного, осиным гнездом прилепившегося к стене дома заведения с вывеской «РЕСТОРАН-КАФЕ-БАР». Широкоплечий, грузный водитель выключил двигатель, не без труда выбрался наружу, буркнул: «Жди» и скрылся за дверью.

Сева огляделся. Район был ему не знаком, как однояйцевые близнецы, похожие друг на друга дома могли принадлежать как Тёплому Стану, так и

Южному Бутову, северу Москвы и востоку Санкт-Петербурга...

«Сплошная „Ирония судьбы“, — невесело подумал Мерин. — Никакого мало-мальски примечательного ориентира, никому не расскажешь, куда ехать. Убьют и никто не узнает, где могилка моя».

Он вышел из машины — в пределах видимости ни одной живой души, ни одного автомобиля, никакого движения, ни одно окно, кроме ресторана, не освещено признаком жизни, хотя время не позднее — мёртвый город.

ЧТО ЭТО?

Видимо, сказались бессонница и усталость последних дней, потому как понимание того, что находится он в ещё не заселённой новостройке, приходило постепенно.

Чёрт, куда его завезли?

Впрочем — почему «завезли»? Куда он сам заехал?

...Звонок Александра Курбаева (так представился звонивший) застал его в квартире Веры Нестеровой чуть ли не в обнимку с Дмитрием Кораблёвым. До этого он уже в течение получаса лихорадочно объяснял плохо соображавшему «серийному убийце», что с ним произошло за эти четверо тёплых майских суток и как ему надлежит вести себя в дальнейшем, чтобы помочь милиции изобличить преступников.

Тот поначалу категорически отказывался верить, называл всё услышанное «бредом», «провокацией», «подставой», но когда Мерин прибегнул к последнему аргументу — вытащил из кармана склянку тёмного стекла, содержащую жидкость с едва уловимым характерным запахом миндаля и пояснил, что это и есть цианистый калий — яд пролонгирующего действия, которым отравили его жену, он сник, закрыл лицо руками и перестал реагировать.

Севе больших трудов стоило вывести его из состояния ступора, добиться осмысленности взгляда и заставить слышать.

И в это время позвонил Курбаев.

— ...через полчаса будет ждать мой человек. Тверская, 25, «Жигули» красного цвета Т-049-ВР, приедешь один, без хвоста. Это условие. В противном случае — ни тебя, ни девки. Отказ — кончаю с рыжей. Да или нет.

— Кто это?

— Да или нет?!! — голос сорвался на истерический крик.

— Да.

В трубке зазвучали короткие гудки.

До Тверской улицы он добрался на такси минут за двадцать, у дома №

25 стоял красный жигулёнок.

— Вы от Курбаева?

— Садись.

Ехали час двенадцать минут...

...Из дверки «осинового гнезда» вышел широкоплечий, махнул ему рукой, мол — заходи.

Его обыскали, отобрали револьвер, подтолкнули в «зал», размерами напоминавший кухню малогабаритной хрущёвской пятиэтажки.

За одним из двух столиков сидел небольшого роста человек. Синяя выбритость впалых щёк и чёрные навывкате глаза выразительно указывали на его кавказское происхождение.

— Закрой дверь.

Это относилось к обыскивавшему Мерина верзиле. Тот беспрекословно исполнил приказание.

— Сядь, — это Мерину. — Говорить буду я. Ты не ставишь никаких условий и не задаёшь никаких вопросов. Курбаев — это для телефона, меня зовут Аликпер Турчак, я председатель совета директоров корпорации игровых заведений Москвы. У меня досье на половину правительства и половину Думы об их миллионных проигрышах и увлечении проститутками. Думаю, не надо большого воображения, чтобы представить мои связи наверху. Это я к тому, что нет такого деяния, за которое бы меня не оправдали — меня берегут, как ядерную кнопку. У тебя единственный шанс продолжить служение Родине — мне нужен Кораблёв...

— Где Екатерина Ели...

Мерин не договорил. Турчак вскочил на ноги и так ударил кулаком по столу, что где-то за стеной посыпалась и разбилась посуда.

— Я пре-ду-пре-дил!!! Говорить буду я! — Он сделал шаг к окну, долго массировал повреждённую руку, сел. — Я не шучу. И не повторяю. Следующий раз — последний.

Молчание длилось не менее минуты. Затем он продолжил:

— Мне нужен Кораблёв. Не позднее завтрашнего дня. Сейчас тебя отвезут обратно — займёшься делом. Допускаю, милиция не вышла на след, но это твоя проблема. Он не иглолка — подними своих легавых. Всех! По всей стране! По всему миру, если надо! Твоя проблема. Но найди! И отдай мне. Завтра! Я позвоню ровно в семь. Иначе... Ну ты понял меня!

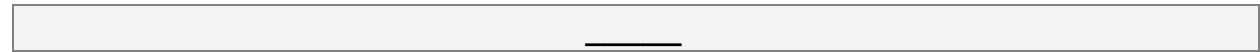
Он энергично провёл по воздуху короткую горизонтальную черту. Потом, не повышая голоса, позвал:

— Войди. — И, когда в дверях застыл широкоплечий водитель,

приказал, кивнув головой в сторону сидящего напротив себя. — Туда же.

Очнулся Мерин от грубого тычка в плечо: «Приехали. Вылезай». Открыл глаза — Тверская, 25. Целый час отошёл в вечность.

Так крепко он спал только в далёком беззаботном детстве, когда после какого-нибудь очередного отчаянного проступка удавалось заполучить бабушкино всепрощение.



Весь следующий день до девятнадцати часов прошёл как в тумане: Мерин добросовестно и не один раз старался восстановить последовательность произошедших с утра событий — не тут-то было. Память выдавала — и то скупно, пунктиром — незначительные, ни к чему не обязывающие детали вроде глупой ссоры с бабушкой или традиционной перепалки на проходной МУРа с мудаком-Каждым. А вот подробности, так сказать, генерального события — зубодробильной головомойки, учинённой Скоробогатовым всему составу бригады, — ускользали. Помнилась основная теза оратора: они (все трое) — не что иное, как гадкие, недалеко ушедшие от уголовников непрофессионалы. Такого от своего начальника Сева никак не ожидал.

Смягчило впечатление от бешенства полковника только то, что по прошествии как минимум полутора часов непрерывного ора он, прогнав сотрудников, велел ему остаться и они вдвоём долго и скрупулёзно разрабатывали план дальнейших действий.

Но сначала Скоробогатов сказал:

— Больше я к этому возвращаться не буду, Всеволод, но знай: ещё один подобный вывих и дверь в органы для тебя будет закрыта навсегда. Слов на ветер, надеюсь, ты знаешь, я не бросаю.

И тон начальника, и официальное «Всеволод» сомнений не оставляли: будет именно так.

Выйдя из кабинета полковника, он позвонил Нестеровой. Разговор тоже восстанавливался в памяти не подробно.

— Ради бога простите, что отрываю вас от дел, это следователь Мерин, может быть, вы меня помните...

— Помню. Что вам угодно?

— Я по тому же делу, по делу Кораблёва...

— Я уже всё сказала и вам и вашему сотруднику, которого, кстати, хорошо бы, прежде чем допускать к общению с людьми, обучить

пристойному с ними обращению. Больше мне добавить нечего...

— Да, да, я уже знаю, вы даже не поверите, какую головомойку учинило нам начальство по этому поводу, даю вам честное слово. — Мерин в этот момент был очень убедителен. — Скажите, нет ли у кого-нибудь кроме вас ключей от вашей квартиры? Поверьте, это очень важно.

В трубке молчали, поэтому Мерин продолжил.

— Может быть, у приятелей, родственников, подруг?

— Нет. Что вам ещё нужно?

— Видите ли, в деле вскрылись новые обстоятельства и мне крайне важно ваше мнение. Сделаем, как вам удобней: или вы подъедете к нам, или я к вам, меня устроят оба варианта.

— Ни то, ни другое. С меня хватило вчерашнего хама...

— Он будет наказан, поверьте мне, дело в том, что следствие определило — Дмитрий Кораблёв жив, но его местонахождение пока неизвестно. Может быть, вы...

— Молодой человек, я повторяю, что знала, я доложила вам и вашему подручному. Больше мне сказать нечего. И оставьте меня в покое! Или присылайте повестки и ведите насильно!

Она бросила трубку.

«Да, если учесть, что не так давно он обнаружил Кораблёва в её квартире, а сейчас, разговаривая с ним, она, возможно, держала больного любовника за руку или кормила с ложечки — можно предположить, что с нервами у дамочки всё в порядке: на допросах запирается будет до последнего».

После звонка Нестеровой Сева бесконечно долго сидел во внутреннем дворе МУРа, не сводя глаз с больших круглых часов, стрелки которых ползали по циферблату преступно медленно.

Потом Яшин в кабинете Скоробогатова что-то докладывал о результате исследования фрагмента, найденного Галеонкарантом Месхиевым в Шмитовском проезде, дом 6. Мерин слушал в полуха — выводы экспертизы только подтверждали его догадки.

В три часа позвонила бабушка Людмила Васильевна и сказала, что она не права и что она его, Севочку, прощает. Может быть, он приедет пообедать? «Нет, он не приедет пообедать и, пожалуйста, сколько можно просить никогда не звонить по этому телефону!!!»

В 4.15 Трусс принёс пиджак со вставленным в лацкан опознавательным чипом.

— Старик, мне только что позвонили из Штатов: Джеймс Бонд умирает от зависти. Может, во избежание скандальной международной,

откажемся? Ещё не поздно. А ты что-то с лица сбледнул. Хочешь — подмену? Понял, понял, ретируюсь.

Ровно в пять вызвал Скорый.

— Аликпер Рустамович Турчак — главарь или, как теперь принято говорить, президент игрового холдинга. Рыба крупная, высоких заступников не счесть, но не безнадежно, сети подобрать можно. Фактов много, доказательств нет никаких — угорь. Очень опасен, Сева, действуй строго в рамках нашего плана. Это приказ. Отсебятина только в случае форс-мажора. Повторяю: очень опасен.

Он говорил ещё что-то, но Мерин не слышал — последние слова полковника ударами в затылок заглушили все последующие: Катя сутки уже в руках ОЧЕНЬ ОПАСНОГО преступника.

В шесть ровно он подходил к дому 25 на Тверской улице.

Знакомый автомобиль был припаркован на том же месте, что и накануне.

Когда он нагнулся к стеклу водителя, тот, не глядя, вытянул руку с часами и ткнул в них пальцем: рано, гуляй.

Он слонялся по улицам, не разбирая дороги, шатаясь, расталкивая прохожих — час длился год.

Когда наконец машина развернулась и направилась в сторону Ленинградского проспекта, он понял, что его везут по другому адресу.

Как только человек с наведённым на него пистолетом рявкнул: «Руки!!!», Дмитрий Кораблёв понял две вещи: во-первых, что это не Сомов, нет, ему причудилось, это совсем другой, незнакомый человек, а во-вторых, что приказ надо выполнить, руки поднять, ибо, хоть опыта пребывания под дулом огнестрельного оружия у него до сих пор не было — чем чёрт ни шутит — всякое может случиться. И он не без труда — болели суставы — поднял вверх обе руки.

Страх не было, это чувство, по всей видимости, атрофировалось у него давно. Наоборот, возникло даже определённое любопытство — это ещё что такое? После пережитого ада, после тягостного скитания по пограничной полосе между жизнью и смертью, неуверенным пунктиром переходя от небытия к помутнённому сознанию, только этого — быть банально пристреленным в чужой постели — ему теперь и не хватало.

И когда незнакомец стягивал его запястья брючным ремнём, он

решился на вопрос.

— Вы кто?

Ответа не последовало. Он услышал:

— Вы — Дмитрий Кораблёв?

— Да.

— Вы обвиняетесь в убийстве вашей жены Молиной Евгении Михайловны.

— Я не... Отравили...

— Кто?

— Не знаю. Меня кто-то... я не помню... Я не... Я любил... люблю... она не услышит, её больше нет, она у меня на руках — не ве... не ве... — это последнее...

И странное дело: в этот момент — то ли нестерпимая боль перетянутых ремнём кистей рук, то ли впервые услышанное страшное обвинение в убийстве жены, очевидная вероятность которого до этого не приходила ему в голову, то ли вынужденная немота последних бесконечно длившихся дней вдруг разжали кольцо, мёртвой хваткой сдавливавшее горло, и он почувствовал себя почти здоровым — в этот момент перестала терзать спина, не ныла голова, не ломило суставы. Слова давались с трудом, какие-то провалы ещё зияли перед глазами, мешая сознанию продираться тропами памяти, но главное — без сомнения — он вспомнил. Это было так неожиданно, что поначалу он даже не поверил в случившееся.

А через короткое время, кашляя, задыхаясь и захлебываясь словами, боясь не успеть, пропуская и перескакивая от одного к другому, почти нечленораздельной скороговоркой стал рассказывать о произошедшем с ним кошмаре.

Молодой человек слушал, не перебивая. Он развязал «наручники», убрал в кобуру пистолет и молча наблюдал за мучительными попытками доведённого до отчаяния человека справиться с вырывающейся наружу, захлёстывающей его истерикой.

Когда Дима в выбросах своих больных воспоминаний дошёл до убийства Сомова и с хрипом ненависти в голосе прокричал: «Это он(!), он(!), Сомов причастен к гибели Жени, теперь я понимаю, она всегда была против нашего сотрудничества», незнакомец подошёл к нему вплотную, двумя руками ухватил за ворот ночной рубашки и встряхнул так, что рёбра грудной клетки, выйдя из сцепления с позвоночником, разошлись в разные стороны. От нестерпимой боли он не умер только потому, что неожиданно затеплившаяся отчаянная надежда на возможность возврата прежней жизни

оказалась сильнее смерти. Он вдруг поверил в сверхъестественную силу этого молодого сильного человека, он готов был ждать вечность, терпеть и переносить любые муки, лишь бы распахнулась дверь и Женька, его Женька улыбнулась ему своей застенчивой, кроткой улыбкой: «Ну что, натерпелся, дурачок? Да и мне пришлось несладко. Вот и хватит, поехали домой». И он бы ответил многократно: «Поехали, поехали, поехали, поехали...»

Очевидно, всё-таки от встряски он впал в недолгое беспамятство, потому что молодой человек произнёс: «Куда поехали? Никуда вам сейчас ехать не надо. Вы меня слышите? Сейчас вам надо совсем другое...»

Он ещё очень долго произносил неправдоподобно странные слова, так что в голове Дмитрия Кораблёва всё перемешалось: Вера, Сомов, Турчак, Не... Ве... Нежина, Слюнькин, а главное возмутила какая-то Галя Месхиев, как может быть такое? Либо Месхиева, либо не Галя — одно из двух. Да, безусловно, он всех их, кроме этой пресловутой Гали, знает, и Нину Щукину, и Сомова — что он не Сомов, а Щукин, всех знает, но чтобы кто-нибудь из них(!) мог быть причастен к гибели Женьки — при всей симпатии к молодому человеку — увольте... Никогда, это же три сестры, почти родственницы...

Временами Диме начинало казаться, что этот представившийся Всеволодом Мериным молодой человек, для какой-то непонятной цели шантажирует его, нарочно вводит в заблуждение и странными наветами на знакомых людей втягивает в хитро расставленные сети. Нет! Нет!! Нет!!! Никогда он не сможет поверить, что Вера Нестерова, несостоявшаяся мать их ребёнка... Чтобы... Они сейчас находятся в её квартире, он сидит на её кровати... Нет, это провокация, зачем это Всеволоду Мерину?.. Нет. Нет!!!

Потом перед его глазами возникла протянутая незванным гостем маленькая коричневого стекла склянка — да, запах миндаля, да... Какая пролонгация?.. Зачем?..

И тут случилось ужасное: мёртвое лицо Женьки растянулось в улыбке и он услышал её голос: «ЭТО ПРАВДА, ДИМА, НЕ... ВЕ... — НЕСТЕРОВА ВЕРА».

Он закричал и она исчезла.

Голова упала на колени — он едва успел подставить ладони. А когда пол приблизился настолько, что стали отчётливо различимы ворсинки ковра, неожиданно подступивший голод так сковал горло, что он перестал дышать. Последнее, о чём удалось подумать: «Никогда никому не поверил бы. Только ей».

Разбудил его убийца...

... — Где он? — Председатель совета директоров ООО «Досуг» в очередной раз задал свой вопрос и в очередной раз услышал в ответ: «Что вы хотите от меня услышать?» Это была невиданная наглость. Это походило на издевательство.

— Я спросил — где он?!

— Что вы хотите от меня услышать?

Аликпер Рустамович Турчак какое-то время молча ходил по кабинету: надо было во что бы то ни стало скрыть от стоящего перед ним молокососа свою в клочья раздирающую грудь ярость. Работа эта давалась ему невероятным напряжением воли — давно, лет с десятков поди не попадал он в подобные унижительные положения: не просил, не зависел, не ждал, не терпел... Что не так — разговор один: «Займитесь, ребятки». И «ребятки» занимались с объектами по-разному, в зависимости от степени их вины: запугивали, разоряли, вымогали, убивали — как придётся. Они любили своё дело и подходили к нему творчески.

И всегда Аликпер Турчак оказывался, как теперь говорится, «в шоколаде».

Поэтому, когда на свой внешне спокойный, горящий нетерпением вопрос: «Где он?» слышал ещё более спокойное: «Что вы хотите от меня услышать?», он терялся.

Никто за всю его жизнь никогда не обращался к нему на «вы». В детстве — улица, школа, учителя — Алик, привет, дай закурить, иди к доске, выйди из класса... В институте — привет, Алик, закурить не найдётся, одолжи десятку, не трогай девочку — в рыло схватишь... В бизнесе, поначалу — пошёл на х...й, чурка ё...ая. Со временем — кинь лимон: жопа целей будет. Пожалуй, только последнюю пятилетку, вспоминать приятно — как прикажешь, будет сделано, ты — голова, тебе видней...

Но чтобы на «вы»!..

Он даже не сразу понял, что вопрос — «что вы хотите...» обращен к нему: ярость затмевала разум.

— Кто это «вы»?

— Вы.

— Кто мы?!

— Ну — вы.

— Я?!

— Вы, вы.

После короткой паузы он выдавил:

— Я спросил — ГДЕ?

— Кто-где?

— Отвечай, б...дь!!

— Что?

— ГДЕ-Е-ЕЕ!!!

— Кто?

— Ко... ко... Где Ко-ко-ра-блёв?!! — Аликпер Рустамович дрожал всем телом, так что даже добросовестно уложенные половицы паркета отозвались тревожным скрипом.

— А-аа, где Ко-ко-раблѐ-ѐ-ѐв? — Мерин дольше необходимого задержался на букве «ѐ», давая понять, что в милиции тоже люди, чувство волнения и им не чуждо. — Нашѐ-ѐ-ѐл. А как же? Как договорились. Мне жить охота. Он в надёжных руках.

— Где?!

— Кто?

В комнате они находились вдвоём — приведший Мерина амбал вышел, гулко хлопнув звуконепроницаемой дубовой дверью. Низкорослый, не атлетичного от природы сложения председатель правления АО отдавал себе отчёт в том, что самому ему с этим ментом не справиться: широк не по годам, высок — кулаком до морды — прыгать надо.

Но и оставлять всё как есть было выше его сил.

Недаром заснеженный красавец Казбек раньше отца-матери ещё в колыбели открылся его младенческому взору, напоил вены гордой кровью, не обделил темпераментом.

Он подскочил к столу, выдернул из ящика пистолет.

— НУ-У!!! — Пределы орбит вытолкнули наружу два его чёрных глазных яблока. Долгую звенящую тишину нарушил щелчок взведённого курка.

— НУ-УУ-УУУ!!!

— Вот и я говорю — ну! Где заложница, дяденька?

Мерин рассчитал всё правильно: в настоящий момент он — полновластный хозяин ситуации, он — счастливый участник беспроигрышной лотереи — будет диктовать условия игры, ибо никакая сила не заставит этого нестрашного пугача раньше времени, до достижения возжеленной цели нажать на спусковой крючок. Напряжение, сковавшее его стальным хватом со вчерашнего вечера и не отпускавшее весь сегодняшний день, сменилось вдруг тихим и каким-то радостным покоем:

он выиграет время, найдёт способ обезопасить Катю, коллеги успеют (должны успеть) вычислить его местонахождение, там будь что будет.

Он всё правильно рассчитал.

Единственное, о чём не дано было знать светловолосому уроженцу христианской православной страны — о существовании не подвластной излечению пресловутой «национальной болезни».

Молния невидимым спичечным отблеском лизнула пространство.

Гром выстрела, не притуплённого глушителем, отразился твердью шести монолитов куба — стен, потолка, пола — мёртвой хваткой объял на миг двух стоящих друг против друга людей и захлебнулся в предвкушении разрушительных последствий.

Мерин не почувствовал — скорее понял — что произошло: Катю ему теперь не спасти.

Не спасти. Никогда.

Чтобы не упасть, он присел на корточки, прижал покрепче разгорающийся нестерпимым жаром левый бок и... умер.

Кораблёв не спал, иначе ей не пришлось бы его трясти так долго: он был без сознания.

Этого только не хватало.

Именно теперь, когда всё складывалось как нельзя удачней: утром сегодня, с её помощью, правда, он уже пытался вставать, пусть неуверенно, но делал какие-никакие шаги по комнате, даже улыбался, разговаривал невнятно, но вполне осмысленно, задавал вопросы, на которые она знала как отвечать... Была уверена — два, максимум — три дня и...

И вдруг — на тебе: беспамятство.

А тут ещё милиция, этот ублюдок, как его? Трусс? Воистину — хорошего человека трусом не назовут. Вон она до сих пор успокоиться не может, руки дрожат. Так с ней никто не разговаривал! Эх, добралась бы она до этого импотента прокажённого, если б не дела неотложные! Разве поручить кому? Да ладно, она не злопамятна. Спасибо «Сморчку» — про себя она его иначе не называла — догадался что и как, молодец, подключил связи, вызволил. Хорошо, как ни кинь, десятизначными числительными оперировать — любые двери без замков: «Заходи, дорогой, что долго не был, всё, что могу, а могу всё...»

Если бы не страсть эта, испепеляющая душу, плоть, рассудок... Думать

бы не стала.

Вера опять склонилась над безмолвно распластанным на кровати Кораблёвым: «Митенька, я это, ты меня слышишь?»

Нет, он не слышал.

Надо действовать — что-то ведь они пронюхали, если разговаривали с ней таким хамским тоном. Так недолго и... Не дай бог и сморчковы связи не помогут.

Действовать надо.

Она набрала на мобильнике цифры, вышла в гостиную, плотно захлопнула за собой дверь.

Кораблёв открыл глаза. Так чётко голова не работала с тех самых пор, как он услышал последние слова Женьки. С такими безжалостными подробностями память не дарила ему картины произошедшей трагедии с тех пор, как он услышал: «Не ве... не ве...»

Он бесшумно сполз с кровати, подобрался к двери, затаил дыхание, прислушался. Нет.

Вера разговаривала по телефону очень тихо, ни одного слова разобрать было невозможно.

— Говори громче, я тебя плохо слышу.

Веркин звонок оторвал Светлану Нежину от хлопот по организации последнего в её жизни вечернего «салона». А то, что он будет последним, она не сомневалась и готовилась к нему с ритуальной торжественностью.

Завтра всё должно быть кончено.

Наконец-то!

Светлана знала, как это произойдёт: ровно в двенадцать она соберёт внимание подвыпившей компании, скажет то, что заготовила и продумала за эти четыре дня после смерти Женьки, и уйдёт к себе в спальню... Её долго никто не хватится...

Никогда в жизни она не была так торжественно спокойна, так безмятежно благодатна, даже весела, как в эти последние дни: принятое решение незнакомым замиранием сердца возвышало её в собственных глазах.

Поэтому, спонтанно возникшая мысль об отмщении поначалу даже удивила — зачем? Благородный уход её не должен бросить тень ни на кого из остающихся в этом грешном мире — сам факт продолжения бытия

обрекает их на страдания.

И прежде чем поисковой сукой выследить милиционера и навести его на след, она долгую ночь убивалась сомнениями.

— Говори громче, я тебя не слышу...

Светлана жила по принципу, однажды в самой ранней юности ей открывшемуся: всё случающееся с Женщиной в этом мире, можно и должно предвидеть заранее. Тем-то она и уникальна, женщина, что никакое событие, как бы неожиданно оно ни случилось, врасплох её застать не имеет права: пусть на ничтожно малый промежуток времени, но Женщина обязательно это событие опередит. Для этого у неё есть два природой отпущенных дара: Женский Ум и Женское Чутьё.

Верила она в это своё прозрение почти свято и до недавних пор жизнь не предоставляла ей случая в этом усомниться.

А когда случилось с Женькой — она провалилась, почва ушла из-под ног, потому что после всего — без всякой надежды — не живут.

Давно, ещё в последние школьные годы нежданно-негаданно раздавило, уничтожило её это безумное чувство (больше десяти лет уже — страшно подумать) и она с исступлённостью маньяка жаждала своего часа, и только одному Создателю была известна цена этого ожидания.

Мокрые бессонные ночи.

В клочья искусанная подушка.

Синяками измятая грудь.

Влагой экстаза окрапленные пальцы.

Ни с кем — ни с мужчиной, ни с женщиной — ни в одном из своих бесчисленных постельных поисков она в воображении своём не утопала без неё, без своей недосыгаемой и как оказалось единственной любви — без Женьки.

Никто, ни один человек во всём мире не догадывался о силе страсти её тайны.

И когда однажды чуть не до психушки доведённая кораблёвскими изменами Женька пришла со своим горем и с целомудренным отчаянием раскрыла перед ней крылья объятий — в тот миг Провидение распорядилось Светлане Нежиной умереть от вожделенного счастья.

И она умирала в те короткие миги. И показалось: так должно быть, так будет всегда, иначе воскресение не имеет смысла.

А когда чёрным утром на неё свалились свинцовые плиты слов возлюбленной: «Скоро первое мая, я возвращаюсь к нему», до неё не сразу дошёл их смысл.

Век она находилась в оцепенении.

Потом её охватила ярость. Она билась в судорогах, теряя рассудок, ломала ногти, вонзала кулаки в покорную, не сопротивляющуюся Женькину плоть.

И когда вездесущая Верка пришла со своей кровавой затеей — с души вдруг свалилась могильная тяжесть: стало легко и свободно, показалось — вот он, выход из жути непереносимой боли ненужных дней и ночей. И она с радостью согласилась — проще простого: невзрачный пузырёк тёмного стекла с жидкостью миндального запаха — для себя и для Женьки.

Утром первого мая они отпраздновали кончину их несостоявшейся любви.

Шампанское искрилось, бокалы каменным звуком отмечали соприкосновения.

Обе были веселы. Смеялись неестественно громко.

Потом Женька сказала: «Прощай, моя добрая. Ты спасла мне жизнь. Я тебя никогда не забуду».

И улетела навсегда, навстречу счастью, в неизвестность, унося на своих губах лёгкий привкус миндальных орешков.

Аликпер Рустамович Турчак сердился на себя не часто, но сейчас был именно тот случай. Он кричал так громко, что вбежавшая на звук выстрела длинноногая секретарша испуганно оглядела кабинет: с кем это он?

«А-аа-ааа!!! Идиот, да! Спятил! Пристрелить никогда не поздно, зачем спешить? Кто тебя за палец тянет, а? Мудак старый! Род позоришь!»

Он отшвырнул пистолет в угол, приказал:

— Приведи в чувство. Быстро. Пистолет убери. Зачем не остановила, дура? Не убил, посмотри?! Скажи: «Не убил». Ну!

Секретарша склонилась над истекающим кровью Мериным, ахнула.

— Ах-х.

Турчак выругался непонятно: «Ес ку мери кунам!» — Не ахай! «Не убил» скажи, ну, дура!

Оказалось, что не убил, но ранение выглядело серьёзным: пуля прошла брюшную полость, задев левое лёгкое.

— Плохо, Алик...

— Сам вижу, дура. В чувство, сказал, приведи, да? — В трясущихся пальцах доморощенной санитарки замелькали йод, бинты, ножницы, нашатырный спирт, перекись водорода, раствор марганцовки... Резко

запахло лазаретом...

Когда Мерин открыл глаза, Турчак обрадовался ему, как любимому дедушке.

— Молодец, генацвале, слушай. Молодец! Давай, проси что хочешь, не засыпай только. Да? Ну, где он?

— Кто?

Вопрос получился предсмертно хриплым. Аликпер Рустамович замахал руками.

— Не начинай, слушай, опять начинаешь! Давай, да? Проси что хочешь! Про-си, ну. Только не начинай.

— Где заложница?

— Какая заложница, батано, не обижай, слушай, просто в соседней комнате отдыхает, водой облили, чтобы рот раскрыла, попугали чуть-чуть, а то молчит как рыба — некрасиво...

— Где она?

Турчак обрушился на секретаршу.

— Приведи, ну! Что встала, штык солдата? Не видишь — мальчику плохо. Бе-гом, да? Бегом сказал!

Та, вильнув всеми выпуклостями изысканного тела, исчезла и мгновение спустя появилась, толкая перед собой плохо держащуюся на ногах, насмерть перепуганную и ничего после кромешной тьмы не видящую Катю.

Аликпер Рустамович заторопился разъяснить ситуацию.

— Ну — говорю — вот она, молодая-красивая-здоровая, цела, как и была, никто не трогал даже пальцем. Зачем, да? У всех жёны есть? Мамой клянусь! Говори — где он?

Мерин почувствовал, как жгучие лезвия пламени, затухая, в последний раз полоснули грудь и отступили перед внезапно сковавшим его ледяным хватом. Так судьба подносит глоток воды погибающему от жажды.

Он улыбнулся и прежде чем потерять сознание, сказал:

— Отвезите в общежитие.

И добавил, обращаясь к Кате, почти неслышно, одними губами:

— Позвони. От дежурной. Мне.

...Всё дальнейшее, с тех пор, как амбал увёз эту рыжую б...дь, Аликперу Рустамовичу Турчаку виделось в густом, временами непроницаемом тумане. Какие-то тени, синкопами передвигаясь по аквариуму огромного кабинета, то возникали — со шприцами, трубочками, тазиками, склянками, запахами хлороформа и формальдегида, сливаясь белыми одеждами с белёсой мутью пространства — то, поглощённые этой

мутью, растворяясь в ней, прекращали своё загадочное существование.

Он отчётливо слышал их реплики, сам отдавал приказания, помогал, поддерживал, укладывал, что-то уносил-приносил, вытирал, включал-выключал, с неукоснительным тщанием исполняя все обращенные к нему просьбы, и был при этом не всемогущим миллиардером-Президентом, давно научившимся находить выход из любой ситуации, а такой же, как и все его окружающие — странной бесплотной тенью.

Время для него остановилось.

Эмоции его покинули.

Все желания исчезли.

Кроме одного.

Он желал СОЗНАНИЯ самому на данный момент лютому своему врагу.

И когда, наконец, молитвы были услышаны — туман рассеялся, очертания лица убитого им человека обрели жизненную резкость а взгляд — осмысленность, — он закричал:

— ГДЕ ОН?

И услышал в ответ:

— У Не... Ве... У Веры Нестеровой. Четвёртые сутки.

— Понимаете, Юрий Николаевич, для него это был удар. Он мог ожидать чего угодно, только не этого: он разрывался в куски, чтобы достать для неё Кораблёва, а та его у себя прятала!!

Всеволод Мерин мотыльковым коконом полулежал на больничной койке, а полковник Скоробогатов, за неимением в не предусмотренной для посещений реанимационной палате, нависал над ним всеми своими без малого двумя метрами.

Лицо его изображало суровость.

Больной же, наоборот, светился необъяснимым счастьем, простреленный бок предательски ныл, задетое пулей лёгкое кровоточило, изменившее привычное положение ребро не позволяло колыхнуться, но он ни на что не променял бы этих минут, даже если бы для этого пришлось прострелить ещё что-нибудь.

— Честное слово — он стал, как простыня — смерть. И мне, почему-то, сразу поверил. Только за грудки взял — я от боли чуть не умер: «Не ври, сука!» А я вижу — верит. Я говорю: «Сам увидишь. Только не пей ничего,

если предложит». Он вдруг схватился с места, как «Феррари» — под 140 км/час, амбалу своему на меня указал: «Отвечаешь!» и за дверь. Что там было — не знаю, но когда через час примерно вернулся... Не поверите, Юрий Николаевич, но мне этого никогда не забыть. Так его жалко стало...

...Много позже Дмитрий Кораблёв рассказывал на следствии...

— Звонок в прихожей — я посмотрел на часы — прозвучал в восемь пятнадцать. Я встал с кровати, прислушался. Через какое-то время — мне показалось очень не скоро — она спросила: «Кто там?». Хотя на двери есть «глазок».

— Это я. — Мужской голос.

И, поскольку дверь не открывали, он повторил громче:

— Я это.

— Что случилось?

— Ничего. Открой.

Тут я узнал — Турчак.

— Что случилось?!

— Открой.

— Ты с ума сошёл! Кто тебе позволил?!

— Открой, я нашёл его.

— Кого?

— Кораблёва.

Нестерова минуту, наверное, молчала, потом говорит:

— Где он? Я спрашиваю — где он? Оглох? Ты что — оглох там? Убирайся! Слышишь? Убирайся, чтобы я тебя больше здесь не видела! Идиот!! Вон отсюда!! Вон, я сказала!!!

Она, похоже, захлебнулась своим шёпотом.

Из-за двери после долгого молчания донеслось еле слышно:

— Открой. Принёс документы.

По звуку шагов я понял, что она прошла в кабинет, затем пересекла гостиную, зашла в спальню, наклонилась надо мной.

— Митя, ты слышишь меня? — Я успел добраться до кровати, закрыть глаза, но меня выдало, очевидно, сильно сбитое дыхание. Она повторила. — Слышишь? — И сказала очень внятно, отдельно, утвердительно. — Ми-тя, ты меня слышишь. Не вы-хо-ди из ком-на-ты. Понял?

И ушла, плотно закрыв за собой дверь.

Дальнейший диалог до меня долетал обрывками, сообщаю то, что слышал. Она заговорила.

— Ты не ушёл? Я спрашиваю — ты здесь ещё?

По-видимому, последовал утвердительный ответ: раздался звук открываемого замка и через паузу дверь опять захлопнулась.

— Кто тебе позволил прийти без звонка? Ну?

— ...

— Это не ответ. Мы договорились — сама приеду. Договорились?

— ...

— Давай паспорта, раз привёз.

— Ты не спросила — где он...

— Не учи меня жить, ладно? Надеюсь, в надёжном месте? Нашёл — молодец, с меня причитается. Хотя и так сполна заплачено. Нет? Мало тебе?.. Давай, что принёс... Дата стоит?

— ...

— Я не проверяю, надеюсь, осложнений не будет? Не будет?!

— ...

— Ну — смотри, головы не сносить. Ладно, проходи, не стой бедным родственником, отметить надо. На кухню проходи, я сейчас. Посидим. Шампанское открой в холодильнике.

Бутылка открылась шумно. Она крикнула из гостиной: «Ты что там, застрелился? Ничего не разбил?».

Потом такой диалог, почти дословно.

— Ну что? За успех, Алик? Давай. Я тебя не забуду.

— Давай из одного.

— Что?

— Из одного.

— Что «из одного»?

— Фужера.

— Ага, сейчас. Спятил? Пей, пока я добрая. А то выгоню. Пей за меня, а я за тебя. До дна.

— Поменяемся.

— Что?

— Фужерами.

— Идиот. Ну давай, давай, поменяемся, кретин черножопый, давай. Ну? Доволен? Доволен?? У-у-у, ненавижу.

Они, видимо, выпили. Долго молчали. Потом он начал что-то говорить, очень тихо. Она сказала:

— Ладно, закрой сифон, нужны мне твои ласки. Оба мы убийцы. Дай вон сигарету, за тобой на столике. Принеси зажигалку, урод, в прихожей и пепельницу.

Когда он вернулся, она сказала:

— Ну, что? Меняться будем?

Он не ответил. Видимо, выпил, потому что Нестерова сказала:

— Ты чего без тоста-то?

Он ответил.

— Я с тостом.

И пошёл к выходу.

Она осталась на кухне, крикнула:

— И до свидания не скажешь?

— Нет. Прощай, Люба! И ты прощай, слышишь, ублюдок?

Уверен, это относилось ко мне, иначе — зачем кричать?

И хлопнула входная дверь.

Больше до прихода милиции я ничего не слышал.

... — Он вернулся через час, примерно, я его не узнал, честное слово, Юрий Николаевич, — другой человек. Прошёл к столу, сел и вдруг — я ахнул: стена перед ним пошла в разные стороны, а там — не поверите — огромный масляный лик Нестеровой Веры. Вот такой! — Мерин всем коконом вылез на поверхность одеяла и размахом забинтованных рук попытался очертить размеры увиденного. — Немыслимо! Мне даже подумалось, что я опять отключился — как живая. Он долго на неё смотрел. А потом вдруг — вот тут у меня действительно мурашки побежали — заговорил. Честное слово. С ней, со стеной заговорил. С портретом!..

...Аликпер Рустамович Турчак отпустил распахнувшего дверцу автомобиля охранника: «Свободен, Рамик, пройду, не ходи за мной».

— Когда, шеф?

— Завтра.

— Не понял.

В другой раз он бы его убил — что тут непонятного? Завтра есть завтра. Но сейчас тупая физиономия оруженосца вызвала улыбку.

— Уезжай, сказал, не серди земляка.

Повторять не пришлось: Рамик задом влез в джип и две машины враз растворились за углом.

И это рассмешило: никогда раньше не представлял, как срамно выглядят со стороны доморощенные эскорты.

Ходить пешком по улицам не доводилось, чтобы не соврать, лет сто: ощущение свободы, затерянности, неузнаваемости — всё это тоже наполняло радостью.

Ему было легко.
Как почти никогда.
Себе он с рождения не врал.

...Аликпер Рустамович безмолвно вглядывался в распахнутые перед ним на стене нереальные, красками обеднённые природные щедроты. «Ах, Люба, Люба, Люба, Люба... Нет, ни кистью, ни резцом, ни на холсте, ни в мраморе — никому в целом мире не дано повторить созданное нерукотворно. Нарисуй Солнце, изваяй Небо, вытки Океан, обними Вселенную — нет мощи — вот что такое Люба. За что, за какие мирские заслуги даровал ему Аллах это прикосновение».

— Ну что? — Сказал он вслух и сам не узнал своего голоса. — Давай прощаться? Наверное, уже скоро? Да? Для меня счастье — не знать, когда закончится это наше свидание. Но оно закончится, я знаю. Я ВИДЕЛ. Ах, Люба, всё бы, кажется, отдал, чтобы не видеть! Но — видел, когда за зажигалкой послала — увидел в зеркале. Тогда и умер. Думаешь, ты меня ядом этим убила? Нет. Ты меня убила тем, что захотела убить. Этим — убила. А так... Знаешь, я давно не живу, с тех пор, как тебя на катке увидел. Один миг только, в Крыму. Ты не помнишь. Никогда не мог понять — за что?! За что такое счастье неземное? — Он улыбнулся, подмигнул стенному изображению. — Не уходи, подожди, я тебе за это маленький сувенир хочу. — Щёлкнул кнопками сейфа за спиной, достал бумаги. — Вот, давно готово. Заверено. Расписаться только.

Расписался и прочитал.

«Завещание... так... так... вот — в случае моей смерти... так... утраты трудоспособности... так... всё движимое и недвижимое имущество завещаю Нестеровой Вере Артемьевне, год рождения, паспорт, адрес... Нотариус, подпись, год, число, печать».

— Всё! Теперь и моя подпись.

Он аккуратно уложил бумагу в сейф, щёлкнул ключами.

Долго молча смотрел на стенное изображение. Сказал сдавленным голосом:

— И ещё: ты этим смертным бокалом, Люба, подарила мне жизнь. И я тебе хочу — жизнь: ведь, кроме того жмурика, — ты чиста, так я понимаю, да? И живи. Я всё равно тебя дождусь.

Он достал из стола лист бумаги и стал быстро писать. Потом сложил его вчетверо, откинулся на спинку кресла, двумя руками сжал грудную клетку.

— Вот. Теперь, кажется, всё: ты мне — жизнь, и я тебе — жизнь. Да?

Квиты. — Помолчал и тихо так. — Знаешь, что-то плохо. Уже, да? Так быстро?..

...— не поверите, Юрий Николаевич, мне прямо до слёз его жалко стало. Я же склянку-то эту поганую подменил. Под-ме-нил, — Мерин повторил это слово громко и отдельно, как говорят глухому, — понимаете?! Я прямо как резаный заорал: «Да вода там была, во-да-а!! А никакой не яд пролонгированный!!!»

В палату вбежала исполошенная медсестра, взмолилась:

— Товарищ полковник, Юрий Николаевич! Ну ради всех святых, меня с работы выгонят, я же права не имею никого пускать, я ж вам поверила — пять минут, посмотреть только, а он орёт — во дворе слышно...

Скоробогатов выпрямился, обнял девушку за плечи, повёл к выходу.

— Всё, всё, ухожу. Сказал — пять минут, а уйду через две. Ровно через две минуты. Клянусь. Встаньте за дверью и замечайте по часам. А орать он больше не будет, обещаю.

Он закрыл за медсестрой дверь, вернулся к Мерину.

— Ну?

— Я кричу: «Во-даа-а!».

— Тихо, я обещал не орать, — приказал полковник.

— Да. Я кричу: «Во-да-аа!»., — прошептал Мерин, — а он на меня смотрит, как будто первый раз видит. Как баран. И говорит: «Ты что, — говорит, — мент, тут делаешь? Какая вода?» Оказывается, он, как пришёл — меня не видел! Разговаривал с Нестеровой на стене, а меня не видел! Забыл, что стрелял, что чуть не убил — всё забыл. Ну — не в себе. Немыслимо!!!

— Тихо, тихо, я обещал.

— Я тихо, Юрий Николаевич. Он ко мне подошёл, опять за грудки как тряхнёт: «Какая вода?!» — орёт...

— Тихо, я сказал!

— Я тихо, это он орёт: «Какая вода? Где вода? Что вода?» Спятил. Ну я как мог объяснил — что и как. Он вроде успокоился. Подошёл к стене, приложился лбом к этой Нестеровой, постоял, потом сел за стол, сказал эту свою фразу, которую я, честно говоря, не понял: «Она так хотела», достал из ящика револьвер и выстрелил себе в рот.

Скоробогатов помолчал. Потом спросил:

— А теперь понимаешь?

— Что? Фразу? Нет. — Признался Мерин. — И теперь нет.

— Тогда на, прочти.

Скоробогатов протянул ему сложенный вчетверо лист бумаги. Сивый Мерин прочёл.

ЗАЯВЛЯЮ ОФИЦИАЛЬНО — СЛЮНЬКИНА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПРИВЁЛ В КВАРТИРУ НА ШМИТОВСКОМ, УБИЛ И ПОДЖЁГ С ЦЕЛЮ НАПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ ПО ЛОЖНОМУ СЛЕДУ — Я, ТУРЧАК АЛИКПЕР РУСТАМОВИЧ, ПРИЗНАНИЕ ДЕЛАЮ ДОБРОВОЛЬНО, РАССЧИТЫВАЯ НА СМЯГЧЕНИЕ ПРИГОВОРА.

И подпись: А. Турчак.

А больше всего бабушка Людмила Васильевна боялась, что не хватит водки.

То, что молодые люди благополучно осушили всё с собой принесённое (а это исчислялось тремя бутылками), её не волновало — в таком нечеловечески возбуждённом состоянии люди не пьянеют — беспокоило другое: к трём часам утра они, в один голос льстиво расхваливая её настойки, так ими увлеклись, что, если бы не знаменитое «эн зэ» в виде литрового хрустального графинчика с лимонной цедрой и толикой сахарного песка, надёжно спрятанного в шкафчике и ожидающего своей очереди, в пору было бы кричать «караул» и снаряжать гонца в ближайший круглосуточный. Всё к этому шло.

А именно этого и не хотелось больше всего.

И ещё.

Лицо любимого ею Анатолия Борисовича Трусса.

Вернее то, что оно из себя являло.

Это было ужасно.

Ей всё время казалось — еще одна рюмка и раздувшееся до неестественных размеров, ещё вчера казавшееся породистым лицо его лопнет, как перекачанный воздушный шар.

Поэтому Людмила Васильевна, в глубине души всегда считавшая, что отечественная школа дипломатии потеряла в её персоне своего яркого представителя, не удалялась из кухни в спальню, а всеми доступными способами старалась поддержать в присутствующих неудержимое желание

высказаться, искренне полагая, что это отвлечёт их от мысли о продолжении возлияния. Тем более, что усилий для этого с её стороны почти никаких не требовалось; каждый из говоривших, перебивая друг друга, старался изложить своё видение произошедших событий двухнедельной давности, коллеги встретились впервые после возвращения Мерины из госпиталя и были искренне рады друг другу.

Больше других в процессе «перебивания» преуспевал, конечно же, Анатолий Борисович Трусс, как самый после неё старший по возрасту, не говоря о звании.

— Не поверите, Людмила Васильевна, мы сидели в отключке и, когда услышали скрип его «уголовных», глазам не поверили...

— Нет, подожди, Толь, ты объясни Людмиле Васильевне, что такое «уголовные», она же не в курсе...

— В курсе, в курсе, Ярославчик, мне Севочка рассказывал: часы ему уголовники подарили, они каждый час бьют...

— Не бьют они, в том-то и дело, а скрипят, как гвоздём по стеклу...

— Подожди, Яша, не в этом дело. Я говорю, мы глазам не поверили: полночь уже, двенадцать раз царапнули, а головомойка началась, такое впечатление, в начале прошлой недели и конец её не просматривается ни в каком приближении. Мы сидим все с перевёрнутыми лицами, да? Скажи, Сев? Ни тени недовольства не позволяем себе по поводу безразмерного рабочего дня, а он то ходит, то сядет, то побежит, то опять сядет. И орёт. Никогда не орал — пятнадцать лет с ним работаю — никогда, да, Яш?

— Я девять.

— Что девять?

— Работаю.

— А-аа. И удивляет, и пугает, правда, пугает — думаю: вот-вот пепельницей запустит, она у него тяжёлая — и разочаровывает: банальности — за истины — и в восторг приводит: так говорит — ну прямо Жорес! Да, Яш? Я даже записывать стал — так хрен сформулируешь. Ой, простите: так не сформулируешь.

— Это по какому же поводу он так витийствовал?

— Так когда Севка обыск-то без санкции у этой бл... — я хочу сказать — у этой блондинки отмочил. А если бы не он — мы бы до сих пор в тёмной комнате чёрную кошку шарили... Да, Сев?

Сева спросил не к месту:

— Людмила Васильевна, у вас больше ничего нет? — Людмила Васильевна вопроса внука не услышала.

— Подожди, Сев, я говорю, так — только классики в своих полных

собраниях изъясняются. Вот послушайте. — Он полистал записную книжку. — «Вы опозорили, в грязь вогнали, обесчестили всю нашу профессию, ради которой отцы наши, деды, прадеды жизни не жалели, шли на смерть с открытым забралом, как на заклятие, в борьбе за соблюдение закона, права, свободы личности — краеугольных камней российской правоохранительной политики. Вы подло, исподтишка, для ублажения мелких, сиюминутных амбиций играете на руку врагам нашим, недоброжелателям, которые и так во все глотки кричат, и зачастую благодаря вам подобным — не без основания, что мы-де нарушаем все мыслимые международные нормы охраны граждан своей страны.» — Он перевёл дыхание. — Ну Скорый! Во демагог! Голову отдаю, что сам так не думает, нас за дураков воспитывает... Вы дальше послушайте перлы: «Власть — не вседозволенность, власть есть ответственность великая за каждый свой шаг, каждый поступок. А вы повели себя как бандиты, хуже бандитов, те хоть рискуют, а вы ничего не опасаясь и ничем не рискуя, совершили уголовно наказуемое преступление...»

— Господи, Боже мой, это ваш Скоробогатов так? — Людмила Васильевна выглядела очень испуганной. — Вот уж никак не ожидала от него.

— Да в том-то и дело — прав Скорый: мы обыск без санкции, понимаете? Теперь, если эта бя... тьфу, чёрт, простите, хотел сказать — бледная поганка, скажу по-другому: теперь если эта белокурая бестия окажется поумнее — заявит, что у неё бриллианты исчезли на миллион — наших жизней не хватит...

— Что «на миллион»?!

— А хоть чего: евро, баксов, фунтов, да хоть тугриков — где их возьмёшь? Спасибо... Севка этого артиста нашёл в её кровати и яд надыбал, а то хоть караул кричи...

Мерин в очередной раз закинул удочку.

— Людмила Васильевна, у вас ничего не осталось? — Та вместо ответа грозно поинтересовалась.

— Какой яд ты надыбал?!

Трусс не уступил инициативы.

— Так которым Евгению Молину отравили. Он пузырьрёк в сумке у неё нашёл, то есть не у неё, конечно, а у этой бл... тьфу, пропасть, простите, опять хотел про бледную поганку. Ну это просто он у вас Мессинг какой-то, а не Мерин, а ещё говорят, что интуиции нет. Как это нет — да вот же она живой плотью на кухне сидит и нектар бабушкин закусывает. Да если бы не Севка — знаете, мы были бы в какой жо... простите хотел сказать в

жёстком положении каком бы мы были? Страшно подумать. Обыск без санкции — это как под красный свет: хуже не бывает. Но зато теперь она у нас голенькая в кармане, нагая, то есть без всего, понимаете, Людмила Васильевна? Как только что мама родила: ещё по-французски говорят — «ню». И это Севка её раздел! Проинтуичил и раздел. Победителей судить будут, конечно, Скорый уже отвёл душу — я вам выдержки прочёл — не самые крутые — и это начало только, но главное — дальше не пойдёт, не отдаст нас начальник на съедение буграм, на себя удар примет, за что и ценим. А Севка — Ванга отдыхает! Раздел, на обе лопатки положил и к употреблению подготовил: мы уже третью неделю всем отделом её употребляем, несмотря на турчаковскую фальшивку...

— Анатолий Борисович, Господь с вами, что вы такое говорите? Севочка мухи никогда не обидит. Ну скажи же что-нибудь, Сева! Почему ты молчишь?

Мерин откашлялся.

— Людмила Васильевна, у вас ничего не осталось?

— Муху не обидел, а эту б...дь раздел. То есть, я хотел сказать... эту... эту... — он задумался.

— Бледную поганку, — подсказала Людмила Васильевна.

— Именно. Раздел — а она и не почувствовала! Вот в чём класс! Гигант! Она из моего кабинета уже голая выходила, а хорохорилась, как одетая: «Ты за это ответишь, так это с рук не сойдёт, ты всю милицию позоришь...» Прямо как Скорый. Б...дь такая. Я еле сдержался, честное слово.

Трусс дотянулся до одиноко стоявшего на столе графинчика, обнаружив легковесную его пустоту, удивлённо оглядел собеседников и мазнув укоризненным взглядом по Мерину, жарко продолжил:

— И ещё Всеволод Игоревич просёк, что она и Тутурова отравит, потому как он единственный свидетель — это раз, и от страсти своей никогда не отступится и рано или поздно убьёт Кораблёва — это два. А если уж Игорь Всеволодович сказал... тьфу, наоборот, — Всеволод Игоревич, если уж Всеволод Игоревич говорит — сто процентов, можно не сомневаться, потому — ИНТУИЦИЯ! Да, Сивый? Я не шучу, интуиция в нашем деле — это всё. И ещё — ПСИХОЛОГИЯ. Вот сильные стороны этой незаурядной натуры! Поэтому, Людмила Васильевна, — он поднял над головой свою пустую стопку, — за вашего внука, за Вольфа Мессинга!

Наступила неловкая пауза. Мерин ещё раз откашлялся.

— Людмила Васильевна, у вас, может быть, у вас ничего не может быть осталось?

— Ты о чём, Севочка?

— Оставь Людмилу Васильевну в покое, преступник! Если бы у меня была такая бабушка, которая хотела бы за меня выпить, да я хоть из-под земли, хоть из-под небес, хоть от чёрта в ступе... А он: «Людмила Васильевна, может быть, не может быть...». Мямля. Позор! — Трусс шумно поднялся, направился в прихожую. — Закрома должны ломиться на такой случай, предвидеть надо, ждать такого момента и хоть из-под кровати: вынь да положь, то есть — налей.

И поскольку никто его не останавливал, он, уже накидывая плащ, категорично заключил:

— И не останавливайте меня! Я ощущаю непреодолимую потребность смыть пятно неблагороднейшей неблагодарности с моего оступившегося коллеги и сделаю это. Яш, займи сотню.

— Я с тобой.

— Не надо, не обижай.

— Я сам схожу, сидите.

— А ты вообще молчи, инвалид простреленный. Прав Скорый — хуже уголовного.

— Подождите, мальчики. — Людмила Васильевна поняла, что больше медлить нельзя, ещё немного и подвыпившие работники уголовного розыска, если выйдут на улицу, могут загреметь в вытрезвитель. — Анатолий Борисович, вы мне не даёте слова, это несправедливо. А я всё время порываюсь сказать: если вы позволите мне покинуть ваше общество на пять-шесть секунд, то возникающая проблема может обернуться недоразумением.

Все трое как по команде вернулись в кухню и расселись по своим местам. Собрание повёл Трусс.

— Так, возникло предложение: разрешить примкнувшей к группе по расследованию тяжкого преступления Людмиле Васильевне Яблонской, с целью искоренения возникшей проблемы и трансформации её в некое недоразумение, разрешить последней на ничтожно короткое время покинуть зал заседаний. Какие будут предложения?

— Пусть расскажет биографию. — Это Яшин.

— Предложение не принимается ввиду возможности затягивания процесса ликвидации проблемы. Что нежелательно. Ещё предложения? Вопросы? Нет вопросов?

— Есть вопрос. — Мерин встал.

— Пожалуйста, Всеволод Игоревич. Только коротко, возникающая проблема даёт о себе знать нежелательным протрезвлением, как говорил

классик — своевременно не выпитая очередная обесмысливает все предыдущие. Какой вопрос?

— Почему?!

Председательствующий не понял.

— Что «почему»?

— Вы просили коротко. — Мерин сел.

— Так. — Трусс прошёлся по кухне. — Вопрос носит явно провокационный характер и посему, ввиду своей некорректности, снимается с повестки. Все высказались? Переходим к голосованию. Кто за то? Единогласно! Всё-ё-о-о!!! Идите же уже, дорогая примкнувшая.

Он схватил Людмилу Васильевну под руку и почти вытолкнул из кухни.

Так появился на столе знаменитый энзэшный графинчик.